

Иван Кузнецов
«БУНТ» В АКАДЕМГОРОДКЕ:
ПИСЬМО СОРОКА ШЕСТИ

Предисловие

В настоящее время растущее внимание привлекает история Новосибирского научного центра, Академгородка как уникального социально-исторического феномена. Его становление и развитие представляет значительный интерес не только в контексте истории науки, но и общественно-политической жизни. Одной из наиболее ярких вех общественной жизни Академгородка стали события 1968г., в первую очередь фестиваль «бардодов» и «письмо 46-ти». В настоящее время данная тема нашла определенное отражение в научно-исторической литературе, прежде всего в статье Е.Г. Водичева и Н.А. Куперштох¹. Однако названные авторы, продемонстрировав глубокий аналитический подход к рассматриваемым событиям, базировались при этом на ограниченных источниковых ресурсах. Источниковой базой для них послужило в основном дипломное сочинение выпускницы гуманитарного факультета НГУ Ж.А. Бадалян, защищенное в 1995г. под нашим научным руководством.

Напомним коротко о существовании упомянутых событий, которые стали наиболее крупным проявлением политической оппозиционности за всю историю Новосибирского Академгородка и вместе с тем явились уникальным общественно-политическим событием в истории Сибири и страны. Как известно, в феврале 1968г. 46 сотрудников Новосибирского научного центра (ряда институтов СО АН и НГУ) подписали письмо протеста против нарушений законности в ходе «процесса четырех» (он имел место в Москве в начале того же года и явился самой крупной репрессивной акцией против «диссидентов», – по процессу проходили Гинзбург, Галансков, Добровольский, Лашкова). Письмо было адресовано Верховному суду РСФСР и Генеральному прокурору СССР, его копии были направлены также Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного Совета СССР и Председателю Совета Министров СССР, а также в редакцию газеты «Комсомольская правда».

Прошлое легче порицать, чем исправлять.

Тит Ливий

Однако дальше – по причинам, непонятным до сих пор – дело приняло непредвиденный оборот: 23 марта текст письма был опубликован в «Нью-Йорк Таймс», а 27 марта передан по «Голосу Америки» с подробным указанием фамилий и всех «регалей» подписантов. А среди них были известные ученые – доктора наук (Глеб Павлович Акилов, Раиса Львовна Берг, Марина Михайловна Громько, Абрам Ильич Фет и др.), шесть членов КПСС, ряд популярных неформальных лидеров Академгородка – например, Владимир Захаров (будущий академик) и Григорий Яблонский и еще множество интересных людей. В сущности, это был цвет академической интеллигенции – люди не только яркие в своей профессиональной деятельности, но и исключительно общественно активные.

До сих пор участники событий и историки задаются вопросом: был ли данный поворот событий случайностью либо явился целенаправленной провокацией КГБ или партийных органов, стремившихся «поставить на место» гордых академических интеллектуалов, нанести удар по «вотчине Лаврентьева» как гнезду относительной независимости и свободомыслия.

Ситуация приобрела крайнюю остроту еще потому, что незадолго до злосчастного демарша американских СМИ в Академгородке состоялся знаменитый фестиваль «бардов», «гвоздем» которого стал сенсационный гала-концерт Александра Галича. Все это вызвало крайне негативную реакцию властей, которые расценили эти события как своего рода «антисоветское выступление». Напомним, что все это происходило в атмосфере явно обозначившегося поворота в общественной жизни страны в сторону консерватизма, – его решающей вехой стала затем советская интервенция в Чехословакию в августе 1968г.

Независимо от того, кто стоял за «письмом 46-ти», его появление было сполна использовано консервативными силами для «наезда» на самое крупное в стране «гнездо инакомыслия» – Новосибирский Академгородок. Начиная с апреля 1968г. здесь была развернута массивная политическая кампания: во всех учреждениях Новосибирского научного центра были проведены соответствующие мероприятия (партийные и общие собрания, заседания ученых советов), где «подписанты» подверглись почти

единодушному осуждению. Эти события имели не только непосредственные результаты, не только перевернули многих людей, но и породили значительные долговременные последствия – стали поводом для негативного перелома в общественной жизни Академгородка, привели к усилению консервативных и застойных тенденций.

При этом следует подчеркнуть, что все это имело существенное значение не только для данного – количественно небольшого сообщества. Следует напомнить, что в то время в нашей стране (как и сейчас) «народ безмолвствовал», основные массы населения отличались пассивностью и конформизмом. Единственной более-менее общественно активной группой была научная интеллигенция, а ее самым компактным отрядом был как раз Академгородок. С этой точки зрения «наезд» на Академгородок в какой-то мере имел судьбоносное значение: людей, чуть поднявших голову после десятилетий сталинского террора, еще раз «поставили на место». В этом контексте не удивительно, что когда при Горбачеве была объявлена «демократизация», она почти исключительно ограничилась бюрократическими играми, не получила никакой серьезной поддержки «снизу». Не случайно, что в период «перестройки» и потом Академгородок, некогда славившийся свободомыслием, не стал лидером демократического движения. Так мы обнаруживаем определенную связь событий почти сорокалетней давности и современных процессов...

До сих пор рассматриваемые события не нашли отражения в фундаментальных документальных и монографических публикациях. А между тем интерес к ним велик, тем более накануне 50-летия Академгородка. Свидетельством неумирающего интереса к событиям 1968г. стали полученные в последнее время сообщения от находящихся сейчас в эмиграции «подписантов» Владимира Захарова, Леонида Лозовского, Григория Яблонского. Не менее интересны устные свидетельства живущих в Академгородке участников тех событий – Ольги Кашменской, Светланы Рожновой, Абрама Фета и др.

В настоящее время в распоряжении автора данной публикации сконцентрирован уникальный комплекс документов по «делу

46-ти». Это материалы ЦК КПСС, КГБ, Новосибирского обкома, горкома, Советского райкома КПСС, партийных организаций институтов СО АН и университета, а также интервью ветеранов Академгородка.

В документальной публикации, предлагаемой вниманию читателя, отражена небольшая часть этих информационных ресурсов – здесь представлены материалы Института катализа СО АН, где работал один из наиболее известных «подписантов» – Григорий Яблонский. Он единственный из участников «дела 46-ти», который удостоился персонального разноса в центральной печати².

Публикуемые документы рисуют яркую, быть может, несколько непривычную картину общественных настроений научного сообщества на переломе от «оттепели» к «застою»...

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Протокол закрытого партийного собрания Института катализа СО АН СССР от 9 апреля 1968 г.

На учете в партийной организации состоит: членов КПСС – 63, кандидатов в члены КПСС 2 чел. На собрании присутствовало: членов КПСС – 54 чел., кандидатов в члены КПСС – 2.

На собрании присутствовали: зав. отделом пропаганды горкома КПСС т. Шкроба, зав. орготделом райкома КПСС – Баринава Л.К.

Председатель собрания: Колчин А.М., секретари: Кузнецова А.С., Манаева Е.К.

Повестка дня:

Персональное дело Яблонского Г.С.

Секретарь партийной организации **Колчин А.М.** зачитал текст письма, переданного «Голосом Америки», под которым подписались 46 чел., живущих в Академгородке. В их числе подпись коммуниста **Яблонского Г.С.** Колчин А.М. сообщил собранию о прошедшем заседании партийного бюро. Партбюро потребовало

от Яблонского Г.С. объяснений по случившемуся. На заседании партбюро Яблонский Г.С. вел себя неискренне. Он не понял всего вреда, который он нанес Советскому государству, Академгородку, институту. Для Яблонского интересы людей, с которыми он связан, оказались выше, чем интересы партии. Колчин зачитывает решение партбюро об исключении Яблонского Г.С. из рядов членов КПСС и объяснительную записку Яблонского Г.С.

Яблонский Г.С. сообщил о процессе по делу Гинзбурга, Галанскова и Лашковой. Появившиеся в середине января сообщения были неточны в деталях, которые ставили под сомнение приговор. Говорилось, что они не писатели, но мы не читали их, на этом основании можно сказать, что они и не антисоветчики. Информация была односторонней. Поэтому мы обратились к иностранным газетам («Морнинг Стар» и др.). Там говорилось, что обвиняемые сидели без предъявления обвинения, что противоречит законности. Имея такую противоречивую информацию, хотелось бы знать истину. Одной из главных задач всех людей является предупреждение незаконных действий в отношении личности. Эти факты имеют и сейчас место. Случай с Вознесенским: вначале его обвинили в сообществе с Аллилуевой, а затем появилась статья, где его называют певцом нашей эпохи. Где же правда?

Теперь мое поведение на партбюро. Я отказался назвать фамилию человека³ без его разрешения. Теперь он разрешил мне сделать. Это сделал Сергей Андреев, инженер Института ядерной физики. Письмо было послано из Москвы. Квитанция у С. Рожновой, уведомление о получении писем у Р.Л. Берг. Письма были получены канцелярией Генерального прокурора 7 марта. Однако 23 марта «Нью-Йорк Таймс» опубликовала, а 27 марта текст письма передала радиостанция «Голос Америки». Я обращаю внимание на этот разрыв. Я не знаю, по каким каналам письмо попало в Америку. Это письмо видели и люди, которые не подписали его.

Опубликование этого письма нанесло объективный вред Академгородку, а может быть и всей науке. О таком акте использования я не подумал. Моя вина в том, что я не поделился своими сомнениями ни с товарищами, ни с парторганизацией. Этим я нарушил партийную этику. Готов за это понести наказание. Хочу

прочитать письмо, которое мы посылаем на днях в газету «За науку в Сибири» (в тексте содержится протест против использования посланного письма американской газетой и радиостанцией). Некоторые директора институтов имели текст письма раньше, чем оно было подписано всеми, и советовали своим сотрудникам снять подписи.

Вопросы к Г.С. Яблонскому:

– Как нашли друг друга эти 46 человек, подписавших письмо?

– Мне на подпись дал это письмо товарищ. Я с духом письма согласен, поэтому согласился поставить свою подпись. Об остальных не знаю. Знаю, что круг людей, которые смотрели это письмо, был шире.

– Откуда информация о том, что круг лиц был шире, чем 46 чел.?

– В каком месте обсуждалось письмо?

– Я не знал, где обсуждалось письмо.

– Сколько было подписей?

– Двадцать.

– Сколько экземпляров подписали?

– Два.

Реплика. Оригинал попал в Америку.

– Почему Вы не сняли свою подпись? Было время подумать и посоветоваться?

– Раньше я не знал того, что некоторым людям советовали снять свои подписи и некоторые товарищи сделали это.

– Почему Вы защищали Гинзбурга, Галанскова, Лашкову? А будете ли протестовать против расстрела негров в Америке?

– Я протестовал против войны во Вьетнаме и ареста М. Теодоракиса. В этом процессе нас интересовал сам ход процесса.

– Письмо, зачитанное т. Колчиным, не искажено?

– Почти, кроме одного слова «незаконным», а в письме «не доказанным».

– С чувством гражданской ответственности требуете законности, но на какие факты опираетесь вы, требуя отмены приговора?

– Мы не знаем, виновны ли они.

– Я хотел бы знать факты, по которым Вы считали Гинзбурга, Лашкову и др. виновными или невиновными. Вас не удовлетворила информация в наших газетах, но там было сказано, что процесс был проведен с соблюдением всех норм законности. Почему Вы поверили зарубежной информации?

– Если написали, не значит, что так было. Информация была немного односторонней. Не было материалов защиты.

Реплика. Известно, что при аресте этих людей у них найдены материалы, порочащие нашу страну. Этого достаточно для предъявления им обвинения.

– По поводу опубликования письма Яблонский сожалеет, но согласен с духом письма. А сейчас что он думает?

– Яблонский член партбюро?

– Да.

– Говорили ли Вы с кем-то о письме, о своих сомнениях в нашем институте?

– В институте я ни с кем не говорил об этом.

– Вы оставляете за собой право, будучи членом партии, подписывать такие письма?

– По моему мнению, это не нарушает Устава партии, но в какой-то мере – партийную этику.

– Почему они только сейчас решили опубликовать письмо? Имею в виду письмо, зачитанное сейчас Яблонским.

– Потому, что мы протестуем против использования таких писем.

– Где подписали письмо?

– На квартире у товарища.

– Почему Яблонский не на все вопросы отвечает?

– Если бы письмо не появилось в западной прессе, Вы не чувствовали бы вину?

– Вина в том, что я не пришел в парторганизацию со своими сомнениями. Считаю, что во второй части письмо составлено нелояльно.

– Если бы задумали прийти в парторганизацию и Вам не посоветовали делать этого, подписали бы Вы письмо?

– Коллективный запрос я бы не подписал, а индивидуальный подписал.

– **Почему Вы, будучи членом партии, не верите нашим руководящим органам, нашей партийной печати, а ищите информацию в зарубежных газетах и верите им?**

– Что значит верить или не верить? Я просто читаю их и все. Марксизм – это не догма, а руководство к действию. Считаю, что некоторые вещи в печати освещаются неправильно и ошибочно.

– **Почему Вас заинтересовал этот процесс?**

– Это процесс политический. А политические процессы следует проводить в условиях гласности.

– **Почему Вы однобоко освещаете информацию?**

– В ходе информации допущена несообразность. Поэтому мы просим разобраться. Обвинение может быть и справедливо.

– **Много ли среди подписчиков было членов партии?**

– Я не всех знал. Видел подписи людей, которых я уважал. Борисов, Берг, Акилов.

– **Не зная, виновны эти люди или нет, Вы требуете отмены приговора и подписали письмо. Как так?**

– С духом первой половины письма я согласен, но некоторые формулировки неточны.

– **Доверяете ли Вы ЦК?**

– В целом с политикой ЦК я согласен, но в некоторых вопросах могли быть ошибки.

– **Почему объектом для подписи письма избраны Вы?**

– Не знаю.

– **Почему Вы считаете этот процесс политическим? Это скорее уголовное дело.**

– Если людям инкриминирована связь с иностранной разведкой, это уже политика.

– **Были ли опасения, что это письмо попадет в руки разведки?**

– Из предыдущих публикаций я знал, что такие письма попадают за границу. Но в момент подписи письма я об этом не подумал.

– **Известно Вам имя составителя письма?**

– Нет.

– **Где и когда Вы беседовали о незаконности процесса?**

– Я беседовал с очень многими людьми о том, что печатали в газетах. Я думаю, что все беседуют, а если не беседуют, то очень плохо.

– **Вы блестяще знаете Устав партии, а знаете, что коммунист может задавать все вопросы, вплоть до ЦК. Этот канал Вас не устраивает?**

– В Уставе не написано, что коммунист не имеет права подписывать коллективное письмо.

– **Вас пугает отсутствие информации, но Вы говорили, что письмо спешили вручить адвокату Гинзбурга.**

– Да, мне сказали, что подобного рода письма могут иметь вес при защите Гинзбурга.

– **Вы подписали 2 экземпляра. Знали ли Вы, куда они направляются?**

– Тогда знал.

– **Почему нужно было у кого-то спрашивать разрешения – назвать или не назвать имя организатора?**

– Организации никакой не было. Считаю, что разбирать меня можно с точки зрения партийной этики. А назвать или не назвать имя – это дело других организаций.

– **А что, «Голос Америки» огласил фамилии подписчиков?**

– Да, с названием должности и места работы.

Выступления:

Слинько М.Г.⁴ Я давал рекомендации Яблонскому при вступлении его в члены КПСС. Я заведующий лабораторией, где он работает. Я заместитель директора института, имя которого попало в газету не по научной деятельности. Мне выступать тяжело. Общая обстановка: использовали отдельные детали обвинения по делу Гинзбурга и других в открытом процессе для поднятия общей шумихи и столкновения интересов интеллигенции и рабочих, отцов и детей, людей разных национальностей. Эта шумиха поднята в различных местах. Это преследует отвлечь от работы, создать напряженную обстановку. Письмо по форме и содержанию не имеет целью выяснить детали процесса, а его цель вызвать недовольство.

Письмо написано в первой части лояльно, чтобы не отпугнуть тех, кому предложено подписать.

Часть вторая написана в недопустимо грубом тоне по отношению к нашим руководителям. Какое право они имеют с такой наглой грубостью обращаться к руководителям нашей партии? Эта грубость недопустима. Разве можно обращаться с таким письмом к А.Н. Косыгину, который, будучи в Академгородке, был у нас в институте и детально знакомился с нашей работой, говорил с людьми.

Подписи продуманы очень тонко. Привлечены люди из всех институтов, чтобы создать видимость, что весь городок недоволен. Использован высокий авторитет Академгородка. Конечно, для идеологической диверсии это выгодно. Подготовка ведется давно. Так, когда кончился процесс, были в городке измазаны афиши. Все это показывает на систему. Ясно, что не все подписавшиеся хотели нанести вред. Подход должен быть индивидуальным.

Яблонский поступил в институт в благоприятных для него условиях. Создалась бригада из очень крупных ученых. Опираясь на хорошие кинетические данные, можно было сразу приступить к расчетам. Обстановка была товарищеская. И действительно, в первое время были успехи. Мы его поддерживали. Задолго до окончания аспирантуры Яблонский получил квартиру. Приняли в партию, избрали в партбюро. Потребность иметь помощников благоприятствовала его росту.

Но в последние 1,5 года он стал отходить от науки. Затянул сдачу кандидатской диссертации. Плохо сделал доклад на Ученом совете, на семинаре. Я много раз беседовал с Яблонским. Создалось такое положение, что дисциплину и напряженный труд он перестал признавать. Значительную часть времени он тратил на эту квазиобщественную деятельность.

Яблонский при разговорах выискивает места, где он прав. После партбюро была беседа у директора. Видно, что Яблонский не определился. Яблонский совершенно четко говорит, что он согласен с духом письма. Сознательное искажение истины утверждение, что человек страдает за свои мнения, за свободу. Все это на руку нашим врагам. Непримириемость наступает там, где наносится вред стране. Я обращаюсь к молодым научным сотрудникам – разъяснить в коллективе всю вредность таких действий.

Нужно сплотиться. Считаю, что бюро правильно решен вопрос, принципиально. Слух о его увольнении неправилен. Это нужно врагам. Нужно, чтобы Яблонский передал письмо, которое можно было бы опубликовать в стенной печати, чтобы он мог оправдаться по-настоящему. Нужно воспитывать молодежь. На кафедре в НГУ работают не лучшие люди.

Котенко. Мы слушали Яблонского. Говорили много. Как бы он ни говорил, он не сказал откровенно ничего. Дальнейшее пребывание его в рядах партии недопустимо. Я буду голосовать за его исключение.

Бесков. Перед партбюро поведение Яблонского обсуждалось коммунистами нашей лаборатории. Мнение мое – подписание письма и действия вокруг письма несовместимы со званием коммуниста. Но я считаю, что ему нужно дать возможность работать в лаборатории. По институту ходят слухи, – Яблонского начнут прижимать по работе. Не надо давать этим слухам пищи. Правда, за последнее время Яблонский в институте почти не работал. По-видимому, какой-то момент мы упустили. Сегодняшнее собрание очень резко осудило письмо. Все действия Яблонского несовместимы со званием коммуниста.

Чистяков. Присоединяюсь к предложению об исключении Яблонского из рядов КПСС.

Оленко. Я десять лет в партии, но впервые случилось, что присутствую при таком деле. Недавно был пленум горкома КПСС о подготовке кадров. В связи с этим ставили вопрос об идеологическом воспитании молодежи. Некоторые возмущаются несправедливым процессом над «писаками». «Известия» ясно писали, за что и как они были осуждены. Считаю, что грош цена заграничным слухам. Процесс правильный. Осуждены правильно. Весь коллектив наш возмущается поведением Яблонского, требует справедливого наказания. Обидно за городок. В Сибирь приезжают большие люди. Нельзя ученому ошибаться в политических делах. Необходимо провести разъяснение в коллективе института.

Сазонов Л.А. Очень многое, что я хотел сказать – сказано. Я напоминаю слова: там, где появляется щелка – туда лезет буржуазная идеология. Посмотрим обстановку: в ответ на встречу

представителей коммунистических и рабочих партий начались идеологические диверсии в разных странах. В такой обстановке нашлись коммунисты, которые подписывают письмо с требованиями. Тот факт, что он не посоветовался со старшими товарищами, говорит о совершенно сознательном его участии в этом деле. Член партии не должен быть таким. Я поддерживаю предложение об исключении Яблонского из партии.

Штерн Н.И. Факт возмутительный, антисоветский. Кладет грязное пятно на нашу партийную организацию. Таких людей отправляли на лесосеки на 4 года. А ведь он грамотный, претендует на какую-то идеологию. И это член партбюро? А что творится в университете! По любому поводу выступают против Советской власти, и вообще в Городке не проводится воспитательная работа. В Городке слушают «Голос Америки». И здесь очень культурно все сработано. У Яблонского что-то в своем плане. Он до конца остается согласен с духом письма. И в нашем колллективе не может быть другого мнения. Зачем нам нужна такая антисоветчина? Гнать его из партии.

Ермаков Ю.И.⁵ Не могу согласиться с предыдущим докладчиком по вопросу об отношении к этим людям. Таких людей не нужно отправлять на лесосеки, а нужно воспитывать. Вред письма в том, что люди, подписавшие его из честных побуждений, не видят тот громадный урон, который они невольно нанесли государству. Ясно, что письмо составлено специально с целью расшатать наши устои, расколоть позиции научно-технической интеллигенции. Яблонский этого не видит. Я осуждаю Яблонского, но считаю, что исключение его из партии будет неправильным из следующих соображений:

1) Яблонский не организатор этой провокации, а жертва, но он находится в заблуждении и сейчас.

2) Позиция, занимаемая Яблонским, к сожалению, явно типична для значительной части нашей интеллигенции. Это письмо могло быть подписано и большим коллективом людей. Они политически близоруки, и наша задача – бороться с этой политической близорукостью. Такая неустойчивость научно-технической интеллигенции, с их точки зрения, обуславливается следующим:

1. Нет гарантии повторения культа личности.
2. Отсутствие достаточной информации.
3. Вступая в партию, человек теряет право критиковать партийные органы. Догма о непогрешимости партийных органов. Почему не вступают в партию лучшие люди нашего института? Я могу назвать многие фамилии: Малахов, Тимошенко, Каракчиев, Андрушкевич и др. Возможно, они не вступают потому, что тогда они должны будут говорить и действовать как руководство? Считаю, что будет вред, если Яблонского исключить из партии. Мы не сможем строго доказать эту необходимость. Считаю, что в ближайшие годы тогда не примем в партию ни одного из наших ведущих сотрудников.

Лысенко. Первое предательство я видел в годы войны – предатель вешал людей. Поступок Яблонского – идеологическое предательство. За что Яблонский предал народ? Чем ответил на труды народа? Я не могу согласиться с Ермаковым, который говорит, что если мы исключим Яблонского, в партию не придут научные сотрудники. Пусть не идут научные сотрудники. Мы никого не тащим. Мое мнение – исключить.

Рыжак. Согласен с выступлением С.Г. Слинько. Яблонский необдуманно подписал письмо. Такие действия несовместимы с пребыванием в рядах партии. Член партии не должен выступать с такими письмами. Но люди могут ошибаться. Ошибаться могут и в высших партийных органах. Среди членов партии нельзя избегать этих вопросов. Многие люди полностью разделяют наши взгляды, но в партию боятся вступать из-за того, что думают, что после этого им запретят остро ставить и обсуждать вопросы. За то, что Яблонский подписал это письмо, партбюро осудило его правильно. Но нужно дать ему возможность работать, чтобы он своей работой исправил тот вред, который он нанес стране, Городку и институту.

Тапилин. В нашей организации все относится к поступку Яблонского совершенно одинаково. Никаких слов оправдания. Какие выводы из этого факта нужно сделать? Это очень важно и серьезно. У нас много интеллигенции. Мы можем не обращать внимания на разговоры интеллигенции, но интеллигенция – это не враг нам. Она значительная сила. Нужно ее воспитывать – я не

знаю как это делать, каким способом, какими формами. Знаю Яблонского давно, ничего плохого о нем сказать не могу. Думаю, что Яблонский будет с нами и поможет нам работать среди интеллигенции. Я не за исключение из партии.

Скоморохов. Меня тоже волнует идеологическая работа среди интеллигенции. Проступок Яблонского заслуживает наказания. Но правы ли мы будем, исключив его? Я за предложение Ермакова.

Авдеев. Формулировка, что Яблонский не враг, поэтому не нужно исключать его из партии, звучит странно. Яблонский остается гражданином, если мы исключим его из партии. Если бы он был врагом, он был бы осужден. Мне понравилось выступление Ермакова в первой части. Во второй части Ермаков занимает определенную позицию. Если бы, слушая Яблонского, внутренне почувствовал, что Яблонский – жертва провокации, я бы отстаивал его пребывание в партии. Но Яблонский отстаивает свои убеждения, у него своя четкая идеология. Его неискренность убеждает меня в том, что он не должен быть в рядах партии.

Мишин. Процесс над Гинзбургом и другими самый рядовой. Считаю, что эти люди получили по заслугам. На партбюро Яблонский не раскаялся. Сказал, что в подобных случаях будет поступать так же, но более осторожно. Почему у нас мало говорят о политике государства? Я недавно в институте. Вначале для меня было много странного. Политинформации не проводились с людьми. Мало занимались идеологической работой. Сейчас положение лучше. Нужно проводить больше лекций. Райком партии не отказывается в помощи. Я сам обращался часто туда. Рабочим нужно разъяснять политику нашей партии.

Калачевский. Два года назад я получил строгий выговор. Мне было больно и обидно, что мне дали выговор, не разобравшись в моей жизни. Мне обидно за Яблонского. Мы его все ругаем. А ведь тоже виновны. Неужели мы не можем воспитать его? У нас такая сильная парторганизация.

Хасин. Вина Яблонского велика и вина не осознана. Исключить из партии это значит отбросить его как врага. Это значит, что человек не приносит больше пользы. Я считаю, что он предан партии. Я не согласен с Авдеевым, не согласен, что надо исключать из партии.

Кузнецова А.С. Перед партсобранием я была несколько знакома с материалами. Я не определила меру наказания Яблонского, за которую я бы проголосовала. На собрании было много выступлений, много вопросов, и сейчас я не знаю, за что проголосовать. Решать буду после окончательного выступления Яблонского. Яблонский не мог не знать, что, вступая в партию, человек принимает на себя многие обязательства. Он обязан защищать линию ЦК среди беспартийных, даже если у него есть какие-то сомнения. Думаю, что Яблонский, подписывая письмо с требованием отмены приговора, должен был или лично быть знакомым с этими людьми и быть абсолютно уверенным в их невинности, или знать до тонкости все о процессе. Я не вижу, что он хочет остаться в партии. Он, может быть, плохо читал Устав и не знает, что член КПСС обязан защищать линию партии. Не согласна с Ермаковым, что не вступают в партию, боясь потерять свое «Я». Человек, будучи не согласен с чем-то, должен об этом говорить, а член партии обязан это сделать. Виновны в какой-то мере все мы коммунисты, которые работали рядом с Яблонским, его руководители. У нас слаба идеологическая работа. В Америке есть институты по подготовке идеологических агрессий. А у нас почему нет в противовес этому? Ведь идеологическая работа сейчас – это очень тонкая вещь, в которую должны включиться психологи. И член партии может рассчитывать на доверие масс только при наличии неограниченного авторитета. Вопрос к Яблонскому: дорожит ли партией или он сам хочет отойти от нее?

Кузнецов Ю.И. Почему высказать другое мнение считается чем-то неправильным? Я не согласен с т. Кузнецовой, что Яблонский является жертвой провокации. Он сознательно подписал это письмо. Теперь, что же привело его к подписанию этого письма? Яблонский – не идейный противник нашей партии. Он заслуживает строгого наказания. Исключив его из партии, мы сделаем из него героя.

Тихов. Многие коммунисты знают, что вырос я за границей. У меня есть своя точка зрения. Живя за границей, мы, молодые люди, граждане Советского Союза, мы верим в правильность политики партии. Говорят, что Яблонский заблуждался. Человек

кончил вуз, как его воспитывать? Я считаю, что это не заблуждение, ему не место в партии.

Выгнов. Я знаю Яблонского давно, хотя в институте я с прошлого года. Сам я из Дзержинска и там работал с Яблонским. Я узнал о том, что в Новосибирске есть Слинко и Яблонский. О Яблонском могу сказать только хорошее. Нет повода сказать плохое. Вы его вырастили здесь. Верили ему много раз. Плохого в нем никто не чувствовал. Или он остуился? Если он хороший, то зачем исключать из партии? Есть слухи, что райком партии знал об этом письме раньше. Почему тогда райком не провел соответствующей воспитательной работы? Мне кажется, нужно Яблонскому поверить и оставить его в партии. Я считаю, что вина не только его, но всей парторганизации. Я за то, чтобы оставить его в партии.

Шкреба (зав. отделом пропаганды горкома КПСС). Каждый должен отвечать за свой поступок. Коммунист должен информировать вышестоящие органы о политическом настроении масс. Ни один партийный орган не может полнокровно жить и функционировать, если он не имеет информации снизу. Вопрос о письме переживается всем районом, всем городом. Меня спрашивают на заводах: как относятся к письму в Академгородке. Мы отвечаем – осуждают. А рабочие относятся к таким вещам совершенно непримиримо. На одном из заводов рабочий Кныш «просился» за границу, так как здесь ему не дали квартиру. Рабочие на собрании так пропесочили Кныша, что он плакал и просил прощения. Один рабочий так объяснил свое поведение: «Я не знал, что это выльется в идеологическую борьбу». А Яблонский? Он включился в идеологическую борьбу. А ведь он президент клуба «Под интегралом». Вспомните выступление бардов. Там же видна антисоветская идеология. А песенка Яблонского. Дешевая песенка, пропагандирует безразличие к международной жизни. Естественно, средства буржуазной пропаганды огромны, и некоторые клюют на это. В отношении заявления Ермакова. Он говорит: «Мало критикуют партийных работников». Это не то. Я скажу: очень много критикуют. Правильно, что коммунисты обеспокоены состоянием идеологической работы среди интеллигенции. Сейчас этому вопросу нужно уделять максимум внимания.

Буянов. Не буду говорить о сложности международной обстановки. Хочется высказаться об истоках и возможностях. Имеется две свободы и две идеологии. Они противоречат друг другу. Выдумывание для научно-технической интеллигенции специфических особенностей – это барское высказывание, отрыв от реальности. Чем больше предоставляется свобода, тем с большей ответственностью нужно ею пользоваться. Некоторые считают, что свобода дает им право говорить обо всем по всякому. Эти 46 человек выступили от имени всего Академгородка. Легко стало делать идеологические диверсии, потому что стали путать эти идеологии. Попадают на удочку особой свободы. Чтобы пользоваться свободой, нужно понять, что это такое. Когда кричат об этой особой свободе, начинают критиковать все содеянное Советским государством. О 37-м годе многие и не знают. 37-й год сложнейшая страница нашего государства. Не согласен с Ермаковым, что должны быть только два выхода – лесоповал или из партии. А тогда интеллигенцию беспартийную куда же девать? В партию принимаются люди, определяющие политику партии. Не нужно кичиться тем, что мы ученые. Если человек организован и понимает линию партии, он полезен нам. В партию придут те, которые будут организованно отстаивать политику нашей партии. Нужно качество, а не количество. Яблонский может снова вступить в партию, если снова покажет свою правильную идеологию. Неправильно, что некоторые товарищи изображают Яблонского заблудшим. На всех инстанциях он упорно отстаивает свои позиции. Яблонский не понял своих ошибок. Я был о нем очень хорошего мнения. Лучше, если он не будучи в партии, докажет, что может быть в партии. Всякие разговоры о том, что информация недостаточна – это демагогия. Такие как эти 46 человек будут недовольны любой информацией и завалят письмами даже самое идеальное правительство.

Слинко М.Г. (Повторное выступление). Обеспокоен настроением коммунистов – младших научных сотрудников. Где критерий непримиримости? Мы работали вместе многие годы. Хотелось бы сказать, что Гриша с нами, но он ближе к тем, кто стремится расшатать наши устои. Яблонский написал объяснение

только после многих разговоров с ним. Давайте предоставим ему место быть вместе с нами, но вне рядов партии.

Яблонский Г.С. Скажу о главном. Верю в те идеалы, которые поддерживает Коммунистическая партия, согласен с внешней и экономической политикой. Хочу жить в нашей стране. Но я не могу забыть, что погибли родители моих товарищей, которые были объявлены врагами народа. Я не жертва провокации. Я ощущаю вред, который нанесло письмо, подписанное мной. Свою вину хочу искупить работой в институте. Если партия сочтет, что я могу быть ее членом, я вступлю в ее ряды.

При разборе личного дела коммуниста Г.С. Яблонского на голосование поставлены два предложения:

1) За участие в группе, направившей в директивные органы антисоветское оскорбительное письмо, попавшее на страницы американской печати, и нанесение тем самым вреда нашему государству, Академгородку и институту, за неискренность перед партийной организацией исключить коммуниста Яблонского из рядов КПСС. За это предложение проголосовало 42 человека, против – 12.

2) За подписание антисоветского письма, направленного в директивные органы и использованного американской печатью в целях антисоветской пропаганды, коммунисту Яблонскому объявить строгий выговор, вывести из состава партийного бюро и ограничить его общественную деятельность рамками института. За это предложение голосовало 12 человек, против – 42.

Ермаков Ю.И. В ближайшие дни среди научных сотрудников нашего института нужно провести разъяснительную работу о вреде подобного рода писем. Следует, видимо, провести общее собрание с выступлением М.Г. Слинко.

Партийное собрание постановляет:

1. За участие в группе, направившей в директивные органы антисоветское оскорбительное письмо, попавшее на страницы американской печати, и нанесение тем самым вреда нашему государству, Академгородку и институту, за неискренность перед партийной организацией коммуниста Яблонского из рядов КПСС **ИСКЛЮЧИТЬ**.

2. Партийное собрание осуждает деятельность 46-ти сотрудников Сибирского отделения, подписавших коллективное письмо, которое было использовано в целях антисоветской пропаганды.

3. В ближайшее время провести общее собрание сотрудников института с разъяснением вреда подобного рода писем.

4. Коммунистам на местах постоянно проводить разъяснительную работу среди сотрудников по всем вопросам внутренней и внешней политики нашего государства.

Источник: ГАНУ. П-5424. Оп. 1. Д. 4. Л. 1-18.

Алексей Тепляков **БОРОДА МНОГОГРЕШНАЯ** **Дмитрий Киселёв – подпольщик,** **резидент, «большой учёный»**



К настоящему времени обнародовано немало сведений о видном советском разведчике Дмитрие Дмитриевиче Киселёве, но его биография продолжает удивлять исследователей неожиданными поворотами.¹ Этот человек благополучно прожил почти 83 года и не подвергался репрессиям при советском режиме – несмотря на то, что почти двадцать лет жизни отдал военной разведке, да к тому же одно время примыкал к эсерам.

Много лет Киселёв был весьма известным в Маньчжурии, Японии, Москве и Новосибирске человеком. К юбилеям его, сохранившего до глубокой старости завидную энергию, регулярно чувствовали как почтенного революционера-подпольщика и героя гражданской войны в Сибири, встречавшегося с самим Лениным. Существует даже известная с середины 1930-х гг. картина официального художника Е. Машкевича, изображающая густобородого Киселёва в кабинете Ильича: «Делегат-дальневосточник Д.Д. Киселёв докладывает В.И. Ленину о партизанской борьбе в Сибири и на Дальнем Востоке». Но до сих пор мало кто знает, что на самом деле бодрый старик-депутат, коротавший пенсионный досуг на встречах с учащимися и трудовыми коллективами, в

течение всех 1920-х гг. являлся одной из ключевых фигур советской военной разведки на Дальнем Востоке.

Удивительным образом Киселёв, хорошо осведомленный в вопросах конспирации и переживший сталинский террор, унёсший большинство его коллег, сохранил в своем личном архиве уникальные документы, свидетельствующие о том, чем на самом деле занимался этот советский консул в Китае и Японии. Озабоченный сохранением своего места в истории, Киселёв тщательно сберегал всё подряд. Его бумаги уже почти полвека хранятся в Новосибирском облгосархиве, и исследователь, заглянувший в 29 дел личного фонда Киселёва, может увидеть не только газетные вырезки с фотографиями, но и копии агентурных донесений, и тайные письма, написанные на шёлке, и фальшивые документы... вплоть до расписок резидентов в получении валюты. Не так много найдётся мест, где ещё были бы доступны подобные уникальные материалы, относящиеся к самой сути деятельности спецслужб.

Долгое время Киселёв считался отдалённым потомком одного из японских матросов, выброшенных в 1794г. на русский берег после кораблекрушения шедшей из Сэндая шхуны «Вакамиямару». Русские промысловики с Алеутских островов через Охотск доставили японцев в Иркутск, где они надолго задержались. В 1803г. их вывозили в Петербург на беседу с императором Александром I. Шестеро японцев крестились и остались в России. Это капитан шхуны Судая Хёбэ (Петр Степанович Киселёв), Хатисабуро Абэя из Исимаки (Семен Киселёв), Таминоскэ из Кампудзавы (Иван Киселёв), Тацудзо Сакурая (Андрей Кондратов), а также Миноскэ и Модзиро, получившие имена Михаила Деларова и Захара Булдакова.

Известно, что три моряка – Хёбэ, Хатисабуро и Таминоскэ – были окрещены известным иркутским купцом Степаном Фёдоровичем Киселёвым, «клонировав» генеалогическую линию сибирского торговца. Хёбэ, он же Пётр Киселёв, выслужил чин коллежского регистратора и преподавал японский язык в Иркутском народном училище, а в 1816г. уехал в Москву, где следы его затерялись. Есть версия, что на самом деле он был не капитаном, а матросом по имени Дзэнроку; сам же капитан Хёбэ умер ещё на

Алеутских островах. Здесь не всё ясно. Что касается родословной нашего героя, то она в действительности пересеклась с японской линией в лице потомков Петра Степановича весьма поздно и косвенно. Но впоследствии мнимое японское родство очень пригодились советскому резиденту.

Дмитрий Киселёв первые четверть века своей долгой жизни носил фамилию Николаев, ибо родился – 22 августа 1879г. по старому стилю – в семье нижегородского мещанина Дмитрия Николаевича Николаева и литовки-католички (перешедшей после брака в православие с переименованием в Сусанну) Ядвиги Захарьевны Стейнвилло. Отец был врачом (умер в 1897г.), мать – акушеркой. В октябре 1903г. в достаточно солидном 24-летнем возрасте Дмитрий Николаев был загадочным образом усыновлен – при живой матери, скончавшейся где-то в Крыму около 1921г. – вдовой врача и статского советника Александрой Михайловной Киселёвой. И Нижегородский окружной суд в установленном порядке, учитывая согласие родной матери, определил считать Дмитрия Николаева – Киселёвым. Возможно, причиной было стеснённое материальное положение Киселёва, хотя он к тому времени был уже, в принципе, человеком, живущим на собственный заработок.

Будущий разведчик учился с трудом. До 1895г. он проходил курс в Красноярской, а затем – в Нижегородской гимназиях. В шестом классе он задержался на три года: сначала оказался второгодником «по малоуспеваемости в русском и латинском»; затем, достигнув уже 17 лет, как не имевший баллов за три четверти года, не был допущен к ежегодным экзаменам и с разрешения товарища министра народного просвещения исключён, но потом оставлен на третий год и после 19 лет больше уже не учился. В январе 1899г. его табель зафиксировал отличное поведение, очень хорошее знание закона Божьего и тройки по всем основным предметам. Возможно, Киселёву помешало учиться плохое здоровье или материальные проблемы. В этот же период умер его отец...

Покинув гимназию, молодой человек рассчитывал поступить в Одесское мореходное училище, но там необходим был для абитуриентов полугодовой матросский стаж. Киселёв в одесском порту устроился на парусник, потом сменил бриг на пароход «Великая

кн. Ксения», но, проплавав несколько месяцев, разочаровался в своей детской поре мечте о море и вернулся в Нижний.² Надо было чем-то зарабатывать на жизнь. Полученного неполного среднего образования оказалось достаточно для звания народного учителя. Так в двадцать лет Киселёв начал продолжительную работу на ниве просвещения.

Учитель в гражданской войне

Сначала Киселёв учительствовал в земской начальной школе села Щипачиха Гороховецкого уезда Владимирской губернии, а осенью 1900г. «в поисках романтики и приключений» уехал учителем в Иркутскую губернию. Там он обосновался в деревне Танга Балаганского уезда, а с 1907г. стал преподавать в 4-классном городском училище захолустного Балаганска. Документы говорят, что в 1913г. Киселёв разделил имущество с братом жены, получив двух коней, двух коров, пиломатериал на дом, плуг, лодку и пять десятин пашни, и стал хозяйствовать самостоятельно. Как вспоминал Киселёв, впоследствии его хозяйство было совершенно разорено «сибирской контрреволюцией». Раздел имущества через семь лет совместного хозяйствования, возможно, был связан с разводом: оставив первую жену Екатерину Павловну вместе с четырьмя детьми, Киселёв сошёлся с Екатериной Алексеевной Ивановой, которая до того доводилась ему родственницей – супругой брата первой жены.

6 апреля 1915г. как ратник первого разряда он был зачислен в списки нижних чинов третьей роты 12-го Сибирского запасного стрелкового батальона, но уже 13 мая того же года уволен в отставку «по слабости зрения». Карьерный рост Киселёва не впечатлял и на гражданской службе (сказывалось отсутствие высшего образования) – только в сентябре 1916г. он стал инспектором Верхоленского городского 4-классного училища в той же Иркутской губернии. Это было единственное училище так называемого повышенного типа на весь Верхоленский уезд, который по своим размерам мог сравниться с Францией. По своим взглядам Киселёв склонялся к левым убеждениям, в связи с чем он систематически помогал ссыльным социалистам в поисках уроков и иных заработков. Именно в Верхоленске Киселёв

познакомился с будущим начальником Иностранного отдела ОГПУ М.А. Трилиссером, который впоследствии сыграл заметную роль в его судьбе. Политические амбиции учителя были немаленькими: в 1912-м Киселёв пытался баллотироваться в Госдуму от крестьян Иркутской губернии, но выборной комиссией, как писал потом в одной из анкет, своевременно «был разъяснён».

В революционные годы Киселёв примкнул к левоэсеровской партии. О его симпатиях к эсерам в более ранний период ничего не известно, но, возможно, в сталинское время разведчик просто скрывал этот факт. Определенный авторитет, приобретенный среди местных жителей и ссыльных, позволил ему после Февральской революции быть избранным в председатели Верхоленского уездного совета солдатских, крестьянских и рабочих депутатов. Когда волна большевистского переворота докатилась до Восточной Сибири, заслуженный учитель и член Иркутской организации левых эсеров Киселёв в феврале 1918г. возглавил местную власть, став Верхоленским уездным комиссаром с широкими полномочиями для борьбы с преступностью, спекуляцией и саботажем. Особо пришлось бороться с самогонщиками, так как ввиду «массовой растраты хлеба на выкурку самогонки» произошло увеличение преступности в уезде. С пьяных, отловленных на улице, взималось 3 руб. в пользу народного просвещения. За сокрытие любого спиртного полагался штраф в 50 рублей или до пяти суток ареста. Самогонщики должны были платить штраф до 500 рублей, а при рецидиве – приговаривались к году общественных работ. Найденный самогон выливался, а оборудование и приготовленный для перегонки хлеб подлежал изъятию, причём осведомителям полагалась «часть из вырученных денег».

Затем Киселёв был избран в члены Иркутского губисполкома и – должно быть, с подачи Трилиссера – получил должность помощника при губернском народном комиссаре внутренних дел Гаврилове, а затем в течение трёх недель состоял губкомиссаром: боролся с саботажем чиновников, занимался конфискациями товаров у торговцев-спекулянтов, контролировал положение дел в милиции. В мае 1918г., когда начался мятеж чехословацкого

корпуса, свергнувший советскую власть в Сибири за несколько недель, Киселёв от партии левых эсеров вошёл в состав Военно-революционного штаба в Иркутске, пытался организовывать вооружённые отряды рабочих-железнодорожников для отпора белым, а после падения города перешёл на нелегальное положение.

После переворота экс-комиссар был заочно приговорён к смертной казни, но бывший офицер Сергей Мерцалов помог Киселёву избежать смерти, поскольку в день падения Иркутска – 11 июля – укрыл его на заранее подготовленной квартире и через три дня организовал побег из города. С помощью крестьянина, приехавшего на базар в Иркутск продавать вещи, наголо обритый и лишённый приметной густой бороды Киселёв был вывезен в село Александровское. Бежал он вместе с женой, причём Екатерина Алексеевна со временем стала коллегой своего супруга по опасному ремеслу разведчика (о том, где в то время находилась их двухлетняя дочь Лариса, Киселёв в своих подробных мемуарных рассказах неизменно умалчивал). Что касается его первой семьи, то она в 1918-м была выслана из Верхоленска в Балаганск под надзор полиции, причём старшая дочь Киселёва Мария бежала из Балаганска и воевала в 1919г. в партизанском отряде.

Добравшись до станции Половина, откуда начинался неразрушенный железнодорожный путь на запад, Киселёв с содроганием выслушал рассказ толстой хозяйки постоялого двора, которая с удовольствием поведала, как при ней живьём резали на куски одного крестьянина-большевика. Пробираясь под чужими документами на имя Николая Павловича Краснощёкова в Москву, Киселёв избегал беспощадного белого террора, жертвами которого, в частности, стали почти все его иркутские коллеги. Был повешен И.С. Постоловский – председатель Сибирской чрезвычайной комиссии при ВЦИК Центросибири, базировавшейся в Иркутске. Часть иркутских большевиков, пробиравшихся на Ленские прииски, оказалась схвачена под Верхоленском местными крестьянами и затем расстреляна (вместе с местными совдеповцами) карательным отрядом И.Н. Красильникова. Очень повезло руководившему комиссией Иргубисполкома по борьбе с контрреволюцией М. Лагошину, старому политкаторжанину, который смог освободиться из Александровского центра и пробраться к партизанам.

Остановившись в Красноярске, бывший комиссар своими глазами видел на берегу Качи лужу крови на месте казни трёх видных большевиков. Прожив в Красноярске около месяца, Киселёвы двинулись дальше на запад, стараясь огибать большие города. Доехав до Челябинска, беглецы вынуждены были остановиться, так как белые власти дальше пропуска не давали. Выручила болезнь жены – врач дал справку, что она нуждается в лечении в казанской гинекологической клинике. Помог и легендарный поход В.К. Блюхера, который со своим отрядом прорвал фронт, благодаря чему между Челябинском и Уфой на короткое время оказались красные вооружённые силы. Добравшись из Сызрани до Кузнецка Саратовской губернии, под которым стояли уже красные войска, чета Киселёвых пересекла линию фронта, где подверглась последнему испытанию – красноармейский разведчик придрался к паспорту с двуглавым орлом и задержал семейство. Но в штабе полка после допроса Киселёвых отпустили, после чего они благополучно доехали до Москвы.

Курьер ЦК

Прибыв в красную столицу в конце августа, Киселёв прописался в военном общежитии, но в тот же день у него в трамвае украли все вещи и документы. Разыскав знакомого, Киселёв с его помощью получил новые документы – уже на своё настоящее имя – и устроился на службу к наркому внутренних дел РСФСР Г.И. Петровскому в отдел управления на должность инструктора-ревизора. Порвав с эсерами из-за их июльского мятежа, Киселёв вступил в партию революционных коммунистов (большевиком он стать не смог из-за отсутствия рекомендаций). Решающую роль в его жизни сыграли новые знакомства: сначала с Глафирой Окуловой-Теодорович – членом Президиума ВЦИК, большевичкой с 1899г., а затем (с помощью Петровского) – с председателем ВЦИК Яковом Свердловым.

Осесь в столице и делать советскую карьеру в системе наркомата внутренних дел бывшему иркутскому начальнику не довелось. Быстро привыкший к постам губернского масштаба амбициозный Киселёв был вынужден надолго превратиться в

подпольщика. Менее всего, вероятно, ему хотелось возвращаться в смертельно опасный белый тыл. Но высокопоставленные большевики всё решили за него – раз сумел перебраться через линию фронта, значит, может быть толковым нелегалом.

После встречи с Я.М. Свердловым – одним из организаторов июльской ликвидации своих эсеровских союзников – бывший левый эсер Киселёв в условиях крайнего кадрового голода был назначен тайным эмиссаром большевистского центра. В конце ноября 1918-го его под видом беженца от красных направили в Сибирь и на Дальний Восток с целью сбора сведений о деятельности тамошнего большевистского подполья, страшно разгромленного в момент падения советской власти. Это поручение дал лично Свердлов, ведавший в ЦК сибирскими делами.

Для поездки в белый тыл нужны были надёжные бумаги. Опытная подпольщица Г.И. Окулова-Теодорович посоветовала найти в архиве документы на какую-нибудь неприметную «дореволюционную личность». Зайдя в отдел народного образования к В. Потёмкину, Киселёв засел в архиве и через два дня поисков нашёл подходящие бумажки. Обнаружив документы некоего Ивана Филипповича Моцного, когда-то сдававшего экзамены на звание домашнего учителя, Киселёв взял их за основу. Потом он полистал книгу «Вся Москва» за 1916г., нашёл там фамилию пристава соответствующего участка, в НКВД получил чистый паспортный бланк, и трое его знакомых расписались где было нужно. В 1930-х гг. Киселёв не без гордости отмечал, что в подготовке его паспорта на имя И.Ф. Моцного участвовал сам Василий Ульрих, впоследствии много лет проработавший беспощадным главой военной коллегии Верховного Суда СССР. По паспорту Киселёв-Моцный оказался на пять лет моложе, но в секретной работе это ему не помешало.

Эмиссара с женой снабдили приличной одеждой (лишьими шубами и несколькими дорогими костюмами, реквизированными у «буржуазии»), дали икону для пущей маскировки – и отправили в Самару. Фронт менялся ежедневно, так что секретная чета добралась на поезде, следуя за отступавшими колчаковцами, из красной Самары до белого Стерлитамака, а потом с толпой беженцев приехала в Челябинск. Все хорошие вагоны оказались

заняты офицерами, так что штатские пассажиры и нижние чины ехали в битком набитых теплушках, где лежащие места были только у тифозных.

После этого Киселёв довольно скоро оказался на станции Иннокентьевская под Иркутском, где жил брат. Явок ему не дали – сколько-нибудь надёжной связи с восточными районами у ЦК партии не было. Даже Свердлов беспомощно заявил Киселёву, что практически ничего не знает о судьбе большевиков, оставшихся на востоке: дескать, приезжала недавно какая-то делегация из США, так один из американцев сказал, что видел видного партийца Ансона в Благовещенске. Курьер мог рассчитывать только на себя. Выручило его то, что брат Киселёва – беспартийный Михаил, работавший в Иркутске у комиссара финансов Бориса Славина в качестве секретаря национализированных банков и арестованный после белого переворота – был вскоре освобождён и спокойно трудился бухгалтером в Иркутске по кооперативной линии.

Через Михаила, который жил под своей родовой фамилией Николаев, что позволяло сохранять конспирацию, Киселёв-Моцный в начале января 1919г. связался с уцелевшими иркутскими коммунистами: С.Л. Огнетовым, Е.П. Алексеевой, Я.Д. Янсоном, Дмитриевым, Башуровой, Катаком, Скундриком, Рыбниковым. Киселёв, как мог, поднимал дух уцелевших и активно восстанавливал из пепла подпольную организацию в Иркутске, поставив задачей вербовать в свои ряды недовольных режимом, агитировать против колчаковцев, приобретать оружие, а также организовать выпуск всех белых газет. Один из подпольщиков – некто Юрий – оказался провокатором и, как вспоминал Киселёв, «был убит организацией». Но окончательно восстановить иркутский комитет большевиков удалось только к осени 1919-го.³

Киселёв, наладив до некоторой степени дела в Иркутске, поехал дальше: в начале 1919г. он побывал в Верхнеудинске и Чите, где только что было разгромлено большевистское подполье, а в феврале навестил Благовещенск – центр крупной амурской организации РКП(б). И в Благовещенске нашёлся предатель (Розенблат), выдавший часть подпольщиков, включая бежавшего из Иркутска Б. Славина. Там Киселёв под видом крупного спекулянта

встретился со своим старшим коллегой по Иркутску М.А. Трилессером, который лежал в больнице с плевритом – под чужой фамилией, среди раненых белых офицеров. В Чите и Благовещенске Киселёв поддержал объединение в единое антиколчаковское подполье всех левых: большевиков, левых эсеров, анархистов, максималистов. Киселёв не боялся рисковать, и судьба его хранила во время поездок также в Хабаровск, Владивосток и Харбин, где местные подпольщики активно проводили диверсии на КВЖД. Киселёв наказывал всем подпольным организациям особое внимание уделять разрушению железных дорог. Белая контрразведка получила сведения о прибытии большевистского эмиссара, поэтому Киселёв был вынужден свернуть поездку и поторопиться исчезнуть с Дальнего Востока.

Возвращаясь на запад, он остановился дней на десять в Красноярске, где успел прописаться в домовую книгу, а после заявил об утере паспорта и получил по прописке новый – подлинный и абсолютно надёжный. Потом завернул в Иркутск. Белый террор не утихал. Колчаковцы не церемонились и с теми, кто был предельно далёк от большевиков – проезжая Канск, Киселёв видел повешенного городского голову Степанова (согласно сведениям главы Нижнеудинского земского собрания эсера М.А. Кравкова, за публичный лозунг: «Да здравствует Учредительное собрание!» поплатился жизнью председатель Канской уездной земской управы; вероятно, речь идёт об одном и том же человеке). Спекулянты, которых белые усиленно пороли, вешали или сажали в тюрьмы, конфискуя товар, как отметил Киселёв, все «горели огнём личной мести» и даже якобы ждали большевиков, чтобы поквитаться с колчаковцами. В своём докладе в Сиббюро ЦК РКП(б) он писал: «Бессудные казни, массовые порки и утопление в проруби – бытовые явления в Сибири».

В ответ неуклонно нарастало сопротивление колчаковцам. На линии Канск – Тайшет партизаны были так активны, что устраивали крушения практически ежедневно. Установка на железнодорожные диверсии чуть было не закончилась трагически для самого эмиссара: в ночь на 27 марта 1919г. поезд, на котором Киселёв спешил из Красноярска в Иркутск, под станцией Юрты был пущен под откос красными партизанами, но спецкурьер благополучно уцелел.⁴

Секретная командировка продолжалась около полугода. Собрал сведения о подполье, передав партийные директивы об усилении партизанского движения, рассказав сибирякам об успехах быстро созданной Л.Д. Троцким миллионной Красной Армии, эмиссар Свердлова 5 мая 1919г. покинул Сибирь. От Бугульмы до Самары ехал с комфортом – в поезде самого М.В. Фрунзе. В июне Киселёвы прибыли в столицу. С собой курьер привёз 140 сибирских и дальневосточных газет, а также доклад о работе дальневосточных большевиков, выполненный для маскировки на холсте (бумага бы шуршала при прощупывании) и зашитый в шубу жены.

Для рассказа о положении в Сибири его **29 июня 1919 г.** вызвал Ленин, сказавший после часовой беседы, что Киселёв привёз добрые вести о восстановлении подполья и серьёзном сопротивлении Колчаку. Не без иронии Ленин спросил о том, неужели и зажиточные селяне выступают за Советы и против Колчака? Получив утвердительный ответ, председатель Совнаркома подытожил: не хотят крепкие сибирские мужики отдавать хлеб и новобранцев белым властям. Одновременно Ленин с досадой отметил, что здесь генерал Деникин пока «бьёт нас». Ильич также высказался о том, что надо сначала добить Колчака, а потом заниматься очисткой юга и врангелевского Крыма. Глава Советского правительства спросил и о судьбе одного из виднейших сибирских большевиков, бывшего председателя Центросибири Б.З.Шумяцкого, который смог нелегально пробраться в Советскую Россию из Западной Сибири. Особенно заинтересовали Ильича белогвардейские газеты, и он вознегодовал, узнав, что ряд самых интересных из них зачитали с концами штабисты поезда командарма Фрунзе. Ленин отправил Фрунзе приказ срочно разыскать газеты и отправить в столицу. Командарм передал распоряжение Ильича коменданту поезда, но тот не смог собрать ни одного экземпляра – любопытным красным командирам оказалось плевать на Кремль, а белые газеты были, надо полагать, поинтереснее официальной советской прессы. За невыполнение приказа рассерженный Фрунзе отправил своего коменданта на фронт.

Вскоре Киселёву с женой пришлось снова отправляться за Урал – на сей раз по мандату от Ф.И.Голощёкина, представлявшего Урало-Сибирское бюро ЦК РКП(б). Мандат, написанный на шёлке и надёжно зашитый в одежду Екатерины Алексеевны, сохранился: он датирован 27 июля 1919 г. и гласил, что предьявитель его командирован «в Восточную Сибирь для организации связи, информации и снабжения средствами». Большевистский эмиссар ехал по прежнему маршруту – Иркутск, Чита, Благовещенск, Владивосток – с крупной суммой денег (двумя миллионами рублей). Киселёву были известны имена некоторых других тайных курьеров ЦК – так, во время поездки он познакомился с юным М.К.Аммосовым, год спустя ставшим одним из руководителей Якутской области и активным организатором красного террора.

Проехав Троицк, Киселёв в четвёртый раз перешёл линию фронта и на короткое время остановился в только что оставленном белыми Кустанае. Там курьер купил у своего возницы тарантас вместе с лошастью и зарегистрировал купчую у нотариуса, которая наглядно свидетельствовала о деловом пребывании Киселёва в Кустанае. В беженском потоке он проехал около тысячи вёрст и не привлёк внимания белых. Но всё же в этот раз доехать до Восточной Сибири и Приморья ему не довелось. В сентябре 1919 г. он добрался до столицы «Колчакии», но в городишке Татарске, что не очень далеко от Омска, Киселёва-Мощного всё-таки задержали: покупая продукты в дорогу, он попал в облаву на дезертиров. Лошадь была конфискована, а владельца мобилизовали в стремительно разваливавшуюся колчаковскую армию. Киселёв успел крикнуть жене, чтобы та ехала в Каинск, и вскоре к ней присоединился.

Послужив немного в г. Каинске, гражданин Мощный очутился писарем обоза дивизии морских стрелков в Новониколаевске. Жил он при этом вполне свободным образом, на частной квартире. Вскоре Дмитрий Дмитриевич вместе с бывшим эсером Н.Н. Молочковским сагитировали нескольких солдат и 2 ноября 1919-го дезертировали. До момента падения власти Колчака Киселёв нелегально полтора месяца жил в Новониколаевске на квартире Молочковского, который помог через «Закупсбыт» перевести

привезённые из Москвы деньги иркутским подпольщиком. Достались средства барнаульским и новониколаевским большевикам. Правда, осенью 1919-го в Новониколаевске практически не было не арестованных большевиков и всё подполье состояло буквально из нескольких человек.

После падения Омска колчаковский фронт рассыпался и 14 декабря Новониколаевск был взят большевистскими войсками. Новым властям предстали горы трупов умерших от тифа, взорванные при отступлении белых мосты через Обь и спиртзавод да коленопреклоненный пролетариат, вёдрами черпавший дармовую алкогольную жижу прямо с обского льда.⁵

Член губревкома

В день прихода красных Киселёв с Молочковским связались с командованием и организовали «тройки по аресту белогвардейцев». Киселёв сразу же (с 17 декабря 1919г.) стал членом Новониколаевского ревкома и подвизался по специальности – куратором народного образования. При этом экс-подпольщик ещё вручил властям города оставшиеся у него 831 тыс. рублей керенками. Дмитрий Дмитриевич участвовал в большинстве заседаний губревкома и занимался отнюдь не только наркомпросовскими делами. Новониколаевск, ставший ненадолго административным центром Томской губернии, с середины 1919г. буквально вымирал от тифа; в нём находились десятки тысяч беженцев и до 15 тысяч австро-германских военнопленных, оказавшихся в Сибири после успехов русской армии во время Брусиловского прорыва. Власти ставили перед собой единственно выполнимую в тот момент задачу: «превратить мор в эпидемию».

Будущая писательница Раиса Азарх, работавшая начальником санчасти 5-й армии, была послана в Сибирь во главе специального санитарного поезда, вёзшего 75 врачей и столько же фельдшеров. По её оценке, тифозных солдат-белогвардейцев в Сибири насчитывалось 100 тыс. Прибыв в Томск, Азарх заявила, что ситуация в Новониколаевске была самая скверная по сравнению с остальными городами: город оказался перегружен воинскими эшелонами, набитыми живыми и мёртвыми тифозными больными, а необходимых помещений не было. Новониколаевск стали

разгружать, отправляя больных солдат в Бийск, Омск и Семипалатинск. В мемуарах Р. Азарх писала, что в начале января 1920г. застала в Новониколаевске драматическую картину: «Растерянные новониколаевские руководители слёзно молят освободить город от мёртвых, которые заполняют массу составов, стоящих на путях. Оставляем в Новониколаевске специальные команды, персонал по изолированию, развёрнутые госпитали».

Между тем возможность поправить ситуацию самостоятельно у ревкома имела – благодаря колоссальным трофеям. В начале января на 100-километровом участке от моста в Новониколаевске до станции Чулымской стояли 2.830 гружёных вагонов, в том числе 371 – с продовольствием, 49 – с медицинским и санитарным имуществом, 82 – с кухнями и пекарнями. Полтора месяца спустя неразгруженных вагонов было ещё порядка трёхсот. Со стороны представляется, что с помощью многочисленного гарнизона разгрузить их можно было бы гораздо быстрее. Правда, значительная часть военных припасов была разграблена окрестными крестьянами и партизанами, повсеместно нападавшими на занесённые бураном по самые крыши составы, грабившими и убивавшими замерзавших больных и беспомощных белых солдат и беженцев⁶.

Некоторые распоряжения ревкома в первые дни советской власти выглядели анекдотично: например, с целью экономии электричества в частных домах запрещали включать свет после 10 вечера и пользоваться более чем двумя лампочками одновременно, причём оговаривалось, что «комнатные жильцы имеют право на одну лампочку». Каждый абонент электросети должен был принести в отдел городского хозяйства одну лампочку, а с тех, кто этого распоряжения не выполнил бы, предписывали брать три лампочки. Впрочем, почти все дома Новониколаевска освещались керосином...

На заседании ревкома 29 декабря прозвучало начальственное (одного из лидеров Сибревкома В.М. Косарева) мнение о необходимости для «ответственных партийных работников открыть во что бы то ни стало в самое ближайшее время больницу, обставив её возможно лучше», ибо «партийными работниками необходимо дорожить и беречь [их]». Комиссии по борьбе с тифом были

щедро переданы конфискованные 1.600 ведёр пива. Помогло ли слабоалкогольное зелье тифозным, документы умалчивают. Позаботились большевики и о доме принудработ – для наведения санитарного порядка они предписали «устроить форточки... выносить днём из камер параши, приделывать к ним крышки и вносить только на ночь».

8 января 1920 г. губревкомовцы приняли участие в судьбе «товарищей роговцев» – отрядовцев одного из самых свирепых сибирских партизан, анархиста Г.Ф. Рогова, уничтоживших самосудом при захвате г. Кузнецка (современного Новокузнецка Кемеровской области) порядка 800 жителей. После насильственного разоружения часть роговцев оказалась – без предъявления каких-либо обвинений – под замком в положении, как ревниво отметил ревком, худшем, чем белогвардейские офицеры: без отопления, на полуголодном пайке, косимых тифом. Так же губревкомовцы возмутились тем, что партизанам, среди которых есть «видные работники» советской власти, «прогулки, свидания и даже чтение газет строжайше воспрещено».

Киселёв вместе с ещё одним чиновником были посланы для обследования положения роговцев и возможного их освобождения. В феврале часть партизан была освобождена. Сам Рогов вместе со штабом сидел с 26 декабря 1919г., новониколаевские чекисты его избивали. (Однако из мемуарной литературы известно, что видный местный чекист В.Ф. Тихомиров, считавший, что таким заслуженным партизанам место именно в ЧК, защищал роговцев и доверительно рассказывал самому Рогову о сути чекистской работы.) Известно, что дюжина убийц-роговцев была на месте расстреляна трибуналом 5-й армии за массовые убийства и изнасилования в Кузнецке и Щегловске (Кемерове), но самого Рогова, за которого усиленно ходатайствовали и партизаны, и крестьяне (которых партизаны угрозами заставляли подписывать петиции), и партийные власти, выпустили в начале марта 1920г. Уже два месяца спустя он, вернувшись на Алтай, поднял крупное антибольшевистское восстание.⁷

Постоянно участвуя в заседаниях губревкома, Киселёв активно участвовал и в налаживании карательной политики. Глава губчека И.М. Кошелев 9 января 1920г. сообщил губревкому, что

за первые две недели работы чекисты арестовали 326 человек и завели 260 дел, из коих уже было «разрешено» восемь, а «накануне окончательного разрешения» находились 50 дел. Поскольку только 2 января 1920-го коллегия губчека постановила расстрелять не менее семи человек, то фраза про «решённые дела» выглядела вполне однозначно. Дом принудработ в Новониколаевске в первой декаде января был уже переполнен вдвое – в нём сидело 500 заключённых, причём каждый день из ЧК прибывало по 50 новых арестованных.

И тем не менее власти губернии остались недовольны тем, как разворачивалась карательная работа губчека. 14 января они постановили снять юного Кошелева и поручили – до прибытия на его должность бывшего секретаря Сибчека В.Ф. Тиунова – руководство гораздо более опытной и активной омской чекистке Вере Брауде. Две недели спустя ревком констатировал, что чека, в которой к тому моменту трудилось 60 сотрудников, при Кошелеве работала неважно: «Белогвардейцы и контрреволюционеры открыто высказывали своё неудовольствие Советской властью. Сейчас с приездом новых товарищей работа пошла лучше».

Киселёв был в числе наиболее авторитетных работников губернии. Сам губревком был невелик: его возглавляли сначала В.Ф. Дружицкий, а с января 1920г. М.Ф. Левитин (бывший председатель Сибчека), членами являлись известный сибирский большевик М.Н. Рютин (будущий ярый антисталинец), Киселёв, один из организаторов местной чека В.Ф. Тихомиров, Г.К. Соболевский (бойкий грубоватый фельетонист и будущий чекист), подпольщик и большевик с 1903г. Н.Г. Калашников.

Дмитрий Дмитриевич каждый день с 11 до 12 часов принимал посетителей по личным вопросам. О подобном демократизме прочих губревкомовцев местная газета не упоминала. Уже 19 декабря 1919г. Киселёв созвал на совещание всех руководителей городских учебных заведений, а 3 января в газетном объявлении строго предписывал всем учителям немедленно явиться на места службы; те же, кто в трёхдневный срок этого бы не сделали, считались уволенными.

Губнаробраз реально начал работу с 27 декабря, в его коллегию входили заведующий школьным подотделом Р.И. Млинник,

внешкольным – А.А. Моховиков, а также Леви. Коллегия регистрировала преподавателей, которых был большой избыток из-за отсутствия занятий, занималась реквизицией зданий под школы у «буржуев, кулаков и попов», просила чека налагать арест на все обнаруженные при обысках писчебумажные и канцелярские принадлежности. В школах проводилось изъятие религиозной литературы, отменялись экзамены и провозглашалась недопустимость наказаний учащихся. На работу приглашались заведующие районными библиотеками и лекторы по вопросам обществоведения, естествознания, медицины. Организовывались музеи и художественная студия для детей рабочих. 20 января 1920г. подчинённые Киселёва рекомендовали к постановке пьесу местного литератора Павла Дорохова «Минувшее», в которой были «выведены нытики-интеллигенты и сентиментальные романтики, по недоразумению попавшие в разряд революционных работников».⁸

На фоне городских проблем отсутствие в городской Чеховской библиотеке сочинений Чехова, а в библиотеке имени Льва Толстого – «Войны и мира», выглядело пустяками. Учебных занятий в течение 1919г. почти не велось, школьные здания были ещё при белых заняты под лазареты. Эпидемия мешала устраивать публичные лекции и спектакли, действовал запрет на посещение кинотеатров и цирка. Неожиданно для интеллигенции вымиравшего города отдел народного образования в самом известном здании Новониколаевска – городском корпусе – организовал в конце января бесплатную выставку живописных работ восьми художников, в том числе известного мастера Бруни.

Но вообще-то коллеги Киселёва интеллигентов не жаловали: уже 3 января 1920г. газета ревкома «Красное Знамя» опубликовала угрожающую статью какого-то Л. Ефременко «Народный учитель и революция». Автор бичевал учительство за враждебное отношение к революции и «линию предательского выжидания», нападая на тех, кто не торопился идти к большевикам: «Внепартийность – это для Советской власти худшее зло, какое только можно придумать. (...) Если вы кадет – значит, ваше место в тюрьме или ещё глубже. Если вы правый эсер или меньшевик... ваше место поблизости к кадету. Если же вы внепартийник, то

приходится призадуматься, куда вас отнести. (...) Честный человек в наше время не может и не должен быть вне партии».

Киселёв за не очень долгое время своего пребывания в Новониколаевске внёс вклад в организацию отделов наробраза в городе и уездах, так что новониколаевские учителя при прощании в своём адресе с полусотней подписей законно отметили «широкий чисто русский размах» работы Киселёва и его «огромный кругозор». Но занятия в школах начались ещё не скоро...

Дмитрий Дмитриевич в Новониколаевске не задержался. Сибревком и Реввоенсовет Пятой армии командировали его в Иркутскую губернию восстанавливать большевистскую власть. Примерно в начале февраля 1920г. (в Новониколаевске его пребывание последний раз замечено 29 января) Киселёв прибыл в хорошо знакомый Балаганск, где за двенадцать дней успел организовать советскую власть, уладить конфликт местного ревкома с буйными партизанами и снабдить новоиспечённых чиновников необходимыми инструкциями, а также тремя сотнями тысяч рублей. С 6 марта 1920г. он работал в Иркутске – председателем губернской учётно-реквизиционной комиссии.⁹ Но через несколько недель главного экспроприатора губернии оторвали от учёта реквизированного добра – грабить награбленное мастеров хватало, способности же матёрого подпольщика Киселёва были востребованы военной разведкой.

Карьера купца-разведчика

Так началась главная часть его жизни. В мае 1920г. Киселёв становится сотрудником 2-го (Восточного) отдела Разведуправления Красной Армии. Как непригодный к военной службе он был зачислен вольнонаёмным в агентурный отдел. Вскоре его отправили в Китай и Японию под видом коммерсанта Моцного. Таким образом, документы, изготовленные ещё в 1918-м, продолжали верно служить Киселёву. Для проникновения в Маньчжурию разведчика превратили в гражданина Дальневосточной Республики.

Удостоверение, подписанное самим главой правительства ДВР А.М. Краснощёковым, гласило: «Предъявитель сего гражданин Иван Филиппович Моцный едет по коммерческим делам

в Китай. Провозимые Моцным вещи конфискации и осмотру не подлежат и вообще предлагается всем властям не чинить гражданину Моцному при проезде никаких препятствий». 12 января 1921г. Киселёв-Моцный получил у генконсула Японии в Харбине загранпаспорт для поездки в Чанчунь, Иокогаму, Шанхай и Тяньцзинь. Прожив в Шанхае требуемые полгода, он 13 июня 1921г. был вместе с женой-домохозяйкой зарегистрирован в бюро по русским делам как 37-летний коммерсант с адресом 53 Rue Marselli Gillot. На самом деле и жена Киселёва-Моцного Екатерина Алексеевна была не только домохозяйкой, но тоже числилась в штате Разведупра, выполняя обязанности курьера.¹⁰

Господин Моцный успешно играет роль солидного купчины, состоя членом Русской торговой палаты и Русского экономического общества в Шанхае. Ездит куда хочет по всему Китаю, руководит целой группой нелегалов, вербует агентуру, собирает военно-политическую информацию, заработанные бизнесом деньги тратит на порученное дело. В июне 1921г. он передаёт 500 мексиканских долларов (так по старинке называли серебряные юани), 200 американских долларов и 50 тыс. руб. керенками нашему резиденту в Шанхае Е.А. Фортунатову (тот курировал агентов и Иностранного отдела ВЧК, и Разведупра) для «конспиративной работы». Резидент продал керенки за 60 мексиканских долларов, а американские деньги – за 406. (Год спустя, 28 июня 1922г., Фортунатов расписался в получении от Киселёва 1.075 мексиканских долларов «на расходы по конспиративной работе в Шанхае».) Активно наблюдал Киселёв за созданной в мае-июне 1920г. при участии коминтерновца Г.Н. Войтинского (Григория) корейской компартией, вникая во все дрязги очередного «боевого отряда коммунистического движения», верхушка которого не забыла прикарманить солидную сумму в валюте. Вскоре этот «отряд», состоявший из какой-то сотни участников, не замедлил расколоться.

В 1921г. Киселёв смог с помощью денежных подачек войти в доверие к семёновскому офицеру графу Капнисту, любителю красивой жизни. На основе рассказов Капниста и его выступления в Русской торговой палате резидент составил подробный агентурный доклад о деятельности семёновских офицеров в Шанхае. На

следующий же день после приезда Капниста из Порт-Артура от атамана Семёнова Д.Д. Киселёв записал, «что окончательное заседание представителей Семёнова, Японии, Унгерна, Анненкова и Каппелевцев о совместном выступлении против Читы и ДВР состоится в Мукдене вслед за Токийским совещанием в последних числах этого месяца... все убеждены в скором падении ДВР и всего Забайкалья. Сегодня по этому вопросу состоится экстренное собрание монархистов, в коем, между прочим, будет обсуждаться привезённое Капнистом предположение атамана Семёнова о тех конкретных территориальных и других компенсациях, которые потребуют в окончательном заседании представители Японии за своё выступление. (...) Между прочим, характерна фраза, которую сказал в беседе Семёнов: «Отдадим Японии, если она потребует, половину России, но зато останется нам хоть маленький кусочек ея, очищенный от большевизма».

В архиве сохранилось выданное Киселёву в мае 1921г. удостоверение представителя редакции ежедневной русской «Шанхайской жизни» Николая Новицкого, где сказано, что Киселёв (не Моцный! – *А.Т.*) «давал нашей газете весьма ценную информацию о жизни, деятельности и планах семёновских и других монархических и черносотенных организаций, обосновавшихся в Шанхае». Отметим к слову, что один из историков, переписывавшихся в хрущёвские времена со стариком Киселёвым, сообщал ему: «Встретил вашу подпись на докладной записке по вопросу о судьбе газеты «Шанхайская жизнь» от 29/VI – 1922г. Такие документы, естественно, мне не нужны, так как говорить о них нельзя...»¹¹ В этой докладной, вполне возможно, речь шла о финансировании газеты советской разведкой.

Затем наш герой едет в Россию – отчитаться и получить новые указания: 2 июля 1921г. комендант станции Чита-2 получает от адъютанта главкома вооружённых сил ДВР предписание выдать проездные документы «без соблюдения формальностей до ст. Иркутск т. Киселёву и т. Ивановой». Характерно, что здесь разведчик именуется его настоящей фамилией, а жена фигурирует под своей прежней фамилией из-за того, что брак был гражданским. Три недели спустя товарищ Иванова получает в

Новониколаевске удостоверение, выданное на имя сотрудницы Разведупрсиба Киселёвой Екатерины Алексеевны, командированной в Москву «с секретными срочными бумагами и документами». Секретная семья приезжает в Москву, где из Штаба РККА Киселёву 16 августа 1921г. присылают записку: «тов. Данилов просил Вас сегодня прибыть к нему по Вашему докладу к 12 часам ночи». Речь шла о комиссаре Штаба РККА С.С. Данилове, который курировал военных разведчиков.

Попытался Киселёв попасть на приём к Ленину, но безрезультатно. В первых числах сентября Ленин, прочитав письмо Киселева с просьбой принять его по вопросу о политическом положении на Востоке, дал указание секретарю направить это письмо наркому по делам национальностей Сталину.

Ровно месяц спустя Разведупр откомандировал Киселёва с женой «по служебным делам» в Новониколаевск; одновременно и НКВД выправил разведчику бумагу, в которой говорилось, что он командировается в Китай «с секретным поручением и пакетом на имя военно-революционной организации «Сюй-Ся». Надо думать, пара заехала в Новониколаевск в связи с тем, что в столице Сибири базировался разведотдел СибВО, курировавший работу нашей военной разведки на Востоке, и где, кстати, официально подвизались и Екатерина Иванова-Киселёва, и сам Дмитрий Дмитриевич.

В личном фонде Киселёва хранится когда-то зашитая под подкладку одежды курьера записка на кусочке шелка от 27 февраля 1922г., адресованная Моцному, где говорится: «Задание №59. Выясните сведения о торговом и военном флотах, принадлежавших ранее России, находящихся под командой бывш. лейтенанта Тыртова в китайских портах (по некоторым сведениям, в Шанхае), боевое и материальное состояние флота, настроение команд». А сколько было подобных записочек... 20 апреля 1922г. господин Моцный снова появляется в Шанхае, объявив о своём намерении оставаться там три месяца.¹²

«По проискам Киселёва...»

Через два с лишним года нелегальной работы коммерсант Моцный бесследно растворился, а появившийся вместо него сугубо официальный чиновник Д.Д. Киселёв 11 ноября 1922г. получил назначение уполномоченным правительства Дальневосточной

Республики на станции Пограничная в Маньчжурии. С самого конца 1922г., когда ДВР была присоединена к России, он начинает представлять интересы наркомата иностранных дел РСФСР на этой же Пограничной – одной из основных станций Китайско-Восточной железной дороги. Работа дипломата Киселёва по-прежнему являлась ширмой, за которой пряталась его деятельность на Разведупр и ГПУ. В частности, он вел постоянную переписку с бывшим начальником Иностранного отдела ВЧК Я.Х. Давтяном, работавшим тогда советником полпредства РСФСР в Китае. Реально же Яков Давтян являлся главным резидентом ГПУ в Китае. 9 декабря 1922г. Давтян писал из Пекина на станцию Пограничная:

«Уважаемый товарищ, прошу сообщить мне с ближайшим курьером (через т. Погодина) точные данные о Фортунатове в смысле дальнейшего его использования для специальной работы.

Прошу также установить непосредственную связь со мной (письма через т. Погодина) по всем вопросам, связанным с этой работой.

Полагаю, что Вы имели от т. Трилиссера в Москве – надлежащие указания.

С коммунистическим приветом *Я. Давтян*».

5 февраля 1923г. Киселёв получил от Давтяна новое послание, где тот выражал свой скепсис относительно предположений резидента об агрессивных устремлениях Японии, упоминал Сунь Ятсена, одного из ведущих китайских военно-политических лидеров Чжан Цзо-линя, белого атамана Г.М. Семёнова, а также просил конкретных фактов от тех информаторов Киселёва, которые слишком увлекались общими рассуждениями:

«Ваше письмо от 24/1 получил. Прошу продолжать работу. В частности, №4 (*это кличка видного агента – А.Т.*) используйте широко, вместе с тем строго следя за тем, чтобы он не давал беллетристики.

Прилагаемые к В/письму сведения мне кажутся преувеличенными. Вряд ли японцы смогут начать – или даже серьезно поддержать – новую авантюру. Чжан-Зо-Лин тоже как будто меняет фронт и готов идти с нами на соглашение, если он будет уверен, что мы его не тронем (тут сказывается влияние Сунь-Ят-сена на

него). Но что Семенов проявляет некоторую активность (и областники) – это верно, есть и другие сообщения. Пока ещё неясно – насколько это серьезно – возможно, что он просто делает себе рекламу, чтобы получить деньги от японцев и... от нас (к нам подъезжали его люди с разными комбинациями).

Прошу в первую очередь направить Ваше внимание на следующие пункты

1) Семеновцы – их планы, конкретные силы, деньги.

2) Имеются ли другие белые группы, подготавливающие серьезные действия?

3) Положение белых в Манчжурии (Хунгун, Гирин, Мукден, Пограничная, Харбин, Сахалян /*русское название пограничного с Благовещенском китайского г. Хэйхэ – А.Т.*/). Есть ли вооруженные банды, отношение китвластей к ним.

4) Действия Чжан-Зо-лина, его связи с белыми и японцами.

5) Японо-американские отношения в Манчжурии.

6) Насколько реальны планы японцев перешивки линии Харбин – Куангендза и далее получение этой линии себе взамен других компенсаций Чжану (Чжан Цзо-линю – *А.Т.*).

7) Связи белых с Россией, адреса лиц и организаций в России, переправы и поездки и пр.

Конечно, все эти задания – только в виде общих указаний. Выполняйте поскольку у Вас будет возможность.

Имеются ли у Вас средства на эту работу? Если нет – могу Вам послать. Не давайте информаторам расплыться в общностях – требуйте конкретных и проверенных материалов.

В будущем буду подписываться «Мирович».

С коммунист. приветом *Я. Давтян*».

Сохранил Киселёв и письмо Давтяна, датированное приблизительно сентябрём 1923г.:

«Уважаемый Товарищ Дядя Ваня

Ваше письмо от 23 мая получил со всеми приложениями. Прошу вас и в дальнейшем продолжать информировать и в случае Вашего отъезда принять меры, чтобы наши связи не прекратились. Присылайте мне по возможности все Ваши материалы в 2-х экземплярах, поскольку это технически будет возможно.

С коммунистическим приветом *Мирович*».

В 1924г. «Мирович» сообщал, что на время его отъезда дела передаются находящемуся в Харбине Перевалову, «с которым предлагаю сноситься по всем делам, связанным с агентурной работой». ¹³ В этот период «Дядя Ваня», будучи в теснейшем контакте с органами ОГПУ, не выбирая средств, борется с белоэмигрантами, засылая к ним агентов и требуя от китайских властей прекращения деятельности белых на их территории. Он возглавляет целую группу разведчиков и имеет на связи очень ценных агентов.

Вот любопытный документ, отправленный малограмотными дальневосточными чекистами из Приморского губотдела ГПУ Киселёву в сентябре 1923г.:

«Сов. Секретно
Лично.

Уполномоченному Правительства тов. КИСЕЛЁВУ

Для работы, указанной в вашем отношении 29/IX за №161/с, направляется к Вам наш секретный сотрудник по фамилии ФЕДОРОВ (кличка МАЛЬЦЕВ), который должен будет явиться по вашему указанию к №4. МАЛЬЦЕВ №4 [номера четвёртого – *А.Т.*] как нашего не знает, а знает как представителя белых, [к] которому он должен явиться, имея пароль: «я 69», на что он должен получить ответ: «96». Эта процедура должна якобы уверить №4, что человек прислан по назначению и это послужит поводом к хорошему приему №4 [номером четвёртым – *А.Т.*] МАЛЬЦЕВА. С другой стороны это МАЛЬЦЕВА уверит, что он разрабатывает белую фигуру в нашу пользу, тем самым сохранив конспирацию. Инструкцию МАЛЬЦЕВ здесь получил, а также предупрежден на случай, если понадобится сопровождать человека во Владивосток. Но для этого Вы там должны будите [так в тексте – *А.Т.*] скомбинировать возможность нелегально пройти границу.

Этот самый МАЛЬЦЕВ был у ОВЕЧКИНА и последний его хорошо принял. Об ОВЕЧКИНЕ МАЛЬЦЕВ расскажет №4 [номеру четвёртому – *А.Т.*], а последний должен будет перед «работодателями» хваснуть [так в тексте – *А.Т.*] о вышеуказанных заслугах МАЛЬЦЕВА.

Конечно явится к №4 он должен как ФЕДОРОВ.

НАЧПРИМГО ГПУ / КАРПЕНКО /
30/IX – 23 года
Владивосток». ¹⁴

Сексот Федоров – это бывший секретарь колчаковского МИДа и недавний работник крупной немецкой торговой фирмы «Кунст и Альберс», имевшей ряд филиалов на Дальнем Востоке, а вот кто такой «№4», о котором сам бывший начальник внешней разведки ВЧК напоминал Киселёву: «используйте широко, вместе с тем строго следя за тем, чтобы он не давал беллетристики», документы умалчивают. Следует учесть, что одна из советских резидентур в тот период смогла установить оперативный контакт с генконсулом США в Харбине Джонсоном, «оказывавшим нам большие услуги», о чём хорошо знал, например, А.И. Емшанов, с 1926г. работавший управляющим КВЖД.

Наш резидент постоянно успешно сочетал деятельность в Разведупре с работой на ОГПУ. В мае 1924г. полпред в Китае Лев Карахан писал Киселёву: «Не могу не выразить своего удовлетворения по поводу той дружной и согласованной работы, которую Вы ведёте в контакте с органами ГПУ. Я и раньше был осведомлён об этом и считал, что успешный ход Вашей работы обязан отчасти Вашему умению наладить работу с нашими органами на советской территории». 24 сентября 1924г. приказом ОГПУ Киселёв был награждён маузером с надписью: «За совместную работу с органами ОГПУ по борьбе с бандитизмом и белогвардейским движением в ДВО».

Киселёв выполнял широкий круг поручений, в том числе и относящихся к своей официальной консульской работе. 5 июля 1924г. он сообщал Карахану о результатах приёма двух зданий бывшего российского консульства в Ханькоу: стоимость вместе с участком – 700 тыс. китайских долларов, крыша течёт, из всего имущества налицо только два несгораемых шкафа и пишмашинка. Русская колония, по наблюдениям Киселёва, насчитывала в Ханькоу сотню-другую человек, в том числе колчаковского

генерала Бурлина и семёновского генерала Казачихина. Упомянув, что бывший русский консул Бельченко работает консулом Португалии, Киселёв предлагает Карахану «устранить Бельченко с китайской службы, а равно... всех русских белогвардейцев, которые сейчас занимают в Ханькоу у китайцев разные должности». В августе того же года Киселёв вернулся в СССР, а 10 ноября 1924г. получил от Карахана диппаспорт (на фото – снова с бородой) и приступил к работе генеральным консулом СССР в Харбине, одновременно являясь членом правления КВЖД.¹⁵ Там он смог серьезно подорвать антисоветскую деятельность многочисленных русских эмигрантов.

...28 февраля 1938г. в послании на имя замначальника Разведупра старшего майора госбезопасности С. Гендина (недавнего беспощадного к врагам народа следователя центрального аппарата ГУГБ НКВД) Киселёв писал о своей работе на ОГПУ:

«Я работаю в РУ РККА с мая 1920г. В течение 10-ти лет с 1920г. по 1930г. я был на боевой работе РУ РККА за рубежом. Первые два с половиной года этой зарубежной работы я находился в крайне тяжёлых и опасных для моей жизни условиях нелегального существования. Достаточно сказать, что один из зарубежных работников РУ РККА возглавлявшейся мною нелегальной группы – мой родной брат М.Д. Николаев – был тогда раскрит белыми и зверски убит ими за рубежом.

Одновременно с работой [в] РУ РККА я по распоряжению центра выполнял за рубежом в течение 10-ти лет и работу по линии ОГПУ как в Китае, так и в Японии. В дальнейшем я продолжал работу [в] РУ и ОГПУ, будучи уполномоченным НКВД СССР на Пограничной, но опасность быть убитым всё время, как Дамоклов меч, висела над моей головой.

Дело в том, что на Пограничной по заданию органов ОГПУ я провёл большую работу по борьбе с белыми. Я сумел разгромить не только все белогвардейские подпольные организации в Пограничной, но и формировавшиеся там белые банды, добился официальной выдачи как главаря этих белобанд казачьего офицера Шипицына и заключения в китайские тюрьмы других белобандитов, некоторых же белобандитов я сумел другими способами передать органам ОГПУ (Главарь белобанды поручик Ковалёв и друг.).

Мало того, я раскрыл в 1924г. в г. Никольск-Уссурийском в отдельной Дальневосточной Кавбригаде контрреволюционный белогвардейский военный заговор, нити которого тянулись за рубеж – [в] Пограничную и Харбин. Я не только помог выяснить несколько десятков участников этого заговора и арестовать их, но зафиксировал даже все контрреволюционные разговоры, которые заговорщики вели с представителями зарубежных белобандитов, и сообщил все материалы органам ОГПУ, а также помог выявить и арестовать представителя зарубежных белогвардейцев – поручика Ковалева.

(...) Между тем белые на Пограничной приговорили меня к смерти и готовили покушение на меня, чего, однако, им не удалось осуществить, так как я был своевременно предупреждён... Представляю выписку из харбинской белогвардейской газеты «Русский голос» от 1/4/24г. и справку В.В. Смирнова, который в то время работал секретарём представительства СССР на Пограничной и помогал мне в работе по линии ОГПУ.

(...) Ныне я нуждаюсь в помощи и содействии ОГПУ-НКВД... решаюсь ныне просить Вашего ходатайства перед НКВД о возобновлении для меня лечения в санчасти НКВД, диетпитания и бытового обслуживания».

Киселёв ссылался на то, что в то время не получал от ОГПУ никакой платы и прилагал справку от Василия Васильевича Смирнова (бывшего консула СССР в г. Маньчжурия, а на 1938г. работавшего членом правления ВОКСа – Всесоюзного общества культурных связей с заграницей). Смирнов выписал ему такую вот справку специально для «представления органам НКВД»: дескать, в 1923-1934гг. Киселёв «благодаря своему положению и связям с китайскими властями» добился выдачи Шипицына возле Гродеково, «а часть белобандитов при помощи т. Киселёва попала в руки органов ОГПУ другими способами».¹⁶

Что касается упоминавшейся выше газеты «Русский голос», то в ней 1 апреля 1924г. была помещена заметка «По проискам Киселёва», где говорилось, что ещё в 1923г. «по проискам Киселёва было арестовано до 60 человек беженцев, обвиненных Киселёвым в том, что будто бы они устраивают вооружённые нападения на Приморье и грабят жителей. Тогда удалось убедить в ложности доносов Киселёва и арестованные сильно не пострадали».

А в марте 1924г., информировала газета, по инициативе советского представителя властями был арестован Шипицин («по слухам, контрабандист») и проведены облавы и обыски в нескольких домах Пограничной.

Отметим, что значительная часть русского населения Маньчжурии добровольно в первой половине 1920-х гг. возвратилась в Советскую Россию. Киселёв сохранил благодарственное письмо 78 репатриантов, выехавших с его помощью в конце 1924г. в Читу и встретивших на родине, как они выразились, самое «братское отношение».

Немало времени у консула уходило на решение вопросов, связанных с функционированием КВЖД. Китайские власти проводили политику вытеснения СССР из Маньчжурии и постоянно пытались захватить руководство прибыльной железной дорогой. В 1925г. Киселёв выступал в русской харбинской газете «Трибуна» с обвинениями китайских коммерсантов в неправомерных односторонних действиях, спровоцированных японскими агентами и китайскими генералами.

Работа Киселёва оценивалась высоко, причём не только в Разведупре и ОГПУ. О том, что кадровый работник разведуправления Киселёв считался большим знатоком китайских дел не в одних лишь спецслужбах, говорит тот факт, что нарком иностранных дел Г.В. Чичерин собирался послать с Киселёвым письмо Сунь-Ятсену и даже дал поручение консулу набросать проект этого послания.

Консул в Японии

В 1925г. после вывода императорских войск из северной части Сахалина Япония и СССР заключили мирный договор и в мае обменялись послами. Военная разведка получила возможность создавать свои резидентуры под крышей посольства и консульств. И Дмитрий Дмитриевич получил новое ответственное назначение. Официальный документ о назначении Киселёва генконсулом был подписан заместителем наркома по иностранным делам Л.М. Караханом загодя, ещё 30 мая 1925г. Осенью этого года консул прибыл в Японию. В 1925-1930гг. резидент Разведупра Киселёв работал консулом в портовых японских городах

Цуруга (до 1928) и Хакодате, что на острове Хоккайдо (с 29 июля 1928г. по май 1930г.). В это время его семья значительно прирастает: в Цуруге на свет в 1925г. появляется Екатерина, а пятью годами позднее 47-летняя Е.А. Киселёва отважно рождает сына Дмитрия. Дети от первого брака тоже находились недалеко от отца: известно, что в 1928г. в Цуругу приезжал сын Киселёва Пётр, в то время студент восточного факультета Дальневосточного университета во Владивостоке, а в консульстве в Хакодате работала дочь Александра.

Документов этого периода в личном архиве разведчика не очень много. Есть, к примеру, подробная справка о хищническом лове японцами крабов в советских водах, а также докладная записка о долгой и нудной склоке с заведующим Хакодатским отделением торгпредства Хлыновским, спровоцированной третьим лицом... По заданию полпреда А. Трояновского Киселёв подготовил обстоятельный доклад о промысле в дальневосточных водах белух – крупных дельфинов, из которых добывался ценный жир. Консул считал промысел белух очень перспективным делом для советского экспорта.

Сохранилась и инструкция (почему-то с грифом секретности) для консулов «о соблюдении правил принятого в буржуазном обществе этикета... ввиду того значения, которое придаётся в буржуазном обществе внешним условиям». Вот характерная выдержка из инструкции: «Должна быть ясно выражена тенденция, что, подчиняясь в известных случаях этикету, мы не придаём никакого значения всем этим церемониям и стараемся их упростить». Согласно инструкции, главным правилом для советского этикета должна была стать «безукоризненная аккуратность в соблюдении времени», «безусловная скромность в костюме, обстановке» и «чтобы скромно составленное меню было приготовлено так, чтобы его можно было есть».

Сберёг Киселёв и свои стихи: как шуточные о коллегах (неплохие), так и посвящённые стране пребывания (очень риторические и шаблонные). Последние были переведены на японский и, насколько можно судить, предназначались для публикации в местных газетах. Вот первые строфы двух из них:

Сакура

*Прекрасная Сакура пышно цветёт,
Как будто невеста на праздник идёт.
Прекрасна как женщина в брачной красе,
Как солнечный луч на прозрачной росе!*
(...)

Хакодате

*Ярко блещет фонарями
Ночью порта силуэт.
Хакодате вдаль огнями
Шлёт на море всем привет!*
(...)1929г.

Киселёв немало времени уделял своим консульским обязанностям. В те годы грузопассажирская линия Владивосток – Цуруга являлась наиболее коротким путём из Советского Союза в Японию. Однако наличие в городе некоторых дореволюционных российских чиновников вызвало серьёзные осложнения в советско-японском морском сообщении. Так, бывший главным агентом морского пароходства «Доброфлот» Н.Ф. Фёдоров не согласился с упразднением своей должности советскими властями и, ещё до приезда Киселёва, ссылаясь на указания парижского правления «Доброфлота», занялся распродажей российских грузопассажирских судов, оказавшихся в порту Цуруга. Владивостокское правление «Доброфлота», которому принадлежали эти суда, не смогло помешать Фёдорову. Киселёв возбудил судебное дело о возвращении этих пароходов их законному владельцу и, хоть и не сразу, добился успеха. К весне 1926г. все российские суда, находившиеся в Цуруге, были возвращены во Владивосток.

Находясь в Хакодате, одном из рыболовных центров Японии, Киселёв уделял большое внимание ознакомлению с японским рыболовством, особенно в Охотском море, где японские промышленники имели много рыболовных участков, арендованных у Советского Союза. Киселев завязал неплохие отношения с местными рыбопромышленными кругами.

По поручению советского торгпредства генконсул оказал ценное содействие в покупке подходящего судна под крабовозавод. Поскольку в те годы во Владивостоке не было специалистов по обработке и консервированию крабов, приходилось нанимать японских специалистов и рабочих, которым Киселёв оформлял визы. Вскоре рядом с «Первым краболовом» появился второй плавучий крабоконсервный завод – «Камчатка». Советские крабовые консервы охотно покупали в США, что приносило неплохую валютную прибыль – так, каждый ящик с базировавшихся в Хакодате наших крабоконсервных заводов обходился государству на 700 рублей дешевле, чем такой же с отечественных береговых заводов.

Во время пребывания в Цуруге Киселёв не предпринимал каких-то заметных имиджевых акций. Но в 1928г. в японской прессе появился подробный материал о Киселёве, где тот весьма кстати вспомнил о своём «японском» происхождении. 12 июля 1928г. газета «Токио нити симбун» напечатала статью о только что назначенном советским консулом в Хакодате Д.Д. Киселеве, в которой тот заявил, что является правнуком обрусевшего японца Киселева:

«Судьбе было угодно распорядиться таким образом, что русский человек Киселёв, являющийся правнуком некоего японца, оказавшегося более чем сто лет тому назад в России, назначен консулом на родину своего предка в Хакодате.

Напомним, что в то далекое время, 116 лет назад, в 9-й год Бунка (1813), были отпущены на родину командир русского шлюпа «Диана» Головнин и его товарищи, которые были задержаны японскими властями во время обследования Южно-Курильских островов и содержались в заключении в Хакодате. Тогда переводчиком у Головнина был японец, который вместе с ним уехал в Петроград. Нужно иметь в виду, что в тот период Япония ощущала угрозу для себя со всех сторон, в том числе и с севера, где отношения с Россией были в критическом состоянии. Показателем существовавшей напряженности стал захват русским судном японца Кахэй Такадая в 9-м году Бунка (1813).

В этой напряженной обстановке молодой японец чувствовал себя не совсем уверенно. Но русские, напротив, отнеслись к нему

приветливо. Они поддержали его так, как обычно помогают подбитой птице. Граф Киселев, министр народного образования в то время, согласился стать его восприимчивым отцом во время крещения, дал японцу свою фамилию и сосватал в жёны русскую женщину. Впоследствии японец Киселев вместе с семьёй перебрался в Сибирь и стал жить в приграничном городе Троицкосавске.

Поэтому приезд г-на Киселева в качестве консула в Хакодате представляется мистическим в том плане, что последний через 116 лет приехал на родину своего предка.

Прибыв вечером 12 июля в Хакодате, г-н Киселев сделал следующее заявление:

С детства мне рассказывали, что мой предок был родом из Хакодате. Поэтому я мечтал побывать в удивительной стране Японии и посетить Хакодате. Помню, у меня была книга о Японии того времени, когда мой предок оказался в России, а Рикорд захватил Кахэй Такадая. Эту книгу в детстве часто читал мне отец, а, став взрослым, я перечитывал её сам. К сожалению, книга, как и многое другое, пропала у нас во время революции.

Мы совершенно не представляем, каково было японское имя прадеда, слышали только, что он родился в Хакодате. Но в нашей родословной мой старший двоюродный брат, являвшийся врачом, и моя младшая двоюродная сестра были внешне очень похожи на японцев. Приехав в Хакодате, я собираюсь познакомиться с историей города того времени, постараюсь обязательно разузнать о своих предках и разыскать родственников, если они живы».

Вне сомнения, Киселёв как мог «пиарил» себя, надеясь с помощью мифических предков найти контакт с закрытыми для иностранцев жителями страны Восходящего Солнца. Поверить в то, что его родственники были похожи на японцев, а предок происходил именно из Хакодате, чрезвычайно затруднительно. Дмитрий Дмитриевич и в 1950-х гг. не знал, откуда происходил японец Киселёв. Однако современные японские исследователи склоняются к мысли, что японские предки у Киселёва могли быть. Так, в 2003г. К. Тэраяма опубликовал в журнале «Мадо» (№9) статью о Киселеве, ставшую результатом его совместной с профессором С. Хиракавой поездки в Новосибирск и Иркутск для поиска материалов о Киселёве и встреч с его родными.

Тэраяма пишет в своей статье: «До отъезда в Россию автора статьи обуревали сомнения относительно того, а не распространял ли Киселёв о себе ложную информацию, утверждая, что его предок был японцем, чтобы облегчить свою работу по сбору военной информации в Японии и чтобы создать себе привлекательный имидж среди японцев. Однако, приехав в Россию, я убедился, что он рассказывал о своих японских корнях и собственным внукам. Поэтому его заявления в Японии вряд ли носили характер камуфляжа. (...) Первое, что приходит на ум, это то, что семья Киселёвых действительно имела предком японца, который остался в России. Эта семья усыновила Д.Д. Николаева, чтобы продолжить свой род и свою японскую линию. И её новый член Д.Д. Киселёв поведал её историю последующим поколениям, хотя и не был связан с указанной семьёй кровным родством. Но, с другой стороны, нельзя исключать и возможность того, что отец или мать Д.Д. Николаева имели родственников из семьи Киселёвых, а через них – и связь с японским предком».

Но представляется, что автор напрасно берёт на веру все заявления профессионального разведчика, прибывшего в Японию с подготовленной «легендой». А то, что внуки вспоминают, как Киселёв им рассказывал о японских предках, так это, возможно, старческие сказки Киселёва, самого поверившего в свои давние профессиональные выдумки. Известно, что ложные факты, которые человеком повторяются в течение многих лет, со временем в его сознании нередко приобретают статус действительно имевших место событий. Рассуждения о возможном родстве Николаевых и Киселёвых ничем не подкреплены (идея Тэраямы о желании Киселёвых продолжить японскую линию рода путём усыновления выглядит очень уж по-японски). Логичнее исходить из того, что киселёвская биография была инструментом карьеры нашего героя и строилась из прагматических соображений. Неизвестно, помогла ли красивая легенда работе резидента. Но это вполне возможно.

Сохранившиеся документы говорят исключительно об официальной деятельности Киселёва. Но одна маленькая бумажка свидетельствует о том, что, работая в Японии, он по-прежнему

сотрудничал с чекистами и получал от них выдержки из пере- хваченных писем русских эмигрантов. Так, из письма (види- мо, мужу) жительницы Чикаго Ольги Лисовой, отправленного в Японию, были выписаны следующие малозначительные фрагменты: «Действительно ли в России не хватает хлеба или только так пишут...» и «Теперь ты можешь писать всё свобод- но, раз ты за границей, и не бояться цензуры...».

Легальных помощников у Киселёва был минимум. Так, штат генконсульства в Цуруге состоял из четырёх человек: консула, секретаря, переводчика и машинистки-делопроиз- водителя. Секретарем Киселёва был тогда прибывший из консульства в Нагасаки молодой военный разведчик А.Б. Асков, хорошо знавший японский и английский языки. Прав- да, уже в мае 1926г. Асков был переведён в г. Кобе. Вряд ли штат советского консульства в Хакодате сильно отличался от того, что был в Цуруге. Точно так же там были под рукой Киселёва и квалифицированные помощники. Известно, что в аппарате консульства в Хакодате до 1929г. работал знав- ший японский, английский и французский языки сотрудник Разведупра Н.Д. Лухманов, выпускник восточного Отде- ления Военной академии РККА. Вероятно, именно этот моло- дой человек выполнял самые ответственные поручения со- ветского резидента.

Д.Д. Киселёву в Японии пришлось нелегко: воспомина- ния наших разведчиков говорят о чрезвычайной сложности работы среди японского населения, послушно доносившего властям обо всех иностранцах, и плотной опеке контрраз- ведки, чьи агенты обычно открыто и нагло сопровождали советских дипломатов везде, где бы те ни появлялись. Учи- тывая, что Киселёв не знал японского, а только немного го- ворил по-английски, он, скорее всего, занимался вербовкой агентов среди русских белоэмигрантов.

Следует учитывать и кадровую чехарду среди основных работников Разведупра в Стране Восходящего Солнца, по- скольку в период 1925-1929гг. должность военного атташе за- нимали целых четыре военачальника: К.Ю. Янель, С.М. Се- рышев, В.К. Путьна и В.М. Примаков. Такое обстоятельство

вряд ли способствовало эффективной постановке разведыва- тельной работы. Впрочем, помощником военных атташе в 1926-1930гг. неизменно был знавший японский язык В.В. Смагин. В 1927г. в аппарате Разведупра отмечалось: «Необ- ходимо освещение во всех деталях вооружённых сил Японии, которая в силу политических и иных условий до сих пор ох- ватывалась нашим агентурным аппаратом в недостаточной мере, но которая представляет огромный интерес как страна, имеющая первоклассные сухопутные, морские и воздушные силы». ¹⁷ Увы, но основные сведения о работе консула Кисе- лёва будут рассекречены не скоро – наша военная разведка традиционно очень скупа на подробности былой работы.

Разведчик и доносчики

17 мая 1930г. Киселёв выезжает из Хакодате в Москву и шесть последующих лет работает в аппарате РУ РККА воль- нонаёмным сотрудником. О содержании его работы сведений не обнародовано, но очевидно, что особенной карьеры быв- шему резиденту сделать не удалось. 4 февраля 1936г. он на- значается помощником начальника регистрационного (архи- вного) отделения Разведупра. 23 марта того же года Киселёв получает военно-политическое звание полкового комиссара. Довольно скромная работа в регистратуре стала последней его должностью в системе военной разведки. Самые кошмар- ные осенние месяцы 1937г. 58-летний разведчик проводит на отдыхе и лечении в Сочи. Топор репрессий загадочным обра- зом пощадил принципиального партийца. Мало того, в фев- рале 1938-го замначальника Разведупра С.Г. Гендин представил Киселёва вместе с другими разведчиками к награжде- нию юбилейной медалью «XX лет РККА»: хотя в действую- щей армии Киселёв служил только при царе и Колчаке, да и то считанные недели, многолетняя служба в разведке могла ему и немалое воинское звание, и пусть невысокую, но на- граду. ¹⁸

О тогдашней обстановке в разведке наглядно свидетельству- ет киселёвское письмо от 28 января 1939г. в парткомиссию Разведуправления, где тот в очередной раз пытался раскрыть

истинное лицо видного доносчика – начальника отдела кадров РУ И.Ф. Тулякова, придравшегося к факту изъятия из одного архивного дела неких «троцкистских документов». Защищая оклеветанных им разведчиков, Киселёв при этом не забывал упираться на тот факт, что Туляков – ставленник арестованного к тому времени начальника Разведупра С.П. Урицкого:

«...Выглядеть бдительным» Тулякову крайне необходимо, ведь только для врага народа Урицкого его быв. сослуживец Туляков (человек недостаточно грамотный и ограниченный) мог быть ценной находкой в качестве начальника кадров советской разведки! Вот Туляков и лезет из кожи вон, чтобы «выглядеть бдительным».

Нужно Тулякову дать официальную справку органам власти по делу арестованного Л., в анкете которого значится: «имел много знакомых за границей среди работников сов. учреждений». Туляков официально доносит: «Л. [Н.Д. Лухманов? – А.Т.] работал в Японии, имел много знакомых за границей». В этой официальной справке Туляков пропустил только маленький кусочек фразы: «среди работников советских учреждений», но как от этого пустяка – пропуска нескольких слов – резко изменился весь смысл фразы. Но ведь Л. арестован, а Туляков во что бы то ни стало хочет «выглядеть бдительным». Вот почему Туляков и здесь «наводит тень».

(...) На одном из выборных партсобраний Туляков выступил с отводом против активного участника революции и гражданской войны полковника Кузюбердина. Туляков заявил, что Кузюбердин когда-то был казачьим офицером, а казаки поролы рабочих, следовательно, и Кузюбердин мог пороть рабочих.

Хотя этот аргумент Тулякова выглядел убогим и жалким силлогизмом... но Туляков в наших условиях своего всё-таки добился: посеяв политическое недоверие в отношении Кузюбердина, кандидатура которого была тут же снята и которого затем стала прорабатывать парторганизация...»¹⁹

Поскольку Киселёв работал как раз в регистрационном отделе военной разведки, то вопросы, связанные с предписанными изъятиями «вражеских» документов, относились к его

ведению. Полковой комиссар Туляков всё же смог подкопаться под полкового комиссара Киселёва – одного из старейших работников Разведупра. Скорым ответом на процитированное выше письмо ветерана разведки стало его увольнение 19 февраля 1939г., поскольку Киселёв имел «близкое знакомство с ныне арестованными врагами народа: Ангарским, Похвалинским, Генесиним, Ходоровым», а также давал рекомендацию в партию «арестованной органами НКВД Феррари». Но эти обвинения запоздали и не стали роковыми для полкового комиссара. Возможно, арестованные знакомые просто не дали компрометирующих показаний против Киселёва. Вскоре формулировку увольнения подсластили, отправив 28 мая 1939г. ветерана разведки в отставку вполне почётно, по выслуге лет.²⁰

Киселёв становится пенсионером союзного значения. Наград у него, правда, для персонального пенсионера высшего уровня немного: маузер с надписью на золотой дощечке, портсигар от полпредства ОГПУ по Дальневосточному военному округу (1924г.), грамота от союзного ОГПУ да благодарность в приказе от РУ РККА. Темперамент его по-прежнему бурлит, и перед самой войной он даже ведёт судебную тяжбу с одной скандальной соседкой по дачному обществу, которая его отдубасила и порвала рубашку за то, что Киселёв помешал ей соорудить незаконно возводимое строение...

«Разоблачение идеалистических антинаучных утверждений...»

После начала войны Киселёв был эвакуирован в Новосибирск, где прожил последние двадцать лет своей жизни. Местные власти выделили пенсионеру целый дом в Дзержинском районе, на окраине, новосибирский художник написал его портрет... Киселёв оставался заметной фигурой, но уже сугубо местного масштаба. Он комиссар районного всеобщего училища, сторож угольного склада на авиазаводе №153 им. В. Чакалова, общественный уполномоченный по пожарной охране (в 74 года!), депутат Дзержинского райсовета, делегат городской партконференции. В период войны выступал перед

красноармейцами с патриотическими лекциями. Исправно получал разные почётные грамоты «за активное участие в организации санитарного просвещения» и т.п. После войны опять-таки выступал с лекциями. Как депутат райсовета не раз помогал нуждавшимся людям, чьи права ущемляли местные бюрократы. В столицу же вернуться так и не смог – вероятно, его московская квартира досталась более нужному человеку, нежели отставной полковой комиссар.

От чтения киселёвского литературного наследия остаётся довольно тягостное впечатление. При изучении написанных им документов хорошо видно, что именно советский канцелярит был подлинным языком и стилем мышления бывшего учителя русского языка. Вот цитата из черновика его письма сценаристу агитфильма «Друг с Сунгари» тов. Амурскому, относящегося примерно к 1931г.: «Вашего героя китайца Чан-Лу «обрабатывают в концентрационном лагере». К чему это? Разве это типично для нашей работы по интернациональному воспитанию восточников? (...) Это убого и жалко и к тому же... мало правдоподобно, а потому политически и художественно невыдержанно... у Вас недостаточно чёткости и в вопросе о том, как наши партия, соввласть и советская общественность ведут борьбу за ленинскую линию в интернациональном вопросе».

Сталинским долбящим стилем писал он советы и жалобы, аналогичным образом сочинял и «труды» в области грамматики. Выйдя на пенсию, Киселёв в середине 1940-х гг. написал большую статью относительно роли членов предложения, обрушившись на привычные толкования в учебниках и ругаясь на тех, кто считает, что предложение может состоять из одного-единственного слова. Был ли он в своём уме? Вероятно, да. Просто энергичному Киселёву было тошно от пенсионного досуга. Томясь от бездействия, бывший учитель и консул возомнил себя очень большим учёным. Даже гениальным, о чём и писал наверх без ложной скромности. Чтобы его изыскания в области русского языка были восприняты со всей серьёзностью, Дмитрий Дмитриевич обзавёлся льстивым отзывом о своей работе со стороны районного партийного начальства.

Но в Академии наук СССР на авторитет Дзержинского райкома ВКП(б) не посмотрели, а откровения почётного партизана приняли очень кисло. Обижаясь на статью, в которой наш пенсионер, употребляя весьма сильные выражения, громил знаменитых академиков Виноградова, Мещанинова и Щербу за крайнюю их «малограмотность», профессор Г.П. Сердюченко из Академии наук, которому выпал жребий реагировать на инициативу местного теоретика-самоучки, вежливо, но непреклонно указал пожилому дилетанту на его глупость. В феврале 1947г. Сердюченко в своём ответе написал: «Научное открытие тов. Киселёва старо как мир. Давным-давно, ещё со времён древней Греции была установлена связь языка с мышлением, связь слов в предложении... «Научный доклад» тов. Киселёва обнаруживает полную неподготовленность тов. Киселёва для решения каких бы то ни было языковедческих вопросов. Неправильно делает Дзержинский Райком ВКП(б) гор. Новосибирска... считая, что тов. Киселёв чуть ли не впервые устанавливает партийность науки о языке».

Статья Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» подстегнула усилия Киселёва опрокинуть русскую грамматику. Он снова взялся за перо. Вот пример суконных мыслей персонального пенсионера: «...Наши лингвисты путают несогласуемое определение с дополнением, а затем выдают определение за дополнение, что свидетельствует о крайнем убожестве их мировоззрения в лингвистике... отрывают мышление от языка, в результате чего... попадают в болото идеализма, где они и пребывают, не понимая того, что язык неразрывно связан с мышлением и что, следовательно, отрыв мышления от языка является самым тяжким преступлением в лингвистике, о чём и говорит нам товарищ Сталин в своём бессмертном произведении «Марксизм и вопросы языкознания»... Пребывая в болоте идеализма вместе с академиком Н.Я. Марром, наши лингвисты – академик В.В. Виноградов, академик Л.В. Щерба, профессор С.Г. Бархударов, академик И.И. Мещанинов... – путаники в науке о языке... тащат нашу советскую науку в болото идеализма!»

Однако смерть Сталина подвела черту под спекуляциями на тему партийности языка. Киселёв осознал это далеко не сразу. В ноябре 1953г. он отправил в адрес Хрущёва письмо «О порочной грамматике русского языка, имеющей хождение в школах и вузах нашей страны», где повторял свои обвинения в адрес ведущих советских языковедов. Письмо из аппарата первого секретаря ЦК КПСС переслали в Академию наук, откуда в январе следующего года автору пришёл ответ учёного секретаря Президиума профессора В.П. Сухотина. Тот снова попытался втемашить нашему герою, что и предложение может состоять из одного слова, и чем же отличается определение от дополнения, и т.д. Но Киселёв не унимался, взявшись за «окучивание» местных начальников. Кто-то из доброжелателей весной 1956г. дал положительный отзыв на его труд: «Автор справился с разоблачением идеалистических антинаучных утверждений современных ученых и сумел доказать правильное понимание разбираемых вопросов... Ссылки на решения XIX съезда КПСС, думается, следовало бы заменить ссылками на XX съезд. ...Если в свете высказываний автора разбираемой статьи перестроить учебники русской грамматики, то они будут подлинно научными, доступными и лёгкими для усвоения». Но в итоге Киселёв не стал светилом языкознания даже в Новосибирске.

На этом в деле реформирования грамматики была поставлена точка. Отныне Киселёву оставалось только писать мемуары, но на подробное жизнеописание он не отважился, ограничившись воспоминаниями о встрече с Лениным. Крайне амбициозный, он сильно страдал из-за того, что самые интересные события в его судьбе связаны с большими государственными секретами и при жизни не смогут быть обнародованы и оценены. Возможно, это чувство и заставляло Киселёва лезть в иные области, где он не был знатком. До самой смерти он пытался ухватить законно причитающееся внимание, причём и в сугубо материалистическом плане.

Постоянно требуя себе положенных и неположенных благ, Киселёв без устали выпрашивал дополнительные

деньги. Новосибирский обком КПСС в январе 1953г. выслал в Совмин СССР характеристику на Киселёва с ходатайством об увеличении его пенсии до размера зарплаты перед отставкой – то есть до очень внушительных по тем временам 1.600 руб. В 1960г. он получил отказ от новосибирского облисполкома в ходатайстве перед правительством об увеличении персональной пенсии – «как материально обеспеченный».²¹

Здоровье Киселёва в последние годы жизни было неважным из-за развившейся эмфиземы, и он не рисковал покидать Новосибирск. В середине 1950-х гг. Дмитрий Дмитриевич немного переписывался со вдовой своего расстрелянного в годы террора наставника М.А. Трилиссера, а также с ветеранами революционного движения на Дальнем Востоке. Киселёв до конца жизни ощущал жажду быть востребованным и постоянно выступал то в техническом училище, то в рабочем женском общежитии с воспоминаниями о той единственной незабываемой встрече с Ильичом, рассказами о гражданской войне и легендарном партизане С. Лазо.

Судя по письмам и другим документам, никаких сомнений в своем бурном жизненном пути он не испытывал, оставаясь всё тем же ортодоксом, что и при Сталине. Интересовался он прежде всего собой, считая собственную персону заслуживающей признания потомков. За отсутствием должного количества поклонников Киселёв в соответствующем духе воспитывал детей. Дочери Кате он подарил в 1938-м репродукцию картины со своим портретом, указав на обороте, что она хранится в Третьяковской галерее, а в 1960-м другой дочери в первых же строках написал, что в апрельских «Сибирских огнях» только что появились его воспоминания о беседе с Лениным.²²

Но поправить устные мемуары применительно к новым временам Киселёв не забывал. Беседа с журналистами, про роль Ульриха в изготовлении паспорта он уже не рассказывал, утверждая, что сделал нужный документ сам. Основная часть сохранённых бумаг, фотоснимков и газет была сдана Киселёвым в облгосархив, знаменитый наградной маузер валялся под кроватью и с ним играла ребятня...

Престарелый революционный ветеран не лучшим образом чувствовал себя дома, где было довольно шумно из-за обилия родни. Склочный характер Киселёва сносили не только его домашние, но и соседи. Домработница Киселёвых вспоминала, как именитый персональный пенсионер, заходя в магазин, сразу лез без очереди к продавцу, а возмущённым покупателям кричал, цепляясь за трость и тряся бородой, что он депутат, партизан и член, что имеет право: «Пошли вон, дураки!» Власти на стариковские «закидоны» закрывали глаза, но после смерти долгожителя 27 июня 1962г. о скандальном ветеране постарались поскорее забыть.²³ Газета «Вечерний Новосибирск» в маленьком стандартном объявлении от имени Дзержинского райкома КПСС и райисполкома скупно сообщила о смерти члена КПСС с 1918г. Д. Д. Киселёва и о том, что похороны состоятся 29 июня. О каких-либо заслугах Киселёва не сообщалось. Областная «Советская Сибирь» смерть почётного гражданина Новосибирска вообще проигнорировала.

Тяжело болевшая атеросклерозом сердечных и мозговых артерий Екатерина Алексеевна была помещена в дом престарелых, где, надо полагать, тихо умерла. Жившая в Иркутске дочь сдала оставшиеся бумаги отца на государственное хранение. Некоторое время спустя имя Киселёва получила улица в г. Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Постепенно о Киселёве стали писать, но его богатый личный архив местными краеведами использовался слабо: вплоть до последнего времени консул-резидент так и оставался отважным курьером ЦК да преданным собеседником Ильича. А известный труд С.Е. Кипниса об истории некрополя Новодевичьего монастыря (к сожалению, пестрящий неточностями) вообще говорит, что Киселёв родился в 1897 году, а умер в 1971-м.²⁴ Каким образом на Новодевичье привезли урну с прахом и почему так сильно напутали с датами, неясно. Возможно, о перезахоронении отца позаботился видный дипломат-американец Киселёв. Успокоившийся в колумбарии престижнейшего столичного кладбища, старый разведчик и чекист не может без секретов, даже посмертных...

Михаил Шмулёв
ВОСПОМИНАНИЯ О КАРЛАГЕ
(Продолжение.
Начало см. «ГС» №4)



Из первых впечатлений о пересылке...

В то время, вернее, ещё раньше был принят закон о судебной ответственности с 12 лет. Дети, но уже полностью погруженные в криминальное состояние, а порой используемые взрослыми в разбойных бандах с убийствами, были наравне со всеми в таких пересылках. Оттуда их направляли в специальные детские колонии, а иногда и со строгим режимом, если они получали срок. Тут у них своё «кодло». Ходит такой «змеёныш» между нарами и выискивает что-то, а, найдя, пытается забрать: сумку, бушлат или ботинки. Естественно, его отпихивают, а то и дадут подзатыльник. А, оказывается, это ему и надо. Он возвращается к своим и жалуется, что его ударили. Верзила, а то и два-три подходят к нему и начинается разборка – почему обидели ребёнка? Откуда-то появляется большая и толстая палка – дрын – и на потеху и страх другим «виновного» избивают, да так, что он может стать калеккой на всю жизнь. С полного размаха бьют по телу, голове, куда попало. Отбирают всё, что им захочется, и удаляются, довольные собой, в свой угол, где человек десять урок ждут в ожидании дележа награбленного.

Основная тюрьма в Караганде – №17, это большой каменный улей. Улей потому, что внутри днём постоянный приглушенный гул. Во всяком случае, такой она мне показалась.

Первый урок. Пока надзиратель открывал камеру, чтобы впустить нас, я, стоявший около тюремного глазка соседней камеры, возьми да и загляни туда. И вдруг – сильнейший удар в моё правое плечо. Я вскрикнул и оглянулся. Около меня стоял второй надзиратель и ухмылялся, это он своим большим ключом ударил меня – дескать, зачем открываю задвижку, да ещё заглядываю в глазок.

Через несколько дней, если заключённый заявит, что не будет писать кассационную жалобу, его отправляют в отделение Карлага. Если кто-то подал жалобу, то он должен тут в этой тюрьме ожидать ответа, решения своей судьбы. Я не писал кассацию и вскоре был отправлен этапом в Бидаикское отделение Карлага, которое находилось около станции Жана-Арка. Ещё в тюрьме г. Балхаша я писал жалобы в разные судебные инстанции, пока не понял, что все они оставались в канцелярии тюрьмы и ими топили печку.

В «подконвойной» зоне прошли 6 месяцев адаптации к лагерю. «Зона» – это колючая проволока в три-четыре ряда, вышки, будки для собак. Внутри несколько бараков с двухэтажными нарами, без постелей – она должна быть привезена или передана родными. Хозблок, каптёрка, бочки с водой и уборная. В хозблок входила и кухня. Вот и всё оборудование и сооружения зоны.

«Власть» периодически менялась в зависимости от этапов. Если больше воров – они захватывали власть, но иногда она переходила и в руки «сук». Такая власть и борьба за неё – не шуточное дело. Бой шёл на смерть, с убитыми и покалеченными. А потом – следствие, штрафные изоляторы, внутренние суды с непременным добавлением нового срока. А иногда кто-то из этих очумлённых приверженностью к своему клану, вынужден был бросаться на проволоку, зная, что конвойный будет стрелять – может, убьёт, может, ранит и тем вызовет шум и приезд начальства. Для таких внутренне обречённых людей иного выхода зачастую просто не было.

В немецких шталагах, – то есть лагерях для военнопленных, а они отличались от концентрационных, – с подобным произволом я раньше не встречался. В советских лагерях – всё по другому. Не зря же Сталин заявил: «Пусть преступный мир уничтожит сам себя». И уничтожали, да так, что, как рассказывали, в Джезказгане сразу по 20-30 человек бывало убитыми. Были бы преступники, а то ведь известно, как судили и за что. За вынесенные 5 кг картошки с поля, за аварию с человеческими жертвами. И всем срок – 10 лет. Но они же не закоренелые рецидивисты! Они просто люди, у которых случилось несчастье.

Дикие нравы, жестокие, бесчеловечные законы. Питание – почти как в том штрафном бараке у немцев в плену, хлеба только 800 грамм. Если бы не было передач с воли – заключённые обрекались на полуголодное существование. Правда, это в «подконвойке».

В отделении – много расконвоированных, их использовали в животноводстве, на огородных и иных работах. Они питались лучше, производство им выделяло ячменную крупу, муку, овощи, которыми кормили только их и скотину. В общем, расконвоированные жили приличнее, потому что было доппитание.

В «подконвойке» – более строгий режим, чем в общей зоне. Предмет особого внимания – женские бараки. Они, естественно, отдалены и сообщение с ними затруднено. Но жизнь есть жизнь, а человек так устроен, что сумеет различными путями соединиться, сочетаться, совокупиться – мужчина с женщиной.

В общей зоне было больше порядка, на нарах постель – матрачные наволочки, набитые соломой. Каждое отделение имело несколько участков, иногда – 10, а то и 15, были и штрафные женские, где больше всего подконвойных.

В сельхозлагерях мужчин и женщин почти поровну. Сожительство неизбежно, как неизбежны последствия – дети. Дома младенцев, беременные мамочки. На штрафных женских командировках процветало лесбиянство, а вот в мужских тогда не было распространено то, что называют гомосексуализмом, – так, отдельные случаи. Мужчина ведь может удовлетворить сексуальные потребности мастурбацией. Но если в таких зонах полуголодное существование, то не до секса.

Впрочем, сожительство, – о котором начальство, конечно, знало, – это для привилегированных зеков, так называемых «придурков», занимающих какие-либо лагерные должности, таких – очень много.

Лагеря имели достаточно сложное хозяйство, заключённые работали поварами, агрономами, врачами, ветеринарами, заведующими складами и продавцами в каптерках, где можно

купить продукты питания, мыло, мелкие промтовары. Во главе отделения стоял начальник в звании от старшего лейтенанта до майора. Взводом командовал офицер, а на участках – младший командир. Иерархия весьма сложная: начальник отделения, командир взвода, оперуполномоченный, начальник надзорной службы, КВЧ (культурно-воспитательная часть)... Судьба заключенного, его выход из зоны для расконвоирования решалась согласованием всех этих служб.

Внутри зоны и вне её – так называемые «внутренники» из заключённых. Оружие им не полагалось, но они несли караульную службу. Я уже отмечал, что после войны войска Министерства внутренних дел, её конвойные части комплектовались путём тщательного отбора, как бы на контрактной основе. И мало там встречалось добрых, хороших людей. Это те, кто не прижился на гражданке, кто получил воинское звание не вполне по знанию, именно такие и шли в надзиратели, воспитатели, смотрители тюрем и лагерей. Они злы, порой жестоки, несправедливы к заключённым, пользовались даровым трудом расконвоированных, которых эксплуатировали в личных целях за кусок хлеба, шмат сала или литр молока.

Человек таков, что пока он на воле, других попавших в беду считает ниже себя и обычно говорит: «Нет дыма без огня, всё равно в чём-то эти люди виновны». Пусть зек раньше кем и чем угодно был, даже министром, но, попав на общие нары, он уже как бы и не человек.

Заключённые в таком лагере – как слепок с нашего общества в целом, его проекция. Тут встретишь добрых и злых, умных и полумумных, благочестивых, набожных и тех, кто уже давно забыл о порядочности, достоинстве, нормах морали. Состав зеков определялся ещё и временем. 1928-1933гг. – компания по раскулачиванию: крепкие зажиточные мужики, богобоязненные, порядочные. Люди, пострадавшие за веру, остатки белой гвардии, эмигранты, сразу после возвращения угодившие в лагерь. А вот 1937-1939гг. – это политические, но и они разные. С одной стороны – простые смертные, рабочий люд, но не сдержанные на язык, пострадавшие по 58 статье

«из-за болтовни». С другой – интеллигенция, бывшая партноменклатура, члены «оппозиций» – правой или левой.

В Карлаге побывало множество известных деятелей литературы, искусства, музыки, эстрады. У каждого своя судьба. Одни выжили, приспособились, участвовали в различных самодеятельных кружках, администрация их активно поощряла, приобщала к «воспитанию или перевоспитанию», другие поникли, растворились, исчезли. «Перевоспитанием» занималось специальное управление КВЧ – культурно-воспитательная часть. В основе их работы – самодеятельность и кино. Ведь ещё Ленин сказал: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». Крутили ленты, проверенные наверху, а не что попало.

А в штрафных или со строгим режимом зонах было своё: песни под гитару, анекдоты и самое главное – «романы». Среди зеков встречались великолепные рассказчики, чуть ли не дословно передававшие содержание романов Александра Дюма, Жюль Верна, Стендаля. Вся описательная часть, впрочем, выбрасывалась, и часто сюжет на ходу «досочинялся» самим рассказчиком. Таких людей ценили, особенно воровской состав. Им отводили лучшее место на нарах, как-то подкрепляли передачками, а то и не выпускали на работу.

Какой-нибудь старый урка, отбывавший не первый срок, мог владеть таким искусством, рассказывая о случаях из тюремной жизни, побегах, встречах с известными авторитетными ворами. Урка – укороченное от уркагана, видимо, из старого дореволюционного воровского лексикона. Между прочим, себя они очень высоко ставят, и ни во что – «фраеров», то есть тех, кто сидит по бытовой статье.

Если кому-то пришлось отбывать лет так 10, то он волевым выучивал все воровские термины. Этот лексикон, как и всякий диалект, со временем развивается, живёт, что-то отмирает, а что-то новое появляется. То, что я раньше знал, судя по всему – сегодня уже не «в ходу». Притом, что лагерный или тюремный жаргон – как бы пропуск в определённые круги, со своими привилегиями и удобствами. Жаргон – это и «узнаваемость»: кто есть кто? На воле или в лагере «ботать

по фене» считается признаком привилегированного сословия.

С кем только не довелось общаться – с ворами, с «суками», даже с махновцами. У нас тоже была своя жизнь, своё понятие о чести и достоинстве. Выдать, донести, быть стукачом во все времена – позорное дело. Таких людей в лагерях как-то вычисляли и, естественно, презирали. Вот почему в зоне так важно найти хорошего друга, с кем можно было бы поделиться самыми сокровенными мыслями.

«Коммунизм – это советская власть плюс всеобщее доноительство», так острили. И действительно, оно было очень развито. Я-то сначала слишком много говорил и очень даже нелестно отзывался о власти. Пока не узнал, что так называемые «оперы», то есть – оперативный отдел, только тем и занимаются, что насаждают, внедряют «стукачей» – доносчиков...

Начальство стремилось дознаться, чем ээки живут и думают ли о побегах. Да, конечно, – думают, как и я думал в первое время, но что толку от таких дум? Одни расстройства. Побег возможен только в том случае, если есть прикрытие с воли, есть «крыша», есть деньги. А нет – так ничего не получится, только заработаешь дополнительный срок.

В наше время, говорят, у «блатных» есть на воле общие кассы, «общак», откуда берут деньги на такие дела. Прямотаки касса взаимопомощи. Подобная организация была, конечно, и у революционеров-подпольщиков, потому-то они и бегали. Как в той известной песне о Сталине: «Вы восемь раз из ссылки убегали, а я, дурак, ни разу не сумел». В том-то и дело, тогда можно было и восемь раз бегать, а когда ловили, иногда отправляли чуть подальше, вот и всё наказание, никаких дополнительных сроков не давали. Не то, что у коммунистов! Суд, новый срок, лет так на 10, а то и больше. Ленин, Сталин и прочие «революционеры» очень хорошо изучили тюрьму и ссылку в Царской России, всё учли, когда пришли к власти – порядки стали раз в десять жёстче, суровее, беспощаднее!...

Продолжение следует...

К 130-летию «белого» полковника И.Ф. Левашова



Сергей Папков
МЕЖДУ ОКОЛОТОЧНЫМ ПРИСТАВОМ
И ПАРТЯЧЕЙКОЙ:
положение «чуждого человека» в
досоветской и советской России

Архивные документы, с которыми приходится иметь дело исследователю, нередко преподносят удивительные сюрпризы в виде тех или иных «человеческих историй». Некоторые из них оказываются настолько выразительными и неординарными, что могут служить яркой характеристикой той эпохи, которую они затрагивают. Описывая в деталях какое-либо важное событие в судьбе отдельного человека или, чаще всего, частную жизнь самого автора, такие документы позволяют почувствовать живую ткань прошлого, реальную динамику минувшей эпохи с ее неповторимым колоритом и драматизмом.

История, описанная в публикуемых ниже документах, раскрывает сложный жизненный путь одного из российских интеллигентов, полковника Русской армии, инженера-технолога Ивана Филипповича Левашова, – человека, сумевшего «сделать самого себя» в нелегких условиях царского самодержавия, но по этой же причине потерпевшего личный крах в советскую эпоху 30-х годов.

Иван Левашов (Лев Лифшиц – по рождению), как и многие другие интеллигенты его поколения – человек необычной судьбы. Родившись в бедной еврейской семье, ему с раннего возраста пришлось столкнуться с таким уродливым общественным явлением царской России как антисемитизм. Автобиографическое описание, составленное Левашовым для советского прокурора и помещенное в настоящем очерке, повествует о необычных и очень сложных поворотах судьбы еврея-интеллигента, стремящегося отстоять человеческое достоинство и найти применение своим способностям в условиях полицейского государства. Это – очень личный и откровенный документ. Но именно этим он интересен. Следуя за Иваном Левашовым по страницам его жизни, читатель имеет возможность увидеть своеобразный процесс «социальной

История, собственно, не существует, существуют лишь биографии.

Ральф Уолдо Эмерсон

адаптации» конкретного человека, становление личности в обстановке дискриминации.

Родившись евреем в самодержавной России, герой настоящего очерка рано ощутил в своей жизни то, что называется «неравное положение». Но он не оставлял надежды стать полноценным гражданином страны и сделал для этого необычный выбор – в годы своей молодости стал «русским православным человеком». В этом превращении многое выглядит сюрреалистически: полицейский пристав – автор идеи окрестить еврейского юношу – предстает в рассказе Левашова в образе вдохновителя к новой жизни; а незнакомые русские люди из круга то же пристава – столь же участливы – охотно принимают юношу и помогают ему встать на самостоятельный путь. Посторонним и чуждым остается только государство.

Новая религия и новое имя действительно сыграли важную роль для молодого человека, открыв ему дорогу к карьере. Уже как русский он поступает в юнкерское училище и вскоре становится офицером. Его карьера на этом пути складывается вполне успешно: сначала русско-японский фронт, а затем учеба в Интендантской академии и участие в Первой мировой войне способствуют заслуженному продвижению в рядах Русской армии. К 1917г. он становится старшим офицером интендантской службы. Однако то, к чему стремился Левашов в эпоху Империи, вскоре сделалось для него источником несчастий. В годы гражданской войны в чине полковника он оказался в Сибири, в армии адмирала Колчака, на должности окружного интенданта Иркутского военного округа. Высокая должность и чин в Белой армии предопределили драматическое завершение жизненной карьеры офицера. «Из колчаковской армии я сдался в плен в гор. Иркутске в январе 1920г. и два месяца продолжал быть окружным интендантом, – писал бывший полковник в автобиографии. – После двух месяцев я поступил в Народно-Революционную армию добровольцем, был начальником военно-хозяйственного управления этой армии»¹. В марте 1920г., с приходом частей Красной Армии в Иркутск, Левашов впервые подвергся аресту и заключению в концлагерь. Из этого пункта началось его путешествие на запад: один месяц в лагере Иркутска, затем месяц – в Красноярске, и наконец –

неделя в лагере в Москве. «В Москве освободили и назначили на курсы, которые были для быв. белых офицеров, – пишет Левашов, – курсы прослушал приблизительно полтора месяца, после чего был назначен преподавателем Военно-хозяйственной Красной академии, где пробыл около одного месяца и был назначен на польский фронт помощником начальника снабжения Запасной армии Западного фронта». Пока семья оставалась в Иркутске, полковник Левашов продолжал менять места службы по распоряжению новой власти: в ноябре 1920г. с Западного фронта его перебросили на Юго-Западный, затем – в Главкож Украины, а через два месяца – вновь на Юго-Западный на должность наблюдающего секретно-оперативного управления снабжения фронта. Это был последний пункт в его военной карьере.

Дальнейшие места службы Левашова менялись также быстро, как и в годы гражданской войны. Первое время ему пришлось работать в Ташкенте, на посту зам. председателя военно-хозяйственной приемной комиссии. Летом 1921г. он вернулся в Иркутск, к семье, и, пользуясь знакомством с чрезвычайным уполномоченным по снабжению 5 армии Ермаковым (он же – пред. губсовнархоза), устроился на работу в губснаб. Позднее перешел на иркутский кожевенный завод, а в мае 1924г. с разрешения ОГПУ переехал в Вятку. Некоторое время оставался безработным. Затем был инженером кожевенного дела на хромовом заводе в Твери, в Узбекистане; в 1927-1929гг. работал на положении кустаря-кожевника в Ташкенте и инженером в Киргизии, в г. Фрунзе.

Положение бывшего офицера стало серьезно меняться с «наступлением социализма по всему фронту». В 1929г., работая техническим руководителем кожзавода в г. Фрунзе, 51-летний Иван Левашов был лишен избирательных прав как «бывший колчаковский полковник», а затем арестован по обвинению во вредительстве. Советское правосудие протекало неспешно: дожидаясь судебного процесса, полковник просидел месяц в заключении, был выпущен и вновь арестован на 18 дней. В марте 1930г. его осудили судом Киргизской АССР и приговорили к «общественному порицанию» за то, что, «обнаружив порчу кож, своевременно не принял мер к предотвращению их дальнейшей порчи, в результате чего принес убыток заводу в размере 50 руб.»²

С этого периода в послужном списке бывшего офицера появилось еще одно мрачное пятно. Левашов решил, что оставаться в Киргизии больше невозможно и выехал в Москву. Как специалист-технолог он все еще был востребован: в любой части страны квалифицированный «чуждый человек» имел шансы получить достойное место. В мае 1930г. Левашову удалось заключить новый трудовой контракт, на этот раз с дирекцией омского кожзавода им. Рыкова.

В городе Ново-Омске, куда он прибыл для дальнейшей работы, обещанной ему квартиры не оказалось. Но оказалось другое – совершенно новая политическая атмосфера и кампания травли «социально-чуждых людей», развернувшаяся повсеместно в связи с поисками «вредителей социалистического производства». Эта кампания достигла своего пика в ноябре 1930г. в связи с громким процессом по делу «Промпартии», на котором обвиняемыми предстали восемь инженеров и управленцев из «бывших» во главе с Л.К. Рамзиным. В биографии Ивана Левашова уже имелось несколько «пунктов», сильно осложнявших существование в советских условиях – судимость, лишение избирательных прав и «белогвардейское» прошлое. Поэтому к его личности имелось повышенное внимание не только со стороны ОГПУ, но и местной партиячейки. В течение мая-ноября он исполнял свою должность технолога и помощника главного мастера, не имея серьезных претензий по работе (как показывает следствие). Но в ноябре 1930г. в омской газете «Рабочий путь» о нем появилась критическая заметка, а в декабре, через несколько дней после подачи заявления об увольнении Левашов был арестован. К расследованию фактов его «вредительской деятельности» был привлечен большой круг лиц и организаций: коллеги по работе – специалисты завода, администрация, рабочие и, конечно, ОГПУ.

Фабрикуя обвинительное заключение, ОГПУ и судебные следователи старались придать расследованию откровенный политический характер. «Ненужные» факты и свидетели игнорировались. Ряд обвинений представлял собой либо заурядную ложь, либо произвольную оценку разного рода подозрений и производственных событий. Левашова намеренно связали с еще одним «чуждым элементом» – Капитоном Грачевым – бывшим владельцем

небольшого кожевенного завода, потерявшего свою собственность в результате конфискации и теперь работавшего на том же предприятии, что и Левашов. Это случайное соседство двух «социально-чуждых» придавало «делу» весомое значение и могло указывать на действие «организованной группы».

Сидя в тюремной камере, инженер понял, что его положение «бывшего» на этот раз гораздо серьезнее, чем прежде. И он взялся за карандаш, чтобы изложить прокурору историю своей необычной жизни. Так появился первый документ – подробная автобиография Ивана Левашова, в которой автор попытался искренне раскрыть перед обвинителями свое «невысокое», совсем «небуржуазное» происхождение и то унижение, которое пришлось ему испытать по признакам крови. Но эти доводы никак не повлияли на ход следствия: «белогвардейское прошлое» перечеркнуло все остальные «смягчающие обстоятельства».

Публикуемые ниже документы на примере «дела» Левашова и Грачева ярко демонстрируют характер и механизм «советского правосудия» 1930-х годов. Нетрудно обнаружить, что «дело» было возбуждено по признакам вредительства (точнее – «оказание помощи международной буржуазии», ст. 58-4 УК РСФСР), но закончилось осуждением совсем по другой, более «удобной» статье – за «контрреволюционную пропаганду» (ст. 58-10 УК). Судебный процесс продолжался три дня. 23 апреля 1931г. приговором выездной сессии Западносибирского краевого суда Иван Филиппович Левашов был осужден к 8 годам лишения свободы, а его «подельник» – к ссылке «в отдаленные местности» на тот же срок. (См. док-т.)

Искусственный характер этого обвинения, как и самого приговора, оказался очевидным даже для условий начала 1930-х годов. Кассационная коллегия Верховного суда РСФСР своим решением от 10 июня 1931г. отменила приговор. Она признала, что «сами обвиняемые – классово-чуждые» и «были вредны для производства», однако «мерами борьбы с ними должно было явиться не создание уголовного дела, а очистка предприятия от вредных элементов и воспитательная работа среди рабочих». Поэтому приговор следует «отменить и дело производством прекратить за отсутствием в действиях Левашова и Грачева уголовно-преследуемого деяния. Из-под стражи их немедленно освободить».³

К сожалению, мы не располагаем сведениями о дальнейшей судьбе нашего героя. Однако очень трудно себе представить, что бывший полковник Левашов, «лишенец», дважды состоявший под советским судом как «вредитель» и «контрреволюционер», имел серьезные шансы уцелеть и прожить до глубокой старости. Будет большой редкостью свидетельство о том, что жизнь этого человека с необычной судьбой не оборвалась в 1937 году.

**Автобиография
быв. полковника Ивана Филипповича Левашова,
составленная им в следственной камере
г. Ново-Омска 19 декабря 1930 года.**

Прокурору гор. Ново-Омска
от инженера И.Ф. Левашова

Приступая к изложению своей автобиографии, я обращаюсь к Вам, т. Прокурор, с просьбой:

- 1) внимательно прочитать мою автобиографию,
- 2) поверить, что здесь нет ни единого слова лжи и
- 3) я бы хотел, чтобы мою автобиографию читали только

Вы и те лица, которые должны рассмотреть вопрос обо мне и чтобы она не стала достоянием прочих лиц.

Родился я в г. Тифлисе 9/V-1877г. Отец мой был портным, вернее закройщиком и очень хорошим закройщиком и вместе с тем, мне больно это говорить, был пьяница. Как сын, я не стал бы об этом говорить, но его пьянство перевернуло всю мою жизнь, а я здесь ведь излагаю свою автобиографию. Фамилия моего отца Лифшиц, звали его Липа Лейбович, по-русски Филипп Львович. Отец был еврей и Вы, конечно, начинаете догадываться о многом в моей автобиографии.

Отец, как рассказывала моя мать, бросил ее с детьми (у меня была сестра двумя годами старше меня), когда мне не было и года. Затем они сошлись вновь на короткое время и с того именно момента я начинаю помнить отца. Мне тогда было около пяти лет и в моей памяти от того периода [осталось] два случая. Мы с сестрой забрались на чердак и делали там из щепок крестики (не было ли это предзнаменованием для моего отца, что его дети перейдут потом в христианство?) Отец очень рассердился и поломал наши

крестики. Второй случай: однажды ночью я и сестра проснулись от сильного шума. Оказалось, что отец вернулся домой пьяным и стал драться с матерью. Моя мать была миниатюрной, но по силе не уступала отцу. С той поры я не видел отца, пока мне не исполнилось 11 лет. Моя мать была портнихой. Ходила работать по домам, получала по рублю в день. Брала шитье и домой и своей работой кормила меня и мою сестру. Когда мне исполнилось 11 лет, к нам явился мой отец и предложил моей матери взять меня к себе. В это время он был вольнонаемным закройщиком 13-го Гренадерского Эриванского полка, который стоял в урочище Манглис, в 60 верстах от Тифлиса. Мать согласилась, и я переехал к отцу. Это послужило началом тому, что мои родители вновь сошлись и мать с сестрой через несколько месяцев также переехали к отцу. В Манглисе меня отдали в двухклассную сельскую школу. В этой школе я впервые познакомился со словами «жид», «жиденок», «жидовская морда» и проч., которыми меня называли мои школьные товарищи при каждой ссоре со мной.

Отец мой, прожив с матерью менее года, бросил службу, семью и уехал в Тифлис, а мать с нами осталась жить в Манглисе, продолжая зарабатывать шитьем. Я очень хорошо окончил школу и переехал в Тифлис к отцу в слепой надежде, что я сумею продолжить учение. Отец мой, получавший в то время 100 руб. в месяц, об учении и слушать не хотел, говорил, что ремесло для еврея является более надежным средством для существования, чем всякое учение, и в конце концов отдал меня в слесарную водопроводную мастерскую.

Стремление к учению мешало мне приохотиться к какому-либо ремеслу и я стал переходить от одного хозяина к другому, меняя одно ремесло на другое. Оставляя одного хозяина, я должен был идти к другому, так как отец отказывался меня кормить, а у хозяев я получал на стол 20 коп. в день и имел ночлег при мастерской. Я был последовательно слесарем, токарем по дереву, золотых дел мастером (три дня), фотографом, оптик-механиком, шорником и монументщиком. В этот период со мной произошло событие, послужившее началом того, что вся моя жизнь должна была измениться коренным образом. В конце 1891 года я поступил учеником

в шорно-седельную мастерскую Шовса. Мне было там очень хорошо. Ремесло это меня заинтересовало, да и кормили там хорошо. Должен сказать, что мой отец по каким-то причинам жил все время без паспорта. Он был уроженцем г. Гомеля. Я нигде не был приписан вследствие беззаботности отца или вследствие того, что он сам был беспаспортным. Однажды меня вызвали в полицейский пункт 3-го участка, в котором была расположена мастерская Шовса. Между мною и приставом произошел следующий (приблизительно) разговор:

- Твоя фамилия?
- Лифшиц.
- Звать тебя?
- Лева.
- Врешь, тебя звать Лейба.

Странно. Все звали Львом, а он говорит, что меня зовут Лейба.

– Ты гомелевский, – сказал пристав, – и я тебя вышлю в Гомель.

Мне тогда шел 16-й год, и высылка в Гомель меня не пугала, наоборот, это показалось мне даже прекрасной поездкой, но я ответил, что я не гомелевский, что я родился в Тифлисе, на Водозной улице, в доме Миктюкова. (В этом доме моя мать жила с нами второй раз, когда мне было 8 лет). Пристав ответил, что хотя я и родился в Тифлисе, но так как мой отец из Гомеля, а я нигде не приписан, то я должен быть выслан по месту приписки отца.

– Если ты, – прибавил пристав, – примешь православие, то мы тебя не вышлем.

Я был наивным мальчиком. Я не испугался высылки, но меня заинтересовала новая идея – стать русским, так как я вообразил, что с переходом в православие становлюсь русским. Я согласился. Все приготовление к крещению делалось, конечно, без меня. Пристав нашел мне крестную мать и, надо сказать, очень хорошую и добрую женщину – жену довольно состоятельного и даже богатого владельца мастерской колбасных изделий Ковтуненко. Крестным отцом был владелец чайного магазина Бильдин, настоящий русский купец-жмот. Мне дали молитвенник. Я выучил молитвы и в апреле 1893 года был крещен в мессианской церкви.

Мне дали имя Иван. После обряда крещения меня одели во все новое за счет крестной, и она устроила у себя обед. После обеда гости продолжали пить, а я сел один на балконе и мне казалось, что я сделал что-то очень большое, совершенно непоправимое и очень, очень нехорошее.

Тифлис очень большой город. Казалось, что сплетни там годами не дойдут, и вдруг на следующий же день в мастерскую Шовса пришла моя мать вся в слезах и, глотая слезы, голосом полным невыразимого отчаянья едва проговорила: «Лёва, Лёва, что ты наделал!».

Я знал, что моя мать будет недовольна, даже огорчена, но я никогда не думал, что этот мой поступок принесет ей такое невыразимое горе. В один день она изменилась до неузнаваемости. Я не думал, что это так подействует на нее, потому что она не соблюдала никаких еврейских обрядов. Мы ели свинину, никогда не ходили в синагогу, мы, я и сестра, не знали ни единого еврейского слова, благодаря чему я и сестра в совершенстве владели русским языком. Из всех еврейских обрядов мать совершала только один: она оставляла гореть лампу на целый день в годовщину смерти своей матери, моей бабушки, которая умерла, когда моей матери было всего семь лет. И все же мой переход в православие ее страшно убил. Но время все сглаживает, сын всегда остается сыном для матери, она простила, примирилась и продолжала меня любить.

Перейдя в православие, я не задумывался над тем, что это может принести мне какую-либо пользу, и продолжал работать, вернее говоря, продолжал переходить из мастерской в мастерскую. Последним моим ремеслом было ремесло монументщика, я довольно порядочно работал. Через восемь месяцев я уже стал получать 80 коп. в день, а парапет Тифлисского оперного театра был местом моей работы. С отцом, хотя и жили мы в одном городе, я не встречался вплоть до окончания мной юнкерского училища. Но об этом – позже.

В 1894 году я в разговоре с матерью как-то выразил сожаление, что при иных условиях я не мог бы учиться в гимназии, получить высшее образование и т.д., на что моя мать ответила: «Готовься к экзамену на вольноопределяющегося. Теперь ты русский и можешь быть офицером». Через неделю я бросил работу, достал у своих друзей детства книги и сел заниматься. Надо сказать, что в этот

период моя мать зимой жила в Тифлисе, а летом переезжала в Манглис, где летом было больше работы. Мать уехала, а я поселился у двух приятелей; два брата – Альфред и Август Циммерманы. Один из них был сторожем, другой – монументщиком и зарабатывали они рублей по полтора в день. У них я спал на полу, пил же чай и ел хлеб. Но больше я ничего не имел. Восемь месяцев готовился к экзамену. Я очень часто задумываюсь над этими месяцами и, право, не могу сказать, пообедал ли я хоть один раз за эти месяцы. Экзамен я выдержал при Тифлисском кадетском корпусе и в декабре 1895 года поступил вольноопределяющимся в 77 пехотный Тенгинский полк в г. Ахалцихе. Этот момент был решающим моментом в моей жизни, бросив меня в иную среду, иную сферу, оторвав меня окончательно от моего социального прошлого.

Далее все должно было пойти обычным порядком. Будущее определилось и зависело только от того, как я буду учиться. Над своей чисто еврейской фамилией я не задумывался, так как в Тифлисе на 100 тыс. жителей фамилию Лифшиц носили только мы и до приезда в г. Белосток по окончании юнкерского училища я не знал, что эти фамилии распространены почти как Иванов среди русских. В первый раз над этим вопросом мне пришлось задуматься на экзамене в учебной команде. На экзамене присутствовал командир полка полковник Римский. Из пяти вольноопределяющихся я один выдержал отлично экзамен, остальные должны были держать переэкзаменовку. Я бойко отвечал.

- Как твоя фамилия? Лифшиц? – спросил командир полка.
- Так точно, – отвечал я.
- Ты кто?
- Русский, – ответил я.
- Фамилия, брат, у тебя...

Он запнулся. Я ждал, что вот-вот он скажет: «еврейская», но он сказал: «немецкая», и у меня отлегло. Мне это понравилось. Я, следовательно, мог сойти за обрусевшего немца. Вы, конечно, поймете мои переживания по этому поводу, если примите во внимание как все, положительно все относились к еврею.

В 1897 году я поступил в Тифлисское пехотное училище. Учился блестяще. Был отделенным командиром и из 150 человек окончил

училище 19-ым. В 1899 году окончил училище и в чине подпоручика вышел в 64-й пехотный Казанский полк в г. Белосток Гродненской губернии, там-то я и столкнулся со своей фамилией, которая пестрела на многих вывесках магазинов и лавчонок. Однако в полку никто не делал ни малейшего намека о происхождении моей фамилии. Только один капитан мне однажды сказал, что он нарочно пошел в полковую баню, когда и я туда пошел, чтобы посмотреть не «обрезан» ли я и убедился, что не «обрезан». Бедный капитан! Он, должно быть, имел такое же представление об обряде обрезания, какое прокурор, обвинивший Бейлиса в совершении ритуального убийства мальчика Юзеровского и оскандаливший этим Россию перед всем цивилизованным миром.⁴ На вопрос любопытных, к какой национальности принадлежали мои родители, я, чтобы оправдать свое сходство с евреем, вернее, что я не похож на русского, отвечал, что отец мой русский, а мать грузинка. Не знаю, удовлетворил ли мой ответ любопытных. Кстати об отце. По окончании училища я получил прогонные деньги до Белостока, затем моя крестная дала мне 100 руб. У меня образовалась порядочная сумма. Я отправился к отцу, который тогда был без места – его уже нигде не хотели держать из-за пьянства – и купил ему швейную машинку, чтобы он мог дома работать. К этому времени он дал развод моей матери и женился на другой. Больше я его не видел. Жив ли он или нет – я не знаю. Если жив, то ему должно быть лет 85. А если бы был жив, то с каким наслаждением я сказал бы ему слово «папа», невзирая на свои 54 года! Должно быть потому, что в детстве мне редко приходилось произносить это слово и должно быть еще и потому, что в душе, в глубине своей души дети не бывают судьями своих родителей.

С каждым днем я все более убеждался, что моя еврейская принадлежность ни для кого не является секретом, хотя про это мне не говорили. Вопрос для всех был только в том – я ли крестился, мой ли отец или дед? Уверен, что полковых сплетниц этот вопрос очень мучил, но никто ничего наверняка не знал. Это иной раз меня забавляло. Что касается моего еврейского происхождения, я был под большим сомнением. Это показывали некоторые случаи. Так, раз я сильно увлекся дочерью моего ротного командира и, невзирая на то, что я ей нравился, она не согласилась стать моей

женой. Впоследствии я узнал, что ее смущала моя фамилия. У нас был капитан по фамилии Левин. Однажды в группе офицеров, в которой стоял и я, один капитан, указывая на Левина, сказал: «Вот идет полужид». «Уж если Левин у вас полужид, – подумал я, – то должно быть в ваших глазах я – целый жид!»

В 1903г. я женился. В 1904г., имея молодую жену и четырехмесячного сына, подал рапорт об отправлении меня в действующую армию в русско-японскую войну. Но командир полка не пускал меня, не желая расставаться с хорошими офицерами. Наконец вынужден был отпустить. Я попал в чужой полк и настолько себя зарекомендовал, что был назначен начальником охотничьей команды, т.е. части наиболее деятельной и наиболее подвергавшейся опасности. И вот, хорошо не помню в каком году, но после событий 1905 года, когда реакция достигла своего апогея, был издан указ, по которому дети и внуки евреев и евреек, принявшие христианство, не должны были приниматься в кадетские корпуса и военные училища. Я не думал посвящать военной службе своих детей. Но меня как офицера, честно относившегося к своим обязанностям, это глубоко задело. Я – офицер, оставил жену, оставил своего первенца, по собственному желанию еду на войну, а мой сын не может быть офицером. Это был не указ, это была издевка, но бросить военную службу я уже не мог – у меня была семья и я должен был катиться по той плоскости, на которую встал обеими ногами, когда по предложению пристава 3-го участка г. Тифлиса перешел в христианство, наивно вообразивши, что я с этого момента в российском обществе перестал быть евреем и стал русским. Да, я стал русским, это верно. 35 лет сделали свое дело, и я как-то не считаю себя евреем, но я стал русским не в глазах старого русского общества. Все это не раз заставляло меня останавливаться на вопросе об изменении фамилии, дабы избавить своих детей от тех мелочных терзаний, которые мучили меня, но я не решался, а терзания были сильные.

Помню, в Германскую войну я приехал в отпуск в г. Тверь, где жила моя семья. С женой оттуда я поехал в Петроград. Сыновья мои были старший реалистом, а младший гимназистом, и жена вечно ссорилась со мной из-за того, что я не желаю определить их в корпус. Этот спор она затеяла и в гостинице в Петрограде. Дело

было утром, и она лежала еще в постели. После более или менее крупного спора я сказал ей, что я не могу сыновей отдать в корпус, потому что их туда не примут.

– Почему? – спросила она с удивлением.

Один момент я крепился, а затем, стоя у окна спиной к ней, сказал ей кто я и сказал об указе. Мне страшно хотелось вернуться к ней и посмотреть, не увижу ли я в ее глазах и в ее лице всех тех русских, которые с молоком матери всасывают в себя ненависть и презрение к евреям. Но я боялся повернуть к ней голову. Боялся увидеть в ней всех этих русских, потому что, увидев их, я потерял бы жену. И вдруг я слышу, как она подозвала меня. Я подошел к ней. Она пригнула меня к себе и прошептала: «Ваня, я теперь еще сильнее люблю тебя». Все, что я пережил, все, что накопилось за всю жизнь, забурлило в моей груди и опять глубоко залегло внутри, так как вылиться в какую-либо определенную форму протеста не могло. Я решил изменить фамилию и избрал фамилию Левашов, так как она начинается именем, которым меня звали в детстве.

Я знаю, что мне следовало бы изложить в более коротком и официальном тоне свою автобиографию, но я не мог направлять свою мысль, перечитывая уже написанное, так как я не мог добиться, чтобы мне отвели место, где я мог бы писать, и я писал в камере, где сидели 10 человек при освещении, которое позволяло видеть написанную строчку, но не позволяло ее прочитать.

Из заслуживающих внимания моментов в моей жизни должен упомянуть, что я был женат два раза. Затем должен прибавить, что в 1909г. поступил в Интендантскую академию, которую окончил в 1912г. по первому разряду. Вначале думал поступить в академию генерального штаба, но боялся, что меня срежут на экзамене из-за моей фамилии, хотя вступительный экзамен в Академию генштаба был легче, чем в Интендантскую. Но теперь я доволен, так как благодаря Интендантской академии я смог стать кожевником.

О том, что я при отступлении армии Колчака сам остался в Иркутске и продолжал два месяца быть интендантом, что добровольно потом поступил в Народно-Революционную армию и о службе в Красной Армии на трех фронтах в течение года, мною

изложено в показаниях у уполномоченного ГПУ г. Ново-Омска. Должен прибавить, что я всегда честно и добросовестно исполнял свои обязанности и не чувствую за собой вины перед сов. властью.

Опять повторю, что я, может быть, не в деловом тоне изложил автобиографию, но я хотел в ней сказать, что мое происхождение и та ломка, которую надо мною производила русская действительность дореволюционного периода, не могли сделать из меня врага народа.

Левашов
19/ХІІ-1930г.

Протокол

допроса обвиняемого 1930 года, декабря 27 дня нарследователь Ново-Омского района Кривченя допрашивал гр-на Левашова Ивана Филипповича, который показал:

причем свое показание, данное на допросе упол. ОГПУ от 29/ХІ-1930г., подтверждаю дословно:

В предъявленном мне обвинении по ст. 58-4 УК виновным себя не признаю и в свое оправдание показываю следующее:

1. То, что я не руководил работой на заводе – это неправда. На заводе нас было два помощника главмастера, я и Абрамов. Абрамов – партиец. Лучин на заводе является главмастером, с которым я работал с 17 мая по 20 ноября 1930 года и, как видно, он мою работу ценил, так как он меня все время просил и держал во второй смене, поскольку я на заводе вечером должен был оставаться один. Кроме того, при уходе Лучина в отпуск он и дирекция почему-то поставили вместо Лучина не Абрамова, а меня, следовательно, этим самым и подтверждается моя пригодность к работе. Кроме этого, на заводе занимает должность технического директора гр-н Сирота – беспартийный, с которым я работал с 10 января 1922 года по 10 апреля 1924 года в гор. Иркутске на заводе «Сибиромонгол». Кожевненное дело я изучил в Интендантской академии в 1912 году и при окончании последней получил звание инженера-технолога по военному ведомству. Наряду с теорией, мне приходилось два лета по два месяца проходить практику на кожзаводах. Это все я могу подтвердить документальными данными,

которые находятся у меня на квартире. Кроме того, у меня имеется «Вестник кожсиндиката» за 1925 год, в котором есть мои статьи.

2. В отношении моего распоряжения, направленного якобы в сторону вредительства, это получилось так: Лучин мне сказал, чтобы я передал Харламову добавить в разварку осадка грязи сульфита. Я, проходя мимо Харламова, сказал добавить бисульфит. Это получилось у меня без всякого умысла, ошибочно (оговорка). Харламов меня тут же спросил: «Разве бисульфит?». И я тут же ему ответил, что нет – сульфит.

3. То, что я якобы был против проработки промфинплана с цифровыми данными на цеховом собрании, это неправда и не говорил, что где тут рабочему разобраться с цифрами, которые составила умная голова с карандашом в руках. Наоборот, я сам вычислял тут же, на собрании. После меня выступал т. Харламов – приблизительно с такой же речью.

4. Агитации против увеличения рабочего дня в интересах производства с моей стороны не было. Наоборот, некоторые рабочие не хотели работать. Я и Медынцев (пом. цехмастера) уговаривали рабочих в необходимости работать по девять часов. При этих уговорах Медынцев указывал рабочему Золотареву (точно не помню), что напрасно он держится той партии, которая не хочет работать, и рабочие начали работать, за исключением, кажется, двух человек.

5. Такого случая, чтобы я рабочим говорил о том, что их плохо кормят, а работать заставляют много – не было. Разговор был о том, как я вожусь сам со своей кухней. Мясо мне покупали жены: Харламова, бухгалтера Импе и др., обед готовил сам и мне это было выгодно, так как я получал из двух блюд мясной обед. Обеды готовил на четыре дня. Зарплата у меня была 250 руб., из которых 200 руб. отсылал своей семье.

6. Отрицаю и такой случай, что будто бы я говорил, что рабочих всех нужно вешать и скоро их всех перевешают. Я не понимаю, каким бы тогда я должен быть человеком – сказать это при моем происхождении из бывшего офицерства и к тому же партийцам.

7. При Колчаке я был в Иркутске окружным военным интендантом. При приходе сов. власти я никуда не эвакуировался, а оставался два месяца в этой должности.

Пока больше показать ничего не имею.

Левашов

Нарследователь *Кривченя*.

Дополнительно допрошенный обвиняемый гр-н Левашов 12 января 1931 года на заданные вопросы ответил: имеющееся у меня женское белье объясняется тем, что жена предполагала выехать ко мне, но так как мне квартиры не предоставили, то я написал ей, чтобы она не выезжала. Жена проживает в гор. Артемовск, по Плехановской ул., дом №54. Зовут ее Левашова Наталья Павловна.

Деньги царского времени в количестве 35900 рублей бумажного достоинства находились у меня без всякой цели, как завлаившийся хлам.

Анонимное письмо было переслано женой вместе с вещами.

Штамп на обороте членского билета за №37756 был наложен в Самарканде милицией при прописке и была наложена марка, которую я сорвал.

(...)

Нарследователь *Кривченя*

Прокурору Сибкрайсуда

от состоящего под следствием
Левашова Ивана Филипповича

На Ваше заключение направлено дело о привлечении меня к ответственности по признакам ст. 58, п.4., ввиду того, что в следственном материале показания свидетелей совершенно не отвечают действительности, я прошу при назначении дела к слушанию вызвать в суд всех свидетелей, которых я мог бы уличить в даче ложных показаний.

Все показания свидетелей, а на них строится обвинение, сводятся:

- 1) к тому, что я, якобы, скрыл свое прошлое или настоящее;
- 2) что я не знаю дела и не руководил производством;
- 3) занимался агитацией среди рабочих и разлагал их.

О том, что я скрывал свой прошлый чин полковника, говорят чуть ли не все свидетели. Если большинство свидетелей из рабочих

не знали, что я бывший полковник и не знали потому, что я это им не говорил, то это не значит, что я это скрывал. Не думаю, чтобы с моей стороны было бы тактичным, если бы я при первой встрече с рабочими сообщал им, что я был царский полковник. Скрытие своего прошлого можно было бы поставить мне в вину, если бы я скрыл это от дирекции, но этого не было, так как при заключении договора я показал бывшему директору кожзавода т. Рыкалову и инженеру Сибкожтреста т. Уланову (он в г. Новосибирске в Сибкожтресте) свой учетно-воинский билет и сообщил им, что я быв. полковник. Об этом же по прибытии на завод я сообщил и главному мастеру т. Лучину. В своих показаниях директор завода т. Ларионов (лл. 36 и 37) показывает, что он не знал, что я быв. полковник, а т. Лучин мне сообщил, что об этом знало бюро ячейки, а следовательно и т. Ларионов. Наконец, я об этом писал в своей автобиографии, которая была направлена директором Ларионовым в Сибкожтрест, откуда Вы можете ее истребовать. Я не думаю, что т. Ларионов, направляя мою автобиографию, не прочел ее, следовательно, его показания ложные.

Что я оказался негодным, показывает директор Ларионов, главмастер Лучин и другие свидетели. По прибытии на завод 17 мая я через два дня был назначен работать во вторую смену и все время по желанию главмастера Лучина работал во второй смене, так как он был, как он выразился, спокоен за вторую смену, когда я в ней работал. 18 июля, т.е. через два месяца, Лучин получает месячный отпуск и вместо него остался я, а не другой помощник – т. Абрамов. Через месяц т. Лучин возвращается из отпуска, и я опять назначаюсь работать во вторую смену и работаю в таковой до оставления мною завода и только после ухода и Лучин, и директор говорят о моей негодности.

19 ноября из-за квартиры я подал заявление об увольнении меня со службы. На моем заявлении директор т. Ларионов накладывает резолюцию, что в моем заявлении он не видит причин, заставляющих меня просить об увольнении. Я настаивал на своем. 23 ноября получаю расчет, а директор завода в своем показании говорит, что я негоден. Удерживать негодного работника, да еще агитатора! Ведь его резолюцию можно потребовать с завода.

19 ноября я подал заявление об увольнении, а 20 ноября в газете «Рабочий путь» появляется заметка, что помощник главмастера Левашов – лишенец, бывший царский полковник, дела не знает, руководить не умеет и разлагает рабочих. Ввиду того, что я еще накануне подал заявление об увольнении, то с появлением заметки я отправился к т. Лучину на квартиру и высказал предположение, что после этой заметки будет лучше, если я больше на работу выходить не стану. На это т. Лучин мне ответил, что на заметку не стоит обращать внимания; недоразумение выяснится, и я смогу продолжать работать. Это он сказал за три дня до моего ухода с завода, а затем показывает у следователя, что я негоден.

Что директор Ларионов и главмастер Лучин дают лживые показания о моей негодности, доказываются показаниями тех. директора Сирота, который говорит, что он и директор Ларионов были против моего ухода. Странным является и то обстоятельство, что студентами вузов по поручению дирекции на заводе руководил я. Если летом мне было поручено руководить работой одиннадцати практикантов-студентов, когда моя непригодность, быть может, еще не была выявлена, то почему и в конце моей работы было мне поручено руководить пятью студентами? Поручать руководить работой будущих красных специалистов человеку, не знающему дела, да еще агитатору – преступление, а ими я руководил до последнего дня.

Главмастер Лучин показывает, что я ничего нового не ввел. Это неправда. Паропровод для разводки осадка был построен и был переделан по моему указанию. Сок после разварки осадка брался грязным, но я устроил фильтр. Наконец, я представил два доклада (один из них я сделал для журнала и он должен быть в деле) об учете кож с указанием формы учета, но мои предложения заглохли, хотя с учетом кож на заводе творится хаос.

Т. Лучин и другие свидетели, за исключением т. Рождаева, показывают, что я старался сбить работу на первую смену. Книга рапортов дубильного цеха черным по белому может доказать, что во вторую смену товара сдавалось больше и, следовательно, показания их лживые.

Лучин и Абрамов показывают, что я налил недостаточное количество жидкости в гампель [?] и поэтому спилок [?] не мог

двигаться. Этот спилок хотел затем мочить Абрамов, я протестовал против этого и в тот же момент послал об этом записку т. Лучину. Абрамов начал его мочить... Спилок действительно не шел, а после прибавления воды пришел в движение. Меня удивляет, как это Лучин и Абрамов работу Абрамова сваливают на меня.

Ложь в показаниях не имеет границ. Так, Просвирин (л. 34) показывает, что я пьянствовал. Мои соседи, и с ними Абрамов (он тоже был моим соседом), покажут, что за все время пребывания на заводе я ничего не выпил.

Перейду к свидетельским показаниям о моей якобы агитации. В своих показаниях я просил следователя опросить пом. цехмастера Медынцева, который показал бы, как я и он уговаривали рабочих работать по 9 часов, но он его не опросил и поставил этот вопрос перед главмастером Лучиным, в то время как я в своем показании просил опросить Лучина о том, что после перевода рабочих на 9-часовую работу я предложил ему, чтобы я и Абрамов (другой его помощник) тоже работали бы по 9 часов, что мы и сделали.

Совершенно нелепо, чтобы я при шаткости своего положения как быв. полковник говорил бы рабочему, что его «скоро будут вешать». На суде я докажу лживость этого показания. Лживо показание и о том, что на общем собрании рабочих я высказывался против рассмотрения особого квартального плана на октябрь-декабрь 1930г. Рассматривался план 1930-31г. Т. Харламов, который был секретарем, сказал такую же речь, как и я. Это можно подтвердить протоколом, который должен находиться в конторе завода. Я не имею возможности касаться всех моментов этой стороны обвинения, так как пришлось бы слишком много писать, но остановлюсь на двух моментах. Не помню, кто из свидетелей показывает, что я о чем-то якобы поговорил с Грачевым, после чего тот стал агитировать. Этого Грачева я узнал уже в завершении [своей работы], т.е. прежде его не знал, и так как меня обвиняют в том, что я подговаривал, стал расспрашивать его, когда он поступил [на] завод? И вот оказывается, что он поступил 4 ноября. До 12 ноября работал в первой смене. 13 ноября имел выходной день. 14 и 15 ноября работал во второй смене, как и я. Примите во внимание, что 19 ноября я подал заявление об увольнении, а 20

ноября был последний раз на работе. И вот за это краткое время я успел узнать человека, который мог бы агитировать против власти и подговаривал его. Эти даты говорят о нелепости обвинения.

Второе. По словам директора Ларионова, я уже давно был замечен в агитации среди рабочих. После этого он кладет резолюцию, что не видит оснований, чтобы я ушел с завода, поручает мне руководить работой студентов-практикантов и о моей преступной деятельности сообщает в ОГПУ только после того, как согласился на мою просьбу об увольнении. Не понимаю, почему он, заметив, что я давно занимался агитацией, не сообщил о моей преступной деятельности ранее.

Заканчивая свое настоящее заявление, я обращаюсь к Вам с просьбой вызвать в суд всех свидетелей, показания которых имеются в деле, если Вы не найдете возможным направить дело на прекращение.

Левашов.
21/І-1931г.
г. Омск
Исправтруддом

Приговор

Именем Российской Социалистической Федеративной Советской Республики⁵ 21-23 апреля 1931г.

Выездная сессия Зап. Сиб. Краевого суда в г. Ново-Омске в составе:

председателя Добровольской, очередных народных заседателей – Богданова и Целищева,

государственное обвинение: пом. прокурора Лебедева,

общественное обвинение от завода – Козлов и по назначению Ч.К.З. – Пушаровская, при секретаре Андреевой.

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело №230 по обвинению Левашова Ивана Филипповича, 53-х лет, урож. г. Тифлиса, неимущий, б/партийный, бывший интендантский полковник при Колчаке, лишен избирательных прав, судим по ст. 112, ч.ІІ УК к общественному порицанию

и Грачева Капитона Сергеевича, 42-х лет, урож. Алтайского района Зап.-Сиб. края, с. Старо-Белокуриха, женат, живет без семьи, лишен права голоса как имевший кожевенный завод с наемной рабочей силой, не судим. Обоих по ст. 58-10 УК.

Данными судебного следствия и материалами дела установлено:

в 1930 году Левашов, скрыв свое социальное положение о том, что он лишен избирательных прав и имея образование инженера-технолога, воспользовавшись случаем отсутствия квалифицированной силы, устроился на кожзавод №1 им. Рыкова. При поступлении на службу в должность пом. главного мастера, ему дано было дирекцией несколько дней на ознакомление с заводом и кроме того администрация, учтя, что Левашов рекомендовал себя специалистом кожевенного дела, поручила ему проработать вопрос об улавливании пыли в дробилках и обратить внимание на техническую сторону завода. От данного поручения Левашов уклонился и занялся выработкой статистических сведений о движении кож по цехам производства. Кроме того, Левашов, являясь чуждым элементом, настроенным против мероприятий Сов. власти, видя, что на заводе происходит усиленная работа по выполнению промфинплана, а также и встречного плана, вел разлагательскую работу среди рабочих, указывая, что проработкой промфинплана рабочим заниматься не нужно, что они ничего не понимают и дело решено свыше грамотными людьми, что закрепление рабочих до конца пятилетки также излишне, а также не нужно ударничество. В августе месяце при посылке Левашова на производственно-техническое совещание, Левашов говорил, что «я буду платить от себя 50 руб. в месяц, только бы не ходить». Левашов, считая себя высоко квалифицированным специалистом, давал неправильные указания Харламову, работавшему в дубо-барабанном цехе, что последний для скорейшей разварки дубителей, положил вместо сульфита бисульфит. Цель Левашова была направлена на порчу кож, но Харламов данное указание не выполнил, избежав порчи кож. Левашов пытался своим действием расшатать трудовую дисциплину, отвлекая рабочих от прямой работы, рассказывая анекдоты, ведя разговоры не относящиеся к делу, за что имел

замечание от дирекции, также вел разговор с рабочими на тему плохого питания и тяжелой жизни, желая этим самым вызвать недовольство к Сов. власти.

Грачев, живя в деревне Старо-Белокуриха, имел кожзавод, который он ликвидировал, и учтя, что он подлежит раскулачению⁶, уехал из деревни в г. Омск и скрыв свое соц. положение, также устроился на завод им. Рыкова. Пробыв с неделю, Грачев стал отыскивать на заводе сочувствующих ему людей, которым жаловался, что его ограбили, отобрали хлеб и он вынужден был уехать из деревни. Вел разлагательскую работу, что «никакое ударничество не поможет, что завод скоро закроют», что «как в деревне, так и на заводе ничего не дают», что его завод выработывал лучше кожу, чем завод им. Рыкова. Плохо относился к порученной работе, портил кожи. При разговоре с рабочими так вел агитацию против закрепления до конца пятилетки.

За означенные действия, направленные к срыву работы и за расшатывание трудовой дисциплины на производстве, Левашов и Грачев были арестованы. В действиях Левашова и Грачева суд находит состав преступления, предусмотренный ст. 58-10 УК, доказанным. Поэтому, руководствуясь ст. 319,320 УПК, ст.45,47 УК,

приговорил:

Левашова Ивана Филипповича, 53-х лет, по ст. 58-10 УК подвергнуть мере социальной защиты – лишению свободы сроком на восемь лет;

Грачева Капитона Сергеевича, 42-х лет, по ст. 58-10 УК подвергнуть ссылке в отдаленные местности, установленные НКВД и НКЮ сроком на восемь лет, соединенную с принудработами.

Кроме того, Левашову Ивану на основании ст. 31 УК после отбытия лишения свободы запретить занимать ответственные должности в гос., сов. и кооперат. учреждениях сроком на пять лет.

На основании ст. 29 УК Левашову зачесть срок предварительного заключения с 27/ХІІ-1930г.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд в 72 часа с момента вручения копии приговора.

Председатель: *Добровольская*

Нарзаседатели: *Богданов, Целищев.*

К 150-летию венчания Ф.М. Достоевского в Сибири



Ксения Тилло
ПРЕДИСЛОВИЕ К «ОМСКОЙ ГОЛГОФЕ»
Размышления в преддверии
очередного юбилея

В феврале 2007г. в новокузнецком музее им. Ф.М. Достоевского планируется провести мероприятия, посвящённые 150-летию венчания великого писателя в Кузнецке. Вздоха облегчения: наконец-то начали отмечать даты биографии Достоевского, связанные с провинцией!

Чем не повод задуматься? В стране – шесть музеев Достоевского плюс ещё как минимум десяток иных научных организаций и учреждений, занимающихся его творчеством, и, по крайней мере, столько же за рубежом. И вот все эти организации в юбилейные для Достоевского годы приблизительно в одно и то же время (раз в пять лет, осенью, когда писатель родился) устраивают международные конференции, рассылают приглашения исследователям, которые стоят перед выбором: какую конференцию предпочесть, поскольку на все успеть – не получается, да и наскрести денег на несколько командировок в ограниченный срок – проблема.

Есть, конечно, и исследователи, которые успевают появиться везде, что выглядит удивительно: можно ли за короткий срок как следует подготовиться к нескольким мероприятиям и не страдает ли в такой спешке качество выступлений?

Совершенно очевидно, что подобная практика неразумна и музеям, равно и прочим научным центрам, нужно бы согласовывать между собою графики проведения симпозиумов. Например – целесообразно ли в Новокузнецке проводить международную конференцию в юбилейный для писателя год, когда в Кузбассе есть «свои» даты, связанные не с рождением, а с венчанием писателя в Кузнецке в феврале 1857г. – именно венчанию с Исаевой посвящена экспозиция музея и, стало быть, отмечать музею пристало скорее «венчальные» юбилеи.

То же самое нужно сказать о Старой Руссе и Омском музее. Неужели в Омске нет особых «сибирских» дат, связанных с Достоевским, к которым местный музей мог бы приурочить конференцию? Почему, например, не отмечать «родное» для Омска

Великие умы доходят равным образом и до великих пороков, и до великих добродетелей.

Клод Адриан Гельвеций

событие – освобождение Достоевского из заключения, конец его каторги в январе 1854г.?

Так ли уж нужно проводить столько конференций, посвящённых одному и тому же событию – рождению Достоевского – и вносить сутолоку в среду исследователей? Наверное, стоит проконсультироваться и в Министерстве культуры Российской Федерации, эффективно ли осваиваются бюджетные средства, если в предюбилейной спешке столько организаций «перетягивают» друг у друга авторитетный, но, по сути, один и тот же состав участников?

Приведём конкретный пример: бывшего директора Омского музея Виктора Вайнермана пригласили на международный симпозиум, который в октябре 2006г. проводило Румынское Общество Достоевского. И приглашённый вынужден был отказаться, потому что в то же самое время планировалась организация подобной же международной конференции в Омске. Два события явно «мешали» друг другу. Но этого можно было избежать, если бы, скажем, в Омске отмечали не 185-летний юбилей рождения Достоевского, а 150-летие окончания его омской каторги, которое можно было бы с не меньшим блеском отметить полтора года назад.

Казалось бы: у каждого музея – своё лицо, своя неповторимая специфика, вот её и бы пропагандировать, «продвигать» свою родную тематику, подчёркивая таким образом преимущественно «региональный» аспект!

Вот почему инициатива новокузнецкого музея отметить 150-летие венчания Достоевского кажется особо привлекательной. Жаль, конечно, что конференция не была приурочена именно к этой дате.

Но – лиха беда начало! Возможно, наступит время, когда в Новокузнецке, Омске, Старой Руссе и других местах приживётся идея более продуманно выстраивать межрегиональные связи, итогом которых и являются конференции.

Огорчает также, что юбилейные торжества сопровождаются иногда и прочими удручающими казусами. На память приходит история реставрации и создания экспозиции в новокузнецком музее. В 1995 году дом Достоевского в Новокузнецке стоял в

полуразобранном виде, без крыши. Деньги, отпущенные на реставрацию, были израсходованы не по назначению, так что потребовалось немало усилий, чтобы реставрацию закончили в рекордно короткие сроки, и вот к 175-летию Достоевского уже была «смонтирована» новая, «ультрасовременная», экспозиция, созданная московскими художниками, вышла 500-страничная книга о венчании Достоевского¹ и отдельным изданием – специальный аннотированный библиографический указатель.²

Причём всё это – под напором исследователей, с привлечением московских связей. И ничего бы не получилось, если бы не помощь бывшего многолетнего директора московского музея-квартиры Г.В. Коган, заинтересованное отношение ответработника Общества достоевсковедов Карэна Степаняна, солидарность директора семипалатинского музея Достоевского И.Ф. Мельниковой, пристальное внимание Общества охраны памятников истории и культуры, поддержка Законодательного собрания Кемеровской области (оно возглавлялось тогда нынешним губернатором А.Г. Тулеевым), равно местного телевидения и трёх газет, вмешательство Министерства культуры РФ, которое выделило значительные средства на юбилейную программу, чего в те «безденежные» поры добиться было очень непросто.³

Уроки новокузнецкой реставрационной «драмы» – закончившейся, впрочем, вполне благополучно – тем не менее, красноречиво свидетельствуют: юбилейная «лихорадка» нередко чревата омрачающими моментами, бои местного значения выигрывать куда как нелегко – у провинциальных работников культуры большой опыт по воздвижению «ватных стен», о которые и расширяться – не расширёшься, но увязнуть в них можно на годы.

После памятных новокузнецких событий прошло десять лет. И вот история повторяется, но уже в Омске. Картина знакомая: подготовка к юбилею, лихорадка. Из опубликованного ниже очерка бывшего директора омского музея Виктора Вайнермана «Омская Голгофа» черпаем подробности, как бы проецируя их на новокузнецкие события середины 90-х. И – сравниваем. В биографии двух музеев много общего.

Музей Достоевского в Новокузнецке был создан как филиал городского краеведческого музея в 1980 году. Омский музей тоже

возник сперва как филиал городского, но был открыт для посещения тремя годами позже – в 1983г. Самостоятельный статус новокузнецкий музей получил в марте 1991г., а Омский, согласно сведениям В.С. Вайнермана, в январе 1992г. (нынешний и.о. директора музея, наш автор Ю.П. Зародова в первом номере «ГС» сообщает, впрочем, другую дату: 1991год). Таким образом, в Новокузнецке события изначально развивались опережающими темпами – возможно, потому, что в Кузбассе контакт интеллигенции с властями, несмотря на перманентные обострения, был всё же более эффективным.⁴

Экспозиции, созданные в названных музеях в начале 80-х годов, конечно, нуждались в коррективах. Уже в начале 90-х в Кузбассе заговорили: нужны кардинальные обновления! В первой половине 90-х приступили к капитальной реставрации памятника («Домика Достоевского»), она забуксовала, но вмешательство общественности, как уже было сказано, возымело действие, так что в 1996г. реставрацию закончили и вполне отвечающая современным требованиям экспозиция была открыта.

Не то было в Омске: постановление областной администрации «О реставрационных работах в литературном музее» появилось там только в марте 1996г., но к его реализации приступили лишь в 2006 году, причём в чрезвычайных условиях, к чему мы ещё вернёмся. Увы, на пути к новой экспозиции омичи потеряли десять лет!

Добившись создания новой экспозиции в 1996 году, в Кузбассе пошли дальше – здесь уже обсуждается, как «оживить» вещественную среду во втором (административном) здании музея. Образная экспозиция расположена в самом памятнике, то есть в «Домике Достоевского», но ведь целесообразно и вполне реально в другом особняке, двухэтажном, что тоже принадлежит музею, хотя бы отчасти воссоздать предметную среду XIX века по типу интерьеров «Дядюшкиного сна» или «Села Степанчиково и его обитателей», которые сочинялись Достоевским как раз в сибирскую пору.⁵ То есть речь идёт о возможном создании второй экспозиции, «предметной», которая бы дополняла «образную». Эта идея пока существует лишь в контурах и, к сожалению, соответствующие рекомендации ещё не приняты во внимание культурными властями.

Конечно, для осуществления проекта нужны, прежде всего, средства – хотя бы на закуп «интерьерных» предметов старины середины XIX века. Но совершенно очевидно, что рано или поздно этот план потребует реализации. Главное – о нём уже говорят. Исследователи «бегут впереди паровоза», но это в любом случае лучше, чем омский сценарий – ведь там к обновлению основной экспозиции не приступали почти четверть века!

Экспозиция в Новокузнецке – образная, с использованием весьма экспрессивных художественных средств. В одном из залов, например, рядом – два манекена М. Исаевой, с легко читаемым подтекстом: избранница великого писателя в смятении – кого ей предпочесть: Достоевского или его соперника Н.Б. Вергунова. Экспозиция настраивает посетителя на размышление, подсказывает варианты различных трактовок.⁶

Новая экспозиция омского музея, созданная в 2006г. всего за три месяца в условиях не всегда оправданного чиновного вмешательства, более сдержанна, менее экспрессивна, художественные приёмы в ней не являются ведущими, самодовлеющими. Это не плюс и не минус экспозиции, а просто иной подход. Виктор Вайнерман, например, считает, что «Требование повышенной экспрессивности оформления отдаёт нафталиновой залежалостью. Как будто достали его из бабушкиных сундуков...».⁷

Хотя, казалось бы, задача музейной экспозиции отнюдь не только в напоминании событий и дат, а в «горении глаз», которое должно появиться у «зрителей» после посещения музея. А этого без «нафталиновой» экспрессии, возможно, не добиться.

Добавим ещё, что «экспрессивная» экспозиция открывает множество возможностей для экскурсовода. Ведь от его дара «вдыхать» чувственную эманацию в те самые «нафталинные» предметы зависит, покинет ли музей посетитель всего лишь с поверхностной царапиной в сознании, или с глубокой – может, на всю жизнь – зарубкой в сердце!

В центре экспозиции новокузнецкого музея – «грозное чувство» измененного каторгой Достоевского к незаурядной женщине, «фантастической» Исаевой. В её основе лежит сугубо романтическая, если не сказать «романная» коллизия, какие впоследствии и сочинял Достоевский-писатель. «Идейное» построение

экспозиции совпадает с концепцией вышедших в то время в Сибири книг – «Черный человек сочинителя Достоевского» и «Загадки провинции: "кузнецкая орбита" Фёдора Достоевского в документах сибирских архивов». Она казалась по тем временам необычной, но сегодня, судя по недавней статье Игоря Волгина в журнале «Октябрь» (2006, №11), прочно вошла в исследовательский обиход и привлекает всё больше сторонников.

Идея омской экспозиции имеет другую направленность. Это экспозиция-манифест. *«Задумывая реконструкцию музея, – пишет Виктор Вайнерман, – я исходил из необходимости принципиально изменить видение литературного процесса, а также совершенно иначе взглянуть на творчество Достоевского и на мировоззренческие процессы, которые происходили с ним в Сибири. Писатель в Сибири не только отбывал наказание за участие в деятельности демократического кружка М.В. Петрашевского. Он пересматривал все свои прежние взгляды и убеждения. Будучи с детства глубоко верующим человеком, Достоевский-каторжник испытал глубочайший кризис веры, а вместе с ней и взгляды на российскую государственность. У власти находится государь-император. Он – наместник Бога на земле. И помышлять об изменении государственного устройства простой смертный не вправе. Можно лишь показывать Государю разные теоретические выкладки, а решение он примет сам... Выйдя из острога, Достоевский писал о том, что обрёл «осанну», то есть восторженную веру в Бога. Но при этом замечал, что она прошла суровое «горнило испытаний». Значит, при создании проекта художественного оформления музея необходимо главной темой сделать путь от света веры, через мрак неверия и сомнений – к Горнему свету, к Осанне».*⁸

Таким образом, идеи экспозиций совершенно разные. В Новокузнецке – «грозное чувство» Достоевского к Исаевой, эмоциональные источники творчества, в Омске – его мировоззрение в целом, отношение к государственному устройству и вере.

Это принципиально иные подходы, не претендующие на однозначное толкование. Возможно, они спорны, но тем и интересны. Тот, кто читал письма Достоевского сибирской поры, согласится, конечно, что основное, чем был озабочен тогда писатель –

отнюдь не идеология, не монархический строй, «данный Богом», не вера, не общественные взгляды, а обустройство своих бытовых обстоятельств и личной жизни. Но бесспорно, конечно, и то, что Достоевский был человеком глубоко общественным. Поэтому эти две экспозиции, посвящённые сибирскому периоду, никак не противоречат, а, скорее, дополняют друг друга.

Нельзя не отметить ещё одну особенность: в Омске в 2006г. экспозицию создавали под жёстким давлением *сверху*. Виктор Вайнерман рассказывает – ему было чётко продиктовано, что именно ждёт местная власть от экспозиции.

Не то, совсем не то было в Новокузнецке! В 1996 году действия местной культурной власти в Кузбассе «смягчались» акциями интеллигенции, которая со страниц газет постоянно напоминала об исчезновении выделенных на реставрацию и экспозицию средств, затерявшихся в недрах городского управления культуры. В конфликт вмешалось Законодательное собрание и Министерство культуры РФ, и у новокузнецких чиновников в итоге было только одно желание – пристойно «исчерпать» экстремальную неувязку. К тому же, далеко от «просвещённых столиц» образные экспозиции тогда были в диковинку, покритиковать «новинку» авторитетных московских художников никто в Кузбассе тогда не отважился бы. Экспозиция, таким образом, была создана *снизу*, это было свободное творчество.

Пока противоборствующие стороны, втянутые в конфликт, разбирались – в Новокузнецке успели сделать главное. В основу экспозиции была положена концепция, выдвинутая исследователями Г. Коган, М. Кушниковой, равно и тогдашним директором Т. Ащеуловой, причём нельзя не отметить исключительную роль, которую играл в тех событиях председатель городской писательской организации Б. Рахманов.

«Видение» экспозиции было дополнено смелыми находками художников, которых ни в чём не ограничивали и не мешали им работать. Наверное, такая экспозиция могла возникнуть только благодаря счастливому стечению обстоятельств и только в середине 90-х.

Увы, «юбилейные» годы для названных музеев оказались «роковыми», иначе не скажешь. В 1996 году (175-летний юбилей

Достоевского) судьба директора новокузнецкого музея Татьяны Ащеуловой «висела на волоске». Следующий юбилей (180-летний) закончился для неё плачевно: ей пришлось уйти в самый разгар подготовки к торжествам (якобы не сумела привести в надлежащий, чистый и опрятный, вид улицу, которая носит имя великого писателя, потому и пострадала). А 185-летний юбилей, как уже сказано, «сместил» омского директора Виктора Вайнермана и тоже – за несколько недель до празднества, о чём он сам расскажет в приведённом ниже очерке.

Юбилеи, конечно, запоминаются надолго. Но в Сибири получаются они, скорее, безрадостными. Рок преследует посмертную биографию Достоевского – всё, что связано с его сибирским бытованием, приобретает сумрачный оттенок...

Январь 2007г.

Виктор Вайнерман ОМСКАЯ ГОЛГОФА, ИЛИ МОНОЛОГ ЭКС-ДИРЕКТОРА

Какая рука меня в черные списки включила?
Какой дирижер меня вывел из спетого хора?
Прощай! Надоело писать мне под скрежет точила,
Под виселиц скрип, да под явственный окрик затвора.

Олег Чертов

В ноябре 2006 года в Омске после капитальной реконструкции открылся Литературный музей имени Ф.М. Достоевского. В здании комендантов Омской крепости, где бывал Достоевский, произведен капитальный ремонт и создана новая экспозиция. Казалось бы, можно праздновать победу. Ведь необходимость заменить старую экспозицию, созданную в начале 1980-х годов, подтвердил губернатор Омской области Л.К. Полежаев еще в марте 1996 года, издав постановление №140-П «О реставрационных работах в Литературном музее». Собирались десять лет, зато всё сделали за четыре месяца... Появился ещё один повод говорить о торжестве руководящей воли, о своевременности принятых и воплощенных решений!

Омская Голгофа, или монолог экс-директора

1

«От чистого истока в прекрасное далёко...»

Напомню, что Омский государственный литературный музей имени Ф.М. Достоевского открылся для посетителей 28 января 1983 года.

Омск – город литературный. С Омском связаны имена известных не только в России, но и далеко за ее пределами, писателей. Иннокентий Анненский и Леонид Мартынов, Александр Новоселов и Всеволод Иванов, Роберт Рождественский и Сергей Сартаков. Это только несколько имен. А если добавить к ним знаменитых во всей Сибири на рубеже XIX и XX веков Николая Ядринцева, Георгия Вяткина, Антона Сорокина, да известных сегодня поэтов Тимофея Белозерова, Аркадия Кутилова, Татьяну Четверикову, Владимира Макарова, прозаиков Ивана Токарева, Александра Плетнева, Михаила Малиновского, очеркистов Леонида Иванова и Петра Ребрина... и многих, многих других: молодых и уже маститых, авторов нескольких книг и всего лишь первых публикаций, – картина литературной жизни будет выглядеть весьма внушительно.

Омский литературный музей – явление в своем роде уникальное. Такой концентрированной нацеленности и сосредоточенности на духовной жизни, такого профессионального стремления выявить основные тенденции развития культуры в регионе за два века истории, нет ни в одном музее Сибири. Литературный музей рассматривает общественную жизнь, как объект и субъект художественного изображения. Он не просто фиксирует события литературной жизни в памятниках материальной культуры, но стремится представить следующим поколениям объективную оценку качества вышедшего из-под пера писателя текста. Наконец, литературный музей изучает все виды рефлексии общества на существование и развитие литературного процесса (переводы, экранизации и театральные постановки, рецензии, периодическую печать и многое другое); биографии литераторов, историю книги как произведения искусства. И, разумеется, главными задачами Литературного музея, как и музеев других профилей, является

Виктор Вайнерман

научное комплектование собственных фондов, их сохранение, изучение и публикация в музейных экспозициях и выставках.

Омский государственный Литературный музей имени Ф.М. Достоевского – на сегодняшний день единственный в Западной Сибири музей истории литературы.

В книге отзывов – записи известнейших людей. Первое, что сделал Александр Исаевич Солженицын, возвращаясь через Омск после вынужденного проживания в США – посетил Литературный музей. Более того, «мемориальцы» звонили ему в Новосибирск, приглашали в Омск. Солженицын сказал, что хотел бы проехать севернее, через Тюмень. Упомянули как один из аргументов и автора «записок из Мёртвого дома», и литературный музей имени Достоевского. «Что? Литературный музей имени Ф.М. Достоевского? – переспросил Александр Исаевич. – Еду!» Надо было видеть, с каким интересом он вникал во все подробности литературной истории края. Много записывал, переспрашивал, комментировал. Музей посетили именитые писатели – Е. Евтушенко. Журналисты – Артем Боровик. Коллеги-музейщики В. Толстой и М. Пиотровский. Нашим экскурсоводам рукоплескали звезды отечественной эстрады, театра и кино, среди которых – Валентина Толкунова, Инна Чурикова, Владимир Стеклов, Вениамин Смехов, Александр Михайлов, Евгений Киндинов, Лия Ахеджакова, Альберт Филозов, Ирина Апексимова и многие другие.

Гости из Германии и Швейцарии, Италии и Японии, приезжая в Омск, часто не знают о том, что наш город славится предприятиями нефтехимии или оборонной промышленности. Но о том, что в Омске бывал Достоевский, они, как показала практика общения с ними за 23 года жизни музея, знают наверняка.

Омский государственный Литературный музей имени Ф.М. Достоевского был и остается «визитной карточкой» города.

Идея создания музея впервые была высказана в журнале «Сибирские огни» в 1928 году. Омские краеведы, ученые, журналисты, общественные деятели на протяжении 55 лет собирали в личные архивы или сдавали на хранение в Омский краеведческий музей материалы по истории зарождения, формирования и развития в Западной Сибири литературных традиций. Много сделали для

сохранения документов, фотографий и рукописей, в будущем составивших основу фондов Омского литературного музея, Н.В. Феоктистов, А.Ф. Палашенков, П.Л. Драверт, Ю.И. Шухов. В 1978 году в Омском краеведческом музее был создан отдел литературных экспозиций. В него были приняты младшим научным сотрудником Надежда Геннадьевна Швайко и старшим научным сотрудником автор этих строк. Мы продолжили работу над основополагающим документом будущей экспозиции музея – тематико-экспозиционным планом (ТЭПом), начатую Ю.И. Шуховым, Л.С. Худяковой, Л.Ф. Хаповой. Одним из основных направлений работы отдела стало комплектование фондов. В 1979 году сотрудники музея открыли свою первую выставку. Она называлась «Пусть всегда будет солнце!» и посвящалась творчеству омского поэта Т.М. Белозерова, которому исполнялось 50 лет. С лета 1980 года по лето 1982 года заведующим литературным отделом работал А.Э. Лейфер. При нём был заключен договор на оформление музея с художником Э.И. Кулешовым (Москва) и утвержден проект реконструкции под музей здания по ул. Достоевского, 1 (бывшего дома комендантов Омской крепости, памятника архитектуры, построенного в 1799 году). Летом 1982 года руководство отделом поручили мне.

Музей открылся как филиал Омского государственного исторического и литературного музея (ОГОИЛ). В январе 1992 года удалось вывести музей из состава объединения и добиться для него статуса самостоятельного юридического лица.

Перед нами стояли очень непростые задачи. Выход из состава объединения по времени совпал с началом чрезвычайного, сложного периода в жизни страны. На протяжении нескольких лет люди думали лишь о том, чтобы выжить. По нескольку месяцев задерживали зарплату, оказались пустыми прилавки магазинов. Резко опустели не только музейные, концертные и выставочные залы, но и театры. Несмотря на всё это, омский литературный изыскивал новые формы работы. Посетители не шли в музей – и музей шёл к людям: создавал передвижные выставки, экспонаты которых можно было перенести на руках, разрабатывал новые темы лекций для старшеклассников и беседы для малышей. Сотрудники выходили в школы и на предприятия. Количество посетителей росло медленно, но неуклонно.

Любопытно было в то время наблюдать, как меняются идеологические акценты. Только что можно было говорить лишь о том, как коммунистическая партия руководит литературным процессом – ни шага в сторону!

А тут становится очевидным, что экспозиция музея безнадежно устарела. В начале 90-х цитаты из произведений В.И. Ленина и партийных документов можно было увидеть разве что в музее самого вождя мирового пролетариата... Так что экспозиция Омского литературного тоже стала «экспонатом», о чём с улыбкой не раз говорилось тогда во время экскурсий.

Годы, которые называли «застойными», закончились. Полагали, что завершилась даже «перестройка». Надо было создавать принципиально новый музей. И всё же приятно было отметить качество работы, проделанной экспозиционерами. Несмотря на изменение политических установок, расположение экспонатов в музейных витринах позволяло подавать посетителям материал о событиях, происходивших в литературной жизни Омска, не менее эмоционально и заинтересованно.

Однако устарела не только сама экспозиция. Техническое состояние музея с каждым годом всё более требовало обновления... Полы рассохлись и скрипели. Не была оборудована канализация – стоки уходили в выгребную яму, которая вскоре была ликвидирована, и фекальные воды возвращались под здание, в котором дышать стало нечем. Художник Кулешов, создавая экспозицию, нашёл «оригинальное» решение. Он изнутри зашил стены древесно-стружечной плитой от пола до потолка. Оказались закрытыми почти все окна. Ограниченным оказался доступ к батареям парового отопления. Не была предусмотрена вентиляция помещений. Требовалось создать внутри образовавшегося глухого пространства искусственное освещение.

Ещё в начале 1980-х годов выяснилось, что светильников, необходимых для создания настоящего музейного света, нет. А те, что имеются, не выдерживают требований пожарной безопасности. Наконец, аж через Министерство культуры России, удалось закупить партию светильников на таллинском заводе «Эстопласт». По тем временам они смотрелись очень красиво – серебристые, блестящие, аккуратные. В сочетании с постоянно перегоравшими

лампами дневного света, установленными в громоздких коробах под потолком, эти светильники обеспечивали освещение на протяжении всех лет работы музея. Но даже несмотря на ряд конструктивных недоработок и технически не продуманных решений художественное оформление нового музея было признано лучшим по Российской Федерации за 1983 год.

2

Нет, ребята, всё не так! Все не так, ребята!

В. Высоцкий

Как уже говорилось, Омский литературный создавался как филиал музейного объединения. Поэтому в штате музея на момент его открытия значилось всего три научных сотрудника (вместе с заведующим отделом), четыре смотрителя, техник, сантехник и по половине ставки электрика и дворника. После выхода из состава объединения необходимо было привести штатное расписание музея в соответствие с его новым статусом. Однако «выбить» ставки, как и недостаточное финансирование – задача не из простых. Только к 2006 году штатному расписанию музея удалось придать вид, приближающийся к «рабочему»: в музее появилась собственная бухгалтерия из трех человек, выделен отдел фондов (два человека), создан отдел организационной, методической и маркетинговой работы (четыре человека), появились в штате юрист и завхоз.

Едва Омск открылся для иностранного туризма, в музей пошли иностранные группы. Гости из «дальнего зарубежья», по их словам, приезжали в Омск, в основном, «к Достоевскому». Для многих людей во всем мире Омск – город, где писатель отбывал каторгу, где произошло перерождение его убеждений.

Интересно, что в середине 90-х только от иностранцев можно было услышать вопросы о биографии и творчестве писателя. «Наших», среди которых в ту пору были, в основном, школьники, мало что интересовало. Учителя заняты своими нелёгкими проблемами, а детей захлестывала новая информация, идущая с Запада – боевики, ставшие вдруг доступными фильмы эротического содержания, компьютеры... Какая уж тут литература! В школах

сокращали часы, отведенные на её преподавание. Новые программы преподносили школьникам литературу в разорванном, клочкообразном виде. «Из Пушкина, из Достоевского, из Толстого...», что неизбежно формировало у молодёжи «клиповое сознание», отучало связно мыслить и излагать свои мысли...

А тут литературный музей с его вниманием к традиции, с его стремлением сохранить иерархию духовных и культурных ценностей – эдакий форпост культуры...

С первых лет работы музея чрезвычайно важной оказалась личность человека, который проводит экскурсии. Сколько раз приходилось говорить сотрудникам, что дети, которых учителя зачастую «пригоняют» в музей, настроены агрессивно. У них копеечка на мороженное или на дискотеку, а их – в музей... Необходимо не только сломить внутренне сопротивление подростков, но и «зажечь» собственной увлеченностью. Пробудить интерес к истории литературы родного края и к самому *чтению* не призывами, – мол, «так надо», – а эмоциональностью, «горящими» глазами... И учителя сначала потянулись в музей, а когда увидели отдачу, поняли, что посещение литературного музея остаётся в сердцах детей, стали убеждать и других коллег. Так у музея появился круг единомышленников, которые всегда приходили и приходят на помощь. Потому что всегда есть проблемы, которые решить невозможно в одиночку, а только сообща...

С первых же дней работы выяснилось, что литературный музей отличается от остальных музеев и способом осмысления действительности в самой экспозиции, и в том, что, как и кем говорится на ней. У литературного музея – свой посетитель. Но, к сожалению, это долго не понимали даже коллеги-музейщики и многие не хотят принять до сих пор, что литературный музей в корне отличается от всех других музеев. Потому что он рассказывает о духовных процессах, которые чрезвычайно сложно задокументировать и представить в материальных памятниках. В литературном музее, который хочет не просто дать информацию о жизни писателя или фактах литературной жизни, а оставить в памяти посетителя эмоциональный след, очень важен способ подачи материала. Здесь всегда требуется художественное решение, соответствующее теме экспозиции. В литературный музей приходили, приходят и будут

приходить *читатели*. Они или уже прочли книги тех авторов, которые представлены в музее, или намерены прочесть. По крайней мере, у них есть интерес к литературе, к чтению. А, значит, к самопознанию и творчеству. С другой стороны, как раз литературный музей и способен пробудить желание читать и сам интерес к книге и писательскому труду.

Но убеждать вышестоящие инстанции, что надо возможно скорее реконструировать музей, пришлось целых 10 лет. В 1995 году была разработана концепция реконструкции музея. Её поддержала Начальник областного управления культуры и искусства Нина Михайловна Генова. Именно благодаря ей документ ушёл «наверх», и появилось упомянутое выше постановление губернатора. Однако средств на реализацию проекта не было. На протяжении трёх лет мы добивались выполнения задуманного. Были разговоры с вице-губернатором, шли письма в финансовые органы, однажды даже попытались пробиться к самому губернатору Омской области. Позвонил помощнику, чтобы записаться на прием. Меня спрашивают, в чем суть проблемы. Отвечаю. Меня просят изложить вопрос письменно, чтобы его рассмотреть, подготовиться к встрече и назначить время. Излагаю письменно. Отправляю. В результате – едва ли не смешная «отписка»...

Каждый день на протяжении многих лет мучил стыд за состояние музея. Иностранцы, выслушав вдохновенный рассказ, как много мы делаем для сохранения традиции, как заботимся о том, чтобы изучить, собрать и представить в экскурсиях, лекциях и выставках памятники материальной культуры, связанные со становлением и развитием литературных традиций в регионе, поскрипывали полами, смотрели на оклеенные чёрной бумагой или тёмной тканью витрины, на экспонаты, прикрепленные к витринам лапками, вырезанными из обычной консервной банки, выходили из музея, и, глотнув свежего воздуха, вздыхали: «О, Rusha-Rusha...» А нам становилось нестерпимо обидно «за державу»...

С «нашими» приходилось ещё сложнее. С течением времени в музей стали приходиться учителя на организованные Институтом повышения квалификации курсы. В образовании стали понимать, что необходимо воспитывать в людях патриотизм. Причём не только в подростках. Успели окончить школы и вузы люди, вступившие

в зрелый возраст после начала перестройки, в пору, когда расшатанной оказалась иерархия духовных ценностей, когда в юных головах царило «смятение умов»... А без краеведения, в особенности, без литературного краеведения как идеологической составляющей, в работе по воспитанию любви к родному краю не обойтись. Учителя, в отличие от иностранцев, смотрят ТВ и читают газеты. В ту пору один омский телеканал сообщал, как все замечательно и даже превосходно в нашей области, а другой выискивал только негативные моменты. О состоянии культуры говорили сами объекты культуры. Здания разрушались, материальная база практически отсутствовала, ощущался кадровый голод – профессионалы от нищенских зарплат, которые и выплачивали-то с большими задержками, уходили на заработки.

У области же выделились приоритеты. В ту пору решено было, что физическая культура – главное. Потому что «в здоровом теле – здоровый дух». Увы! Культура и образование в ту пору остались за бортом государственной политики. Не отрицал и не отрицаю необходимость физического развития. Спортивные соревнования, кроме заразного призыва последовать примеру мастеров, ещё и красивое зрелище... Но всё это – при условии, что в загоне не окажутся образование и культура! Чтобы взбудораженные болельщики, вырываясь из Дворца спорта, хотя бы не поганили памятные знаки литераторам... Может быть, предполагалось, что, уделяя внимание спорту в ущерб образованию и культуре, легче выпустить из общества накопившийся пар недовольства? Пусть армии болельщиков лущуют друг друга и в избытке чувств оскверняют памятники, лишь бы, подобно бабушкам и дедушкам, не собирались у здания администрации с кастрюльками на головах, требуя повышения пенсий и выплаты зарплат. Какие резоны были тогда у высоких руководителей, кто теперь скажет...

Но сидеть и ждать, когда на музей обратят внимание, мы не могли. Что делать? Мы стали писать о проблемах музея, захватывая шире, в контексте проблемы культуры в целом, публиковали свои статьи в средствах массовой информации. Может, иногда были чересчур резки. Но мы пытались сказать так, чтобы нас *услышали*. Хотелось так сказать, «достучаться до небес»...

Статья о состоянии музея, опубликованная в сентябре 1999 года в «Московском комсомольце» в Омске», называлась «Пасынки власти». Начальник Главного управления культуры и искусства администрации Омской области после её выхода в свет пригласил автора в свой кабинет. Последовал эмоциональный разговор, но «оргвыводов» никто не сделал. В журнале «Омская муза» в 2000 году автор выступил с монологом о культуре под названием «Надо ли стыдиться своего идеализма?» Не опасаясь упреков в нескромности, придётся прибегнуть к самоцитированию. В упомянутой статье были следующие строки:

«Снова отчаянно сетовать на забывость, заброшенность отечественных учреждений культуры на пороге XXI века, на равнодушные к ним властей, отсутствие финансирования? Но, Боже мой! Как же надоели эти безрезультатные и потому просто кликушеские сетования!

Хотя, конечно, не возмущаться нынешним положением дел в культуре может только ленивый. Как легко возвысить свой голос за праведное дело и воскликнуть: сохранение памятников культуры, развитие сети музеев, библиотек, поддержка профессионального и самодельного искусства, организация культурного и творческого обмена – несомненная (и с большим скрипом исполняемая ныне) функция государства! Каждому очевидно, что, бросив учреждения культуры на плечи подвижников, которые в них работают, государство рискует вскоре лишиться и этого, действительно последнего оплота. Подвижники могут многое вынести. Однако им необходимо ощущение своей **призванности**, востребованности. Им необходимо знать, ради какой великой цели они преодолевают материальные трудности, берут на себя повышенную ответственность, сжигают сердца. В конце концов, они ведь служат вовсе не личным интересам, а обществу».

И следом – ещё один фрагмент этой же статьи: «Все громче звучат голоса о том, что, мол, ненормативная лексика – явление в России традиционное. Стало быть, пугаться нечего. Действительно, чего пугаться? Умирание культуры не в войне и не в разрухе происходит незаметно и для общества не больно. Как сказал один персонаж в известном фильме: «...мы тебя не больно зарежем». Культура медленно трансформируется, вырождаясь или мутируя, растворяясь в благодатной обволакивающей «питательной среде»

гнильцы и застоя... Псевдоязык оказывается языком формирующейся новой псевдокультуры. Или же мы присутствуем при рождении нового языка новой культуры?.. И если это действительно происходит, то вполне можно испугаться за судьбу России в XXI веке.

Отовсюду слышатся голоса о проникновении организованных преступных структур во власть (по крайней мере, с мафией шумно и наглядно пытаются бороться **наверху**, об этой борьбе огромными тиражами повествуют красочно изданные бестселлеры и душевраздирающие телесериалы). Однако главные борцы – первые лица в прокуратуре и министерстве юстиции – то и дело оказываются похожи сами на себя в неподобающей для их сана обстановке... Средствами культуры обществу показывают и то, что оно видит постоянно, а также то, о чем оно лишь догадывается. Однако вся эта информация выглядит лишь как констатация существующих обстоятельств. Никто не пытается анализировать ситуацию, говорить о подлинных причинах происходящего, кроме, может быть, только лидеров КПРФ. Да и те умеют лишь повторять заученные слова про «антинародный режим». Никто, кроме самих деятелей культуры, не видит глубинных причин нынешнего общественного кризиса. По-видимому, виновата вовсе не культура. Она-то как раз мобилизует всю свою изношенную материально-техническую базу, весь свой творческий и интеллектуальный потенциал для максимального исполнения свойственных ей функций. Что-то происходит в обществе. Видимо, в связи с меняющейся формацией изменилось представление о том, в чем же эти самые функции культуры состоят...»

Понятно, для вышестоящих инстанций такой тон неприемлем. Равно как и позитивно отреагировать в ответ на критику, высказанную подобным образом, невозможно. Понимая обречённость таких попыток, автор продолжал действовать по принципу «делай, что должно и пусть будет, что будет».

В июне 2003г. появилась статья в двух номерах газеты «Омский домовый» под названием «Последний оплот», где снова «тотально» задевалась политика в области культуры, причём автор называл Омский литературный музей имени Ф.М. Достоевского, несмотря на устарелость его экспозиции и мизерную материальную базу «последним оплотом» культуры в регионе.

Через два дня после выхода статьи директору музея позвонили и сказали, что на музей перечислены деньги. И ещё – что необходимо вылететь в Москву для участия в подписании соглашения об издании Полного собрания сочинений Ф.М. Достоевского. Заседание должно состояться в Государственной Думе Российской Федерации... Перед началом заседания губернатор подошел к директору музея: «Ну что, мы всё правильно делаем?..» – спросил.

За два года до этого события в Омске, благодаря усилиям губернатора был открыт эффектный памятник Ф.М. Достоевскому. Сопоставляя факты, автор упомянутых статей думал: «Может быть, таким образом готовится общественное сознание и благосклонность финансистов к выделению средств на реконструкцию литературного музея? На самом деле, выстраивалась чёткая последовательность – памятник, Собрание сочинений, ну, и наконец, музей... Кроме того, бюджет не резиновый. Есть ещё здание театра драмы, музыкальный театр, театр «Арлекин», другие музеи. Тот же любимчик – музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля...» Автор в ту пору полагал, что губернатор не просто читает упомянутые тексты, а *слышит!* Что диалог меж ним и автором идёт вот таким, опосредованным, способом...

3

Всему конец! Я это знал заранее.
Но проку что в предзнании моем.

Олег Чертов

В начале февраля 2006 года в музей пришла исполняющая обязанности министра культуры Омской области. Сам министр уже пять месяцев отсутствовал на работе. Алла Николаевна сказала, что губернатор поручил ей в нынешнем году осуществить капитальный ремонт музея. Напомню, что шёл уже февраль. И ни в каких планах ни капитальный ремонт, ни разбор, ни создание новой экспозиции обозначены не были. У автора тут же возникли вопросы, и он выложил их сразу же, доказав, что владеет ситуацией и представляет весь объём работ: «А как же музей? Закрывать экспозицию для посетителей? Ведь для замены полов и коммуникаций придётся полностью разобрать экспозицию. Будут ли выделены

средства для создания нового музея? А как быть с художественным проектом? Художника пока нет, а когда он найдётся, ему понадобится время для создания замысла и его проработки».

На эти вопросы ответов не последовало. Директор музея попросил, чтобы учредитель – Министерство культуры Омской области, издало приказ о закрытии музея. Потому что руководство музея не вправе на основании устного распоряжения закрыть учреждение культуры регионального значения. После этого разговора пришлось немедленно поднять тематико-экспозиционный план новой экспозиции и концепцию. Оба документа были написаны в период подготовки к исполнению постановления губернатора 1996 года. Надо было убедиться, не устарели ли они, не требуется ли изменить их в соответствии с требованиями времени. Выяснилось, что, в основном, за некоторыми частностями, и концепция, и ТЭП вполне соответствуют началу нового тысячелетия. Задумывая реконструировать музей, директор исходил из необходимости принципиально изменить видение литературного процесса, а также совершенно иначе взглянуть на творчество Достоевского и на мировоззренческие процессы, которые происходили с ним в Сибири. Писатель в Сибири не только отбывал наказание за участие в деятельности демократического кружка М.В. Петрашевского. Он пересматривал все свои прежние взгляды и убеждения. Будучи с детства глубоко верующим человеком, Достоевский-каторжник испытал глубочайший кризис веры, а вместе с ней и взгляды на российскую государственность. У власти находится государь-император. Он – наместник Бога на земле. И помышлять об изменении государственного устройства простой смертный не вправе. Можно лишь показывать Государю разные теоретические выкладки, а решения он примет сам. . . Выйдя из острога, Достоевский писал о том, что обрёл «осанну», то есть восторженную веру в Бога. Но при этом замечал, что она прошла суровое «горнило испытаний». Значит, при создании проекта художественного оформления музея необходимо главной темой сделать путь от света веры, через мрак неверия и сомнений – к Горнему свету, к Осанне.

Пока искали художника, ТЭП обсуждался на уровне специально созданного экспертного совета Министерства культуры Омской области. Казалось бы, сжатые сроки должны побудить к

созданию творческой группы, которая бы помогла, направила, развила существующие идеи. Но для участия в работе совета подобрали людей, до которых довели позицию министерства. Все высказывания на совете сводились к желанию помочь, потому что представленные документы, де, слабые и устаревшие. Члены совета не приняли идею и концепцию, а вместе с ними и сам ТЭП. Такова была позиция министерства: вытащили, мол, какие-то «замшелые бумажки» и представили их на обсуждение. Один из влиятельных руководителей учреждений культуры говорил, что литературный музей должен сразу же «ошеломить посетителя», чтобы посетитель ходил под впечатлением до конца осмотра. Между прочим, такое, явно спорное мнение о мере воздействия на людей художественными средствами, давно обсуждается в музейных кругах. Например, Музей Владимира Маяковского в Москве – яркий пример такого «ошеломляющего» оформления. Сколько копий сломано в дискуссиях вокруг него. А ведь Музей Маяковского открыт лет 20 тому назад. . . Требование повышенной экспрессивности оформления отдаёт нафталиновой залежалостью. Как будто достали его из бабушкиных сундуков. . . В условиях тотального дефицита времени стиль работы экспертного совета министерства культуры, казались мне непонятными. Где же было взять другую концепцию и ТЭП, когда для написания тематико-экспозиционного плана требуется длительное время, а решение реконструировать музей возникло в начале года?.. Да и при ближайшем, доброжелательном и **ответственном** рассмотрении концепция и ТЭП не просто современны, а обращены в будущее. Забегая вперед, следует сказать, что, хотя ни экспертный совет министерства культуры Омской области, ни само министерство, не утвердили представление ТЭП и концепцию, – экспозицию музея, тем не менее, запланировали именно в соответствии с ними, внеся в качестве коррективы лишь то, что второго здания для разделения экспозиции на две нет, и об истории литературы края придётся рассказывать здесь же. Пришлось «уплотнить» Достоевского на три зала, и в них-то и создать экспозицию «Писатели-омичи». ТЭП для этого раздела написала Ю.П. Зародова, главный хранитель фондов музея.

В начале мая 2006г. министр вышел на работу. Исполняющая обязанности тут же доложила ему о необходимости готовить

реконструкцию музея. В начале июня (!) губернатор лично у министра поинтересовался *ходом* реконструкции музея. Вот тут-то всё и закрутилось. Мгновенно были приняты соответствующие решения. Правда, министр культуры колебался – закрыть ли весь музей, или только «зал Достоевского»? Но, когда выяснилось, что полы надо менять везде, что без разбора экспозиции это невозможно, решили закрыть музей полностью.

Однако немедленно начать работу не пришлось. Не говоря о других препонах, нет проекта реконструкции здания – памятника архитектуры. Что касается «всего остального», то, по новым финансовым условиям, договоры на суммы до 60 тысяч рублей можно заключать, проведя запросы рыночных котировок, а на суммы свыше 250 тысяч – только путём проведения тендерных конкурсов. И если котировки можно провести дней за десять, то на проведение тендерных конкурсов требуется месяц... При этом при подготовке документов необходимо *хотя бы* выполнить описание работ и составить сметы. Организация, которая хочет выиграть конкурс, должна заявить, что она берётся обеспечить работу с указанным качеством по цене, которая окажется самой низкой из всех конкурсантов. Немудрено, что проведение таких конкурсов создает, кроме временных заплотов, ещё и большие риски – ведь выиграть могут и разного рода жулики. Решение выплачивать деньги по факту проблемы не решает, потому что для проведения большинства работ требуется выплата аванса для приобретения материалов. Окажись приобретенные материалы низкого качества – снова проволочка во времени, возврат средств и новые конкурсы...

Наконец, нашёлся художник. Директор сразу же предложил в качестве главного художника проекта Ольгу Петровну Верёвкину. И не потому, что она работает на такой же должности в театре куклы, актёра и маски «Арлекин», а потому, что с её бывшим мужем – Александром Верёвкиным, мы сделали пятнадцать полнометражных выставок. Думалось, она чему-то у Александра научилась. Да и сама она к этому времени стала уже лауреатом премии «Золотая маска», создала музей куклы в своём театре. Но в министерстве культуры пожимали плечами: «Почему Верёвкина? Что, нет других художников?» Предложение было принято в штыхы. Только когда О.П. Верёвкина выиграла тендерный конкурс,

вопросы отпали сами собой. Но Ольга Петровна затребовала... полгода на разработку проекта, и это понятно. Она, как творческий человек, хотела всё обдумать, изучить, войти в тему.

Это ведь не лампу припаять, а воплотить новое видение...

Но времени для того, чтобы действовать, как должно, не было. Мы выполняли спонтанно возникшее решение. И все хорошо понимали, что *высшую волю* не исполнить нельзя... Подключилось министерство, и амбиции художника постепенно микшировались. Мы торопились. Времени катастрофически не хватало. Начинание всё больше напоминало крутейшую авантюру. Ясно было, что в случае неудачи можно ответить головой, а в случае успеха – всё сделало министерство культуры. Начали работать строители. Срочно запустили работы по всем направлениям: демонтаж экспозиции, отбивка штукатурки, работы по электрике и сантехнике, разбор полов, вывоз старой и заказ новой мебели и выставочных витрин, обсуждение планов по постановке специального музейного света.

Ольга Петровна по-прежнему не хотела понимать реалий дня. Она упорно желала делать всё так, как должно. Для успешной работы над проектом ей крайне понадобился художник по свету из Новосибирска, без которого работать невозможно. Он единственный специалист...

Всё понятно – но вызвать человека, значит оплатить ему дорогу, выплатить аванс. А из каких средств?.. Художника Верёвкину это не интересовало. А министерство отмахивалось: вам выделены средства, вот и расходуйте. Не на те статьи? Ну и что. Ищите способы...

И всё же мы старались все вопросы решать, насколько это возможно, дипломатично, убеждать и доказывать, зная, что «давить» и требовать что-либо от художника бесполезно. Удалось с О.П. Верёвкиной на основании нашего ТЭПа осуществить полную раскладку экспонатов по всему музею, кроме раздела об истории литературы края. Художника вдохновила наша идея «дороги от света к свету». Мы рассказали ей своё художественное видение каждого раздела, какое эмоциональное впечатление должно преобладать в каждом из них. Мы проработали каждый зал, каждую витрину, сделали расклейку ксерокопий фотографий и документов

в тех местах, где они и должны были быть. Разместили на монтажных листах указанные в ТЭПе тексты на соответствующие места.

Но ни завершить капитальный ремонт, ни реализовать экспозиционные замыслы не удалось.

4

Сентябрь я не разглядел в окно.
А он стоит, листву сухую курит,
Над головой туманный зонтик крутит
И пальцем тормозит веретено.
А там, в саду, где сыро и темно,
Стоит Судьба, в руке сжимая прутик...
И скрыться от удара не дано.

Олег Чертов. Сентябрь

Последние два года музей курировала главный специалист министерства культуры. Сразу же стало ясно, что никакие объяснения причин мелких недочётов и «человеческий» подход здесь не будут учтены. «Вы для меня не человек – Вы – функция!» – подобные заявления неоднократно приходилось слышать в ответ. Недоработки у нас, конечно, были. Но многим из них мы находили вполне объективные объяснения. У директора, в отличие от всех других музейных руководителей, не было ни одного заместителя – ни по хозяйству, ни по науке. И если удавалось лучше других решать проблемы литературного краеведения, читать лекции и проводить экскурсии, писать книги и выстраивать работу в коллективе, то наверняка приходилось отставать в чём-то другом. Идеал, как известно, недостижим, а «короля делает свита». На нашенькую же зарплату как подобрать инициативных людей – от бухгалтерии до хозяйственной части? Надо уметь думать и принимать решения самостоятельно... К тому же – не ошибается лишь тот, кто ничего не делает...

Три года тому назад с неохраняемой территории музея исчез... металлический забор. Кирпичные столбики лежали параллельно друг другу на земле, а металлической ограды не было. Справа в двадцати метрах от этого места возвышалась стрела подъёмного крана. Шло строительство «здания для представительских целей».

Пришлось вызвать милицию. Приехала следственная бригада. Возбудили уголовное дело. Летом 2006 последовал наш запрос в УВД-2 Центрального округа г. Омска. В письменном ответе говорилось, что дело, действительно, было возбуждено, но потом прекращено, так как виновный не найден.

«А вот если бы я была директором музея, – неоднократно заявляла куратор, – у меня бы забор не украли!» Приходилось терпеть. В период начала капитального ремонта куратора прочно прикрепили к музею. Отныне она стала вести строительные планерки. Действительно, у неё имелся большой опыт административной и хозяйственной работы, в том числе и со строителями. К тому же большую роль играли «корочки» – она представляла министерство, и руководители строительных фирм понимали, что их запросто могут внести в чёрный список, и тогда в будущем выгодных подрядов им не видать. Поэтому все слушали, что говорит она, и мало обращали внимания на директора музея. Постепенно без ведома куратора уже нельзя было потратить ни рубля. Куратор вмешивалась и в работу с художником. Рекомендовала Верёвкиной звонить ей на сотовый или домой и консультироваться по всем вопросам... Теперь директор был виноват уже во всём – то дворник не так подмёл дорожку, то техничка вовремя не вымыла пол, сотрудники «неизвестно чем занимаются»... Разговоры куратора с директором проходили в тональности, отмеченной вечным классиком: «фельдфебеля в Вольтеры дам»...

В середине августа 2006 года музей посетил лично министр культуры Омской области в сопровождении своего заместителя и, разумеется, нашего куратора. Строители получили разнос за медленную работу – в разговоре улавливались те же интонации, с которыми обращалась куратор к директору музея.

В отдельном кабинете, на протяжении полутора часов высокая комиссия высказывала руководству музея всевозможные претензии. Не забыт был и злополучный забор. Сказано было даже, что директор музея «проигнорировал выход Полного собрания сочинений Достоевского. Не провёл в музее ни одной презентации». На попытки возразить, что именно директор музея выступал в Гос. Думе на подписании договора, то есть стоял у

истоков, что написал статью и комментарии к третьему тому, министр заявил, что это его личная заслуга. Что это он отправил директора в Москву и дал возможность участвовать в издании. Было, среди прочих, высказано обвинение, что на протяжении всех лет работы в музее руководитель себе имя делал... Только вот, спрашивается, как это директор ухитрился сам себе присвоить звание заслуженного работника культуры России? Сам себя принял в Союз российских писателей и избрал профессором Российской академии естествознания. И не Министерство ли культуры весной 2006 вручило ему памятную медаль «К 100-летию М.А. Шолохова», на аверсе которой выбито «За гуманизм и служение России»?.. Не пришлось директору в том разговоре напомнить, что презентаций в музее не было «по объективным причинам»: когда вышли первые тома, приглашённая для обсуждения проведения презентаций в музее куратор пришла, огляделась и категорически заявила, что в музее темно и мало места. А для подобных презентаций нужен размах.

Хотя ни за одно из этих, и других предъявленных «обвинений» с работы не снимают, директор, имея немалый опыт работы руководителем, понимал, что такие «наезды» просто так не случаются, и прямо спросил министра, что означает вышесказанное? Надо понимать, меня от работы отстраняют? Ответ был неоднозначный: садясь в машину, уже более миролюбиво, с сознанием выполненного долга, министр добавил: «Мы с Вами всё равно будем сотрудничать. Не в этом, так в ином качестве»...

Друзья, с которыми довелось всё же посоветоваться, предлагали не делать резких шагов, перетерпеть. Но директор музея на следующий же день написал заявление об уходе. Было это 16 августа, а уже 21 числа он был освобожден от занимаемой должности и уволен «по собственному желанию».

Выходило, что руководитель уходит в разгар стройки, реконструкции. Бежит с корабля! Теперь в случае провала всегда можно сказать, что Вайнермана уволили даже с опережением. Была ему предложена «почётная отставка» – должность заместителя директора по научной работе здесь же в музее. Руководители министерства оказались неплохими психологами. Но директор 30 лет был в музее на первых ролях, и вдруг отойти на второй

план, да ещё в разгар таких событий означало расписаться в своём бессилии как руководителя. «Этой должности сейчас в штате музея нет, – настойчиво твердили заместители министра культуры. – Но если Вы соглашаетесь, такую должность немедленно создают специально под Вас». Пришлось здраво обдумать ситуацию. С чего это вдруг проявлено такое резкое внимание к музею и к Достоевскому? Не потому ли, что впереди – выборы. Достоевский – православный писатель.

Недавно губернатор в одном из телевизионных интервью сказал, что у нас ищут национальную идею, а её искать не надо. Она уже есть. Это – православие.

Но – вложить крупные деньги в создание практически нового *идеологического* музея, в большей своей части рассказывающего о Достоевском, и оставить директором лицо еврейской национальности?.. Тут же вспомнилось, как один из «доброжелателей» передавал, что некий владыка проявлял недовольство тем, как трактуется в музее тема «Достоевский и православие».

К тому же директор – ершист, неудобен, собственное мнение, мало того что имеет, но не держит его при себе, устно и печатно высказывает... Значит, и в заместителях директора по научной работе при такой конъюнктуре он пробыл бы недолго. К его научным изысканиям, замешанным на «неправильной» основе, легко будет придаться. К тому же ещё неизвестно, кто будет директором музея. Если наш куратор, – то и дня не проработать. Следовательно, надо уходить совсем и сразу. И лучше с должности директора, чем постепенно спускаясь в никуда по предусмотрительно выстроенным свыше ступенькам.

Автор этого очерка до сих пор, хотя прошло уже довольно много времени с момента увольнения, ни разу не был там, где проработал почти 30 лет. Знакомые, побывавшие в музее, удивляются. Прежняя экспозиция была «подписана». Прямо у входа указывалось, кто её авторы. Сейчас этого нет. Равно как и нет раздела о тех, кто создавал музей и кто работал здесь много лет, сохраняя музей для потомков, удерживал его на плаву в самые трудные годы... Политика, что делать... Даже имени «подозрительного» не должно быть рядом со светлыми именами

Достоевского и высоких лиц, что выделили средства и вообще так много сделали и делают для культуры...

Иногда по ТВ показывают репортажи из музея. Бывший директор вглядывается в экран и понимает, что, в основном, его концепция развития музея и написанный им ТЭП воплощены в жизнь. В музее стало светло, представлены материалы, позволяющие по-новому взглянуть на мировоззренческие искания Ф.М. Достоевского. Как и было задумано, создан многофункциональный зал, в котором есть сцена и театральные кресла. В нём можно проводить и конференции, и кинопоказы, и спектакли. Здесь пройдёт множество встреч с писателями, актерами и другими мастерами искусств. А что всё это будет проходить без автора – так что ж...

Когда колокол отлит, каждому, кто его слышит, важно, чтобы малиновый звон разливался и проникал в сердце. И какая разница, как звали мастера, вложившего в него свою душу...

Статья «Последний оплот» заканчивалась такими словами:

«Мне не жаль ни себя самого, ни всех усилий, потраченных за годы работы в музее. Жаль Дома, жаль Делю. Жаль, что они стали заложниками конкретных людей, по-своему трактующих требования Времени. Маленькая надежда всё ещё теплится, что и после тебя, и без тебя, всё-таки сделают **как надо** – в Доме после капитального ремонта будет новая, продуманная и хорошо оформленная музейная экспозиция, будет, как и предполагается, выставочный и лекционный залы. Что «ведение краем», «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам» станет основой, на которой будет формироваться человек.

А без надежды как жить?»

...Убитый в подъезде собственного дома Олег Чертов как-то заметил: «Вообще большие поэты (Пастернак, Ахматова) предостерегали от стихов – они настолько (если настоящие) вмешиваются в судьбу, могут даже изменить судьбы мира, что страшно писать. Всё сбывается. Убеждаюсь на самом себе. Это своеобразное демиургическое искушение».

Как видим, сбываются не только поэтические пророчества...

Декабрь 2006г.

КАК ЭТО БЫЛО

(к 10-летию экспозиции новокузнецкого музея Достоевского)

От составителей



Открывающем эту рубрику материале Ксении Тилло приведены убедительные параллели в биографии двух как бы дополняющих друг друга музеев Достоевского – омского и новокузнецкого. О трудностях создания омской экспозиции обстоятельно рассказал экс-директор *Виктор Вайнерман*. Изложенные факты всколыхнули в памяти события середины 90-х, касающиеся реставрации и создания экспозиции в новокузнецком музее, с которыми, тем не менее, считаем не лишним ознакомить читателей. Удивляет сходность судеб упомянутых двух музеев. Из нижеприведенного фрагмента очерка «Охрана памятников и странности культурного климата провинции», опубликованного кемеровской *«Нашей газетой»* 4 июля 1995 года, видно, что реставрация Дома Достоевского в Новокузнецке и создание там экспозиции давались куда труднее, чем это происходило в Омске. И, тем не менее, хорошо то, что хорошо кончается. Притом, что хорошие «концовки» случаются чаще всего тогда, когда, казалось бы, сугубо местное мероприятие поднимается до уровня всероссийской акции, далеко выходящей за рамки региона. Похоже, что сколь бы ни были велики усилия, затраченные на осуществление культурного проекта, они обречены на непреодолимые неувязки, которых можно бы избежать только при привлечении к проекту широкой общественности. Думается, именно в этом и состоит урок «Омской Голгофы».

Итак, – из газетного номера двенадцатилетней давности:

Охрана памятников и странности культурного климата провинции

Во всем мире именно по состоянию памятников судят о культурном уровне страны и о «культурном климате», который окружает человека с самого рождения. Поэтому любой разговор об охране памятников и о роли Общества, наделённого функциями такой охраны, выходит далеко за рамки того или иного памятного

здания. К истории реставрации новокузнецкого Дома Достоевского, например, мы вынуждены обратиться здесь лишь для конкретизации разговора...

Итак, в 1993г. финансирование реставрационных работ в новокузнецком Доме Достоевского неожиданно прекратилось. Как уже писала газета, к осени 1994г. Дом представлял собою печальное подобие сруба, снабженного крышей, что вызывало далеко неоднозначную реакцию в чиновных и общественных кругах.

Поскольку Дому грозила явно непоправимая судьба, директору музея Достоевского и общественности, тесно связанной с областным отделением ВООПИК, пришлось обратиться непосредственно в Министерство культуры и даже в международное Общество достоевсковедов с призывом ко всем заинтересованным лицам и организациям выступить в преддверии 175-летнего юбилея великого писателя (1996г.) с согласованной программой, которая решила бы, наконец, проблему самого существования Дома Достоевского как памятника. Такая акция, несомненно, могла намного повысить культурный рейтинг Кузбасса.

Заранее предсказуемо, что наши «культурные власти» вправе обидеться и перечислить множество организованных ими серьёзных мероприятий, действительно делающих честь Кузбассу. Это и открытие новых музеев, проведение солидных конференций, организация выставок, поездки юных дарований за рубеж с концертами и иными свидетельствами их талантов; это конкурсы детского творчества – в нынешнем году одних фестивалей, конкурсов и концертов пройдёт более 60; это и интенсивная музыкальная и театральная жизнь области. Всё сказанное справедливо отражено в планах и отчётах Департамента культуры, которыми можно только гордиться. Но – точно так, как для будней требуется «хлеб насущный», а воздушные торты предназначены для праздников, также и ипостаси культуры проявляются двояко: существует, условно говоря, культура «парадная». Увы, – это та, что с десятков лет назад подразумевала «культурные десанты» заезжих знаменитостей, отражённые в тогдашних адресованных «ввысь» отчётах: «все звёзды были нынче к нам». Чтобы, конечно же, «превратить Сибирь в край высокой культуры». К счастью, сейчас эта формулировка, не очень лестная для Сибири, более не звучит.

И – есть иная форма культуры, куда менее бросакая. Та, что составляет «культурный климат» любой страны, – особенно важный для так называемой провинции. Это то духовное пространство, в котором с первых дней жизни возвращается уроженец города или региона, навсегда сохраняя особый его отпечаток. Когда-то это называлось любовью к «малой Родине».

В Кузбассе с «парадной культурой», судя по программам и отчётам, всё – на весьма высоком уровне. С духовным пространством в течение десятилетий – увы...

Вернёмся, для примера, именно к Дому Достоевского. Нигде в России или ближнем зарубежье (Москва, Петербург, Старая Русса, Омск, Семипалатинск) места пребывания Достоевского не оказались в такой вопиющей запущенности, как у нас. Вполне очевидно, что требуются чрезвычайные меры. Частично они уже принимаются. Так, например, в число приоритетно-реставрируемых 3-х памятников Кузбасса попал и новокузнецкий музей Достоевского. А Департаментом культуры у московских специалистов заказана организация архитектурной зоны Старокузнецка, в том числе и зоны Дома Достоевского.

Сама идея юбилейной программы, включающей в первую очередь реставрацию памятника и создание достойной его окружающей зоны, построение экспозиции, проведение международной конференции достоевсковедов в Новокузнецке, а также издание солидных книг на архивных материалах о пребывании Достоевского в Кузнецке и об отражении этого периода жизни во всём его дальнейшем творчестве, обсуждалась, по инициативе дирекции Дома-Музея Достоевского, на различных уровнях.

Результаты нелюбимого анализа обстановки сказались на деле своеобразно. За обращением дирекции новокузнецкого Дома-Музея Достоевского в администрацию области последовало устное обещание губернатора «помочь и разобраться». И, – бываю же совпадения! – почти одновременно состоялся визит известного политика и режиссёра Станислава Говорухина в Кузбасс, и начал он этот визит именно с посещения Дома Достоевского. Полученные им далеко не радужные впечатления прозвучали с телеэкранов. Но к этому времени губернатор Михаил Кислюк как раз успел подписать распоряжение о выделении 50 млн. рублей

на первый тур реставрации, о чём широко оповещала пресса, поскольку дело сдвинулось, наконец, с мёртвой точки.

Усилия дирекции музея Достоевского и общественности, в тесном контакте с областным отделением ВООПИК, также принесли плоды – Министерство культуры выделило на реставрацию ещё 180 млн. руб. Предыстория этого финансирования небезынтересна: ещё в ноябре 1994г. директор новокузнецкого музея Достоевского узнала в Министерстве культуры, что чуть не с 1992 по 1995гг. областной комитет по культуре не включал в программы финансирования реставрации памятников федерального (ранее республиканского) значения Дом Достоевского. Возможно, именно потому, что по недавно звучавшим утверждениям, «в результате реставрации Дом Достоевского утратил свою мемориальность», – о чём также сообщала газета.

[Абсурд – иначе не скажешь! Однако об «утрате памятником мемориальности», которая якобы произошла в результате реставрации, с полной убеждённостью говорили тогдашние ответственные лица. Кроме того, они предлагали лишить музей Достоевского самостоятельного статуса, который был получен в 1991 году, и настаивали на возобновлении подчиненности музея Достоевского городскому краеведческому музею. Чтобы нейтрализовать эти инициативы, потребовалась разъяснительная работа в печати, одна из статей появилась в «Нашей газете» 28 января 1995г., – *сост.*].

Но директор музея Достоевского буквально «выплакала» дополнительные средства, и – удивительно! – именно Министерство культуры само напомнило областному Департаменту культуры о доме великого писателя и в специальном письме предложило включить его в программу реставрации, предложенную на 1995г. Комитетом, переименованным сейчас в Департамент.

На просьбу о помощи дирекции музея Достоевского и общественности отреагировало и Законодательное собрание Кузбасса. Его председатель А.Г. Тулеев направил письмо заместителю председателя правительства Российской Федерации Ярову, в котором настаивал на включении Дома Достоевского в список особо ценных охраняемых объектов народов Российской Федерации, а председатель соответствующего комитета ЗС И.В. Ковтун в письме к

директору музея Достоевского подтвердил полную готовность оказать содействие в оформлении нужных для этого документов и, надо отметить, пристально следит за судьбой названного объекта, вопреки нередко звучащему мнению, что, де, сначала – реставрация, а уж потом – «особая охрана». Как будто одно другому – помеха...

Вот так, парадоксально, «культурный климат», одним из важных полюсов коего является новокузнецкий Дом Достоевского, объединил, хотя бы на время, усилия политически несогласующихся направлений, чего десанты парадной культуры сделать не в силах...

Итак, – масштабная межрегиональная акция затронула музей Достоевского, Министерство культуры, Всероссийское Общество охраны памятников, Законодательное собрание Кемеровской области, её администрацию и Правительство РФ. Успех её, столь драматично начатой, ввиду незначительности разбазаренных средств во время первого этапа реставрации новокузнецкого Дома, но удачно выправляющейся – уже отпущены немалые суммы на её продолжение и активно ведутся реставрационные работы под надзором городской новокузнецкой администрации – зависит во многом от того, насколько учтены будут уроки двухлетней давности, когда работы на Доме были неожиданно законсервированы. Уроки эти не уместаются в рамки тривиального объяснения: «нехватка средств», а подводят к необходимости более глубокого осмысления охраны памятников Кузбасса вообще.

Изложенное выше касается периода «семи нянек», когда судьбой памятников занимались одновременно то тогдашний областной Комитет по культуре, то тогдашние администрация и отдел культуры Новокузнецка. В частности, получилось, что чрезмерная доверчивость новокузнецкого отдела культуры в период процветания фирмы «Приско», на первом этапе реставрации Дома, приходится оплачивать теперь из средств Министерства культуры, добытых с таким трудом и рассчитанных отнюдь не на переделку ранее допущенного 50-процентного брака, а на завершение реставрации многострадального Дома, что под эгидой сегодняшней администрации и нынешней озабоченности отдела культуры, вполне реально.

Возможно, читатель удивится: к чему поминать старые грехи – «хорошо то, что хорошо кончается», и нынешнее положение вещей сулит только наилучшие перспективы.

Напомним: речь о памятниках. В том их и назначение, чтобы всё, с ними связанное, сколь давно бы ни произошло, тревожило память и будоражило совесть, излечивая от спасительной забывчивости...

Светлана Ананьева

ВРЕМЯ – ПРОСТРАНСТВО – АВТОР
(Продолжение. Начало см. «ГС» №4)

**ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВРЕМЯ И РАЗВИТИЕ
СЮЖЕТА В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» И «ПИКОВОЙ ДАМЕ»**
А.С. ПУШКИНА

Исследователи-литературоведы всего мира словно соревнуются, «кто сумеет все-таки разгадать тайну Достоевского, предложив свой, нехоженый путь к постижению его творчества» [44, с.334]. В последнее десятилетие XX века появился ряд интересных работ о прозе Ф.М. Достоевского, автор или авторы каждой из которых стремятся сказать свое слово о самом загадочном русском писателе XIX века [45].

М.М. Бахтин, занимаясь вопросами поэтики Достоевского, обратил внимание на художественную специфику карнавализованного времени в его романах. «Те события на пороге или на площади, которые изображал Достоевский, с их внутренним, глубинным смыслом, такие герои его, как Раскольников, Мышкин, Ставрогин, Иван Карамазов, не могли быть раскрыты в обычном биографическом и историческом времени. Да и сама полифония, как событие взаимодействия полноправных и внутренне не завершенных сознаний, требует иной художественной концепции времени и пространства, употребляя выражение самого Достоевского, “неэвклидовой концепции”» [34, с.303].

М.М. Бахтин затронул вопрос о совмещении в произведениях писателя образов космического времени и пространства с

современностью. О времени в романе «Братья Карамазовы» ученый писал следующее: «Космические величины перемешаны здесь с элементами ближайшей современности (“актер Горбунов”) и с комнатно-бытовыми подробностями, – все это органически сочетается в условиях карнавального времени» [34, с.305].

Так возникает у М.М. Бахтина понимание своеобразной совмещенности разновременных эквивалентов в едином художественном времени Достоевского. И эта совмещенность оказывается необходимым структурным принципом, диктуемым самим содержанием его романов, их психологической глубиной и сложностью.

Поэтому вряд ли можно согласиться с теми исследователями, которые понимали М.М. Бахтина узко, считая, что «он запирает роман Достоевского в рамку настоящего. Между тем настоящее для писателя – условие задачи, подлежащей решению. Куда двинется и к чему придет настоящее, куда двинется и к чему придет человек – вот главный вопрос Достоевского» [33, с.183].

На самом же деле М.М. Бахтин, говоря о связи прошедшего с настоящим и будущим, выделял структурные моменты видения времени, называя их «моментом существенной связи прошлого с настоящим, моментом необходимости прошлого и необходимости его места в линии непрерывного развития, моментом творческой действительности прошлого и, наконец, моментом связи прошлого и настоящего с необходимым будущим» [46, с.183].

Эти плодотворные мысли были, к сожалению, М. Бахтиным более выдвинуты как гипотезы, нежели доказаны на рассмотрении конкретного материала. Кроме трудов М. Бахтина имеются, в сущности, лишь отдельные высказывания и замечания. Предлагаемый раздел содержит аналитические наблюдения над текстом романа Достоевского «Братья Карамазовы» с целью уяснения важнейших закономерностей и направлений в развитии художественного времени этого произведения.

М. Бахтин указывал на три момента связи прошедшего с настоящим и будущим, которые нашли отражение в нашей работе.

Д.С. Лихачева интересуется использованием у Достоевского некоторых древнерусских принципов изображения времени. Если ближайшие предшественники и современники изображали время с одной, неподвижной точки зрения, то повествователь у

Достоевского бегают по городу, разузнает о случившемся. И если «каждая летопись составлялась сводчиками из многих летописей», то у Достоевского это сознательный прием. «У Достоевского летописное время, – делает вывод Д.С. Лихачев, – художественный способ изображения мира, он воссоздает его искусственно, как художник, изображает самое это летописное время, создавая образ хроникера, летописца» [13, с.363].

Д.С. Лихачев затрагивает и такой вопрос как соотношение прошлого и настоящего в художественном времени писателя. Достоевский в погоне за временем, но не за утраченным временем, как впоследствии у М. Пруста, которое было когда-то, прошло и теперь вспоминается, а за настоящим, за совершающимся. То, о чем пишет Достоевский, – все это еще не остывшее прошлое, прошлое, не переставшее быть настоящим» [13, с.361].

Полезные замечания встречаются и в статье Ж. Кокто «Пространство и время в романах Достоевского», автор которой выделяет две формы времени: «время, “прожитое изнутри” и время, создаваемое автором... то, что обычно называют ритмом» [47, с.43]. Достоевский желает «ухватить тот особый момент, который находится между настоящим и будущим, момент, когда будущее еще борется с прошлым и когда героя манит новая мысль и новый свободный акт, возможность наконец-то схватить этот свободный акт во взрыве изменчивости» (Там же).

Вопрос о соотношении истории и современности затрагивается в исследованиях Г.М. Фридлендера. Отмечается, в частности, что герои Достоевского «думают, чувствуют, страдают и борются не только за себя лично и даже не столько за интересы своего времени. Их мысль как бы подводит итог всей человеческой истории, “включает ее в себя в снятом виде”» [43, с.134]. Но в целом, Г.М. Фридлендера более интересует соотношение истории и современности не столько в жизни героев Достоевского, сколько соотношение прошедшего и настоящего истории культуры. Такое понимание соотношения истории и современности, прошлого, настоящего и будущего делает современность в романах Достоевского «открытой для включения в нее тем, образов, сюжетов прошлой истории культуры, литературы, искусства. И вместе с тем оно делает героев Достоевского обращенными не только к прошлому, но и к

будущему, истоки которого, по мысли русского романиста, заложены в настоящем, так же как искания его героев уходят своими корнями в прошлые пласты человеческой истории и культуры» [43, с.135].

В последние годы активизировалось внимание зарубежных исследователей к творчеству Достоевского. Для нас представляют определенный интерес монографии, изданные в США и Англии [48]. Так, Томпсон Д. в своем научном труде «“Братья Карамазовы” и поэтика памяти» высказывает точку зрения на то, что «роман “помнит” художественные памятники прошлого, вступая с ними в новый диалог. А, следовательно, он связывает весь роман с миром коллективного воображения европейской цивилизации» [49, с.27]. Что касается проблем художественного времени, то автор данной монографии уверен, что роман, по свидетельству рассказчика, произошел 13 лет назад: «Рассказчик ведет свое повествование по происшествии долгого времени». Роман в целом был задуман как мемуары.

Память, по мнению В. Кантор, «основа высшего художественного восприятия мира в “Братьях Карамазовых”» [44, с.335]. Реминасценции из Библии, Шекспира, Шиллера, Пушкина, народных апокрифов буквально переполняют последний роман Достоевского.

Установка на совмещение прошедшего, настоящего и будущего в художественном времени романа «Братья Карамазовы» подчеркнута декларируется в начале романа самим Достоевским как структурный принцип повествования: «Главный роман второй – это деятельность моего героя уже в наше время, именно в наш теперешний текущий момент. Первый же роман произошел еще 13 лет назад и есть почти даже не роман, а лишь один момент из первой юности моего героя. Обойтись мне без этого первого романа невозможно, потому что многое во втором романе стало бы непонятным».

Возбуждение героев Достоевского на грани истерики не всегда вызвано одним только настоящим. Настоящее – часто повод для воскрешения прошедшего, а прошедшее предстает таким живым, кровоточащим, будто свершается сейчас, на самом деле. Писатель усиливает прошедшим настоящее, подключает прошедшее

к настоящему и таким способом глубже открывает все то, что у его героев наболело.

Рассмотрим некоторые случаи совмещения прошедшего и настоящего в романе.

Воспоминаниями отца о матери Алёши вызван припадок младшего сына. Перед героями так ясно встает прошедшее, что оно смешивается с настоящим, и для старшего Карамазова они словно переплетены и перепутаны. «Старик вскочил в испуге. Алеша с самого того времени, как он заговорил о его матери, мало-помалу стал изменяться в лице. Он покраснел, глаза его загорелись, губы вздрогнули. Пьяный старикашка брызгался слюной и ничего не замечал до той самой минуты, когда с Алешей вдруг произошло нечто очень странное, а именно: с ним вдруг повторилось точь-в-точь то же самое, что сейчас только он рассказал про “кликнушу”. Алеша вдруг вскочил из-за стола, точь-в-точь как по рассказу мать его, всплеснул руками, потом закрыл ими лицо, упал как подкошенный на стул и так и затрясся вдруг весь от истерического припадка внезапных, сотрясающих его и неслышных слез. Необычайное сходство с матерью особенно поразило старика.

– Иван! Иван! Скорей ему воды. Это как она, точь-в-точь как она, как тогда его мать! Вспрысни его изо рта водой, я так с той делал. Это он за мать свою, за мать свою... – бормотал он Ивану».

В минуты наивысшего душевного подъема Федор Павлович раскрывает Алеше свои мысли. В его рассказе-исповеди сталкиваются разные пласты времени. «Иван ушел, – сказал он вдруг, – он у Митьки изо всех сил невесту его отбивает, для того здесь и живет, – прибавил он злобно и, скривив рот, посмотрел на Алешу». «Не зарезать же меня тайком и он приехал сюда? Для чего-нибудь да приехал же?» – размышляет Федор Павлович.

Достоевский подчеркивает, что Федор Павлович понимает цель приезда Ивана, причем, по мнению С. Ломинадзе, «иные суждения Ивана родственны мыслям и сомнениям самого Достоевского» [50, с.40]. «Зачем он (Иван – С.А.) не говорит со мной? А и говорит, так ломается: подлец твой Иван! Я на Грушке сейчас же женюсь, только захочу. Потому что с деньгами стоит только захотеть-с, Алексей Федорович, все и будет. Вот Иван-то этого самого и боится и сторожит меня, чтобы не женился, а для этого наталкивает

Митьку, чтобы тот на Грушке женился: таким образом хочет и меня от Грушки уберечь (будто бы я ему денег оставлю, если на Грушке женюсь!), а с другой стороны, если Митька на Грушке женится, то Иван его невесту богатую себе возьмет, вот у него расчет какой! Подлец твой Иван!»

Прошедшее неотступно преследует героев романа. Не ждал Грушеньку Федор Павлович, «и вдруг известие, что она здесь, разом вывело его из ума. Он весь дрожал, он как бы обезумел». Мотив страха переходит в мотив прогрессирующего безумия.

И наконец, Дмитрий Федорович в разговоре с Алешей восстанавливает прошедшее. Этой цели служит микродиалог.

«– Алексей! Скажи ты мне один, тебе одному поверю: была здесь сейчас она или не была? Я ее сам видел, как она сейчас мимо плетня из переулка в эту сторону проскользнула. Я крикнул, она убежала...»

– Клянусь тебе, она здесь не была, и никто здесь не ждал ее вовсе!

– Но я ее видел... Стало быть она... Я узнаю сейчас, где она... Прощай, Алексей!»

После ухода Дмитрия братья анализируют настоящее. Иван прогнозирует будущее.

«– Черт возьми, если б я не оторвал его, пожалуй он бы так и убил. Много ли надо Эзопу? – прошептал Иван Федорович Алеше.

– Боже сохрани! – воскликнул Алёша.

– А зачем сохрани? – всё тем же шёпотом продолжал Иван, злобно скривив лицо.

– Один гад съест другую гадину, обоим туда и дорога!

Алеша вздрогнул».

Достоевский дает анализ всего прошедшего, которого его герои страшатся.

Будущее у Достоевского, наряду с прошедшим, врывается в настоящее. Своеобразная «дуэль» Грушеньки и Катерины Ивановны – один из примеров. Ясная веселость одной из героинь обманчива, так же как и обманчиво желание «сквитаться» поцелуями. «“Она, может быть, слишком наивна”, – промелькнуло надеждой в сердце Катерины Ивановны. Грушенька меж тем как

бы в восхищении от «милой ручки» медленно поднимала ее к губам своим. Но у самых губ она вдруг ручку задержала на два, на три мгновения, как бы раздумывая о чем-то.

– А знаете что, ангел барышня, – вдруг протянула она самым уже нежным и слащавейшим голоском, – знаете что, возьму я вашу ручку и не поцелую.

И она засмеялась маленьким развеселым смешком».

Нередко герой Достоевского сам предсказывает свой будущий поступок, но очень хочет, чтобы думали о нем лучше, несмотря на его действия. Дмитрий Федорович обращается к Алеше, олицетворяющему совесть всей семьи: «Ты уже знаешь меня: подлец, подлец признанный! Но знай, чтобы я ни сделал прежде, теперь или впереди, – ничто, ничто не может сравниться в подлости с тем бесчестьем, которое именно теперь, именно в эту минуту нашу вот здесь на груди моей, вот тут, тут, которое действует и совершается и который я полный хозяин остановить, могу остановить или совершить, заметь это себе! Ну так знай же, что я его совершу, а не остановлю».

Прошедшее давит на героев Достоевского, это ощущается почти физически. «Штабс-капитан быстрым жестом схватил порожний стул (простой мужицкий, весь деревянный и ничем не обитый) и поставил его чуть не посредине комнаты; затем, схватив другой такой же стул для себя, сел напротив Алеши, по-прежнему к нему в упор и так, что колени их почти соприкасались вместе».

Но вот воспоминание о прошедшем, о самом неприятном в этом прошедшем – и меняется само состояние героя. «Какой же это встречи-с? Это уж не той ли самой-с? Значит, насчет мочалки, банной мочалки? – надвинулся он вдруг так, что в этот раз положительно стукнулся коленками в Алешу. Губы его как-то сжались в ниточку».

Прошлое держит героев в своих объятьях, не отпуская даже по происшествии времени: «Поблагодарите вашего братца, Алексей Федорович. Нет-с, я моего мальчика для вашего удовлетворения не высеку-с! – Кончил он опять со своим давешним злым и юродивым вывертом».

Прошлое словно диктует героям, как вести себя, предопределяет их поступки в настоящем, хотя они и не сознают даже себе

в этом. Высшая степень душевного напряжения персонажей накладывает своеобразный отпечаток на их речь и на весь диалог. «Алексей Федорович... я... вы... – бормотал и срывался штабс-капитан, странно и дико смотря на него в упор с видом решившегося полететь с горы, и в то же время губами как бы и улыбаясь, – я-с... вы-с... А не хотите ли, я вам один фокусик сейчас покажусь! – вдруг прошептал он быстрым, твердым шепотом, речь уже не срывалась более».

Итак, пока герой внутренне принимает решение, он и говорит неуверенно «бормотал», «срывался», даже внешний вид его напоминает человека, готового «полететь с горы», тогда его ничего не остановит. Но когда персонаж решение принимает, даже шепот его, оставаясь «быстрым» (волнение еще определяет его поведение – С.А.), становится уже «твердым» и «речь уже не срывалась более».

Описание поступка у Достоевского всегда продиктовано внутренней логикой. И все-таки он неожиданен. Штабс-капитан, «вдруг подняв вверх кулак, со всего размаху бросил обе смятые кредитки на песок». Он сам объясняет свой поступок: «А что ж бы я моему мальчику-то сказал, если б у вас деньги за позор наш взял? – и, проговорив это, бросился бежать, на сей раз уже не оборачиваясь». Поступок штабс-капитана дан через восприятие Алеши, который «глядел ему вслед с невыразимой грустью. О, он понимал, что тот до самого последнего мгновения сам не знал, что скомкает и швырнет кредитку». Может быть, не знал герой, но знал автор.

Сам Алеша для братьев словно связующее звено между прошедшим и настоящим.

«– Не видал сегодня Дмитрия?»

– Нет, не видал, но Смердякова видел. – И Алеша рассказал брату наскоро и подробно о своей встрече с Смердяковым. Иван стал вдруг очень озабоченно слушать, кое-что даже переспросил.

– Только он просил меня брату Дмитрию не рассказывать о том, что он о нем говорил, – прибавил Алеша.

Иван нахмурился и задумался». Идет напряженная работа мысли.

Алеша уточняет: «Ты это из-за Смердякова нахмурился?...

– Да, из-за него. К черту его, Дмитрия я действительно хотел бы видеть, но теперь не надо... – неохотно проговорил Иван».

Иван со Смердяковым лучше понимают друг друга, потому что их объединяет будущее. Художественное время и время астрономическое делятся в следующем примере одинаково долго. «Наступило опять молчание. (Значит, оно было и до этого – С.А.). Промолчали чуть не с минуту. Иван Федорович знал, что он должен был сейчас встать и рассердиться, а Смердяков стоял перед ним и как бы ждал: “А вот посмотрю я, рассердишься ты или нет?” Так, по крайней мере, представлялось Ивану Федоровичу. Наконец он качнулся, чтобы встать. Смердяков точно поймал мгновение».

– Ужасное мое положение-с, Иван Федорович, не знаю даже, как и помочь себе, – проговорил он вдруг твердо и раздельно и с последним словом своим вздохнул. Иван Федорович тотчас же опять уселся».

Теперь Иван не может уйти и не уйдет до тех пор, пока Смердяков не выскажет свой план до конца.

«– На чердак каждый день лазаю-с, могу и завтра упасть с чердака. А не с чердака, так в погреб упаду-с, в погреб тоже каждый день хожу-с, по своей надобности-с».

Иван Федорович длинно посмотрел на него».

Смердяков вспоминает, как рассказал об условных знаках Дмитрию. «Что-то вдруг как бы перекошилось и дрогнуло в лице Ивана Федоровича. Он вдруг покраснел».

– Так зачем же ты, – перебил он вдруг Смердякова, – после всего этого в Чермашню мне советуешь ехать? Что ты этим хотел сказать? Я уеду, и у вас вот что произойдет. – Иван Федорович с трудом переводил дух».

– Совершенно верно-с, – тихо и рассудительно проговорил Смердяков, пристально, однако же, следя за Иваном Федоровичем».

Иван у Достоевского, по мнению В. Кантора, писатель и мыслитель. Исследователь подчеркивает интеллигентскую природу писателя и героя. Завершается анализируемая сцена романа все-таки решением Ивана ехать в Москву, но под влиянием всего пережитого и передуманного за это время на Ивана нападает истерический смех. Достоевский описывает героя через восприятие

третьего лица, подчеркивая тем самым объективность. «Кто взглянул бы на его лицо, тот наверно заключил бы, что засмеялся он вовсе не оттого, что было так весело. Да и сам он ни за что не объяснил бы, что было с ним в ту минуту. Двигался и шел он точно судорогой».

Диалог героев в романе «Братья Карамазовы» «превращен в своего рода допрос и нравственную пытку. И за столкновением героев романа – отчетливая авторская мысль о непреодолимых преградах для утверждения того мировоззрения, которое он все-таки утверждает, думая преодолеть все эти непреодолимые преграды. Так художественная форма диалога, – подчеркивает А. Чичерин, – не что иное, как развитие авторской мысли, сложной, трагедийной, насыщенной противоречиями и полной глубокого знания реального бытия» [38, с. 433].

В настоящем герои Достоевского живут прошедшим, оно постоянно присутствует в их жизни. «Сами ж вы меня в Чермашню эту проклятую толкаете, а? – вскричал Иван Федорович, злобно усмехнувшись».

«Видишь... в Чермашню еду... – как-то вдруг вырвалось у Ивана Федоровича, опять как вчера, так само собою слетело, да еще с каким-то нервным смешком. Долго это он вспоминал потом».

Для того чтобы Алеша познакомился с Грушенькой, со всей ее прошедшей жизнью, автор вводит в текст повествования басню о луковке, которую героиня слышала от кухарки Матрены. «Всего-то я луковку какую-нибудь во всю жизнь мою подала, всего только на мне и есть добродетели».

Алеша Карамазов – ученик Зосимы. Роль Алеши, по мнению С. Ломинадзе, «уникальна: он “ранний человеколюбец”, всех любит и его почти все любят, он своего рода нравственный отвес – разрешитель малых и больших нравственных проблем почти всех прочих персонажей» [50, с.54].

Грушенька сама рассказывает Алеше о своей юности, и мы видим, как мало она изменилась. «Так вот нет же, никто того не видит и не знает во всей вселенной, а как сойдет мрак ночной, все так же, как и девчонкой, пять лет тому, лежу иной раз, скрежещу зубами и всю ночь плачу: “Уж я ж ему, да уж я ж ему” – думаю!»

Слышал ты это все? Ну так как же ты теперь понимаешь меня: месяц тому приходит ко мне вдруг это самое письмо: едет он, овдовел, со мной повидаться хочет. Дух у меня тогда весь захватило, господи, да вдруг и подумала: а приедет до свистнет мне, позовет меня, так я как собачонка к нему поползу битая, виноватая! Думаю это я и сама себе не верю: «Подлая я аль не подлая, побегу я к нему аль не побегу?»»

Итак, герои романа не щадят себя: Грушенька называет открыто себя «подлой», Федор Павлович называет Ивана «подлецом» и т. д. Они словно пытаются разобраться в себе, демонстрируя даже то, что можно было бы утаить.

А вот что произошло в действительности. Когда принесли Грушеньке письмо, она «только миг один простояла как бы в нерешительности; вдруг кровь бросилась в ее голову и залила ее щеки огнем.

«Еду! – воскликнула она вдруг. – Пять моих лет! Прощайте! Прощай, Алеша, решена судьба... Ступайте, ступайте, ступайте от меня теперь все, чтоб я уже вас не видала!.. Полетела Грушенька в новую жизнь... Не поминай меня лихом и ты, Ракитка. Может, на смерть иду! Ух! Словно пьяная!» Хотя, на первый взгляд, кажется, что она решила ехать только сейчас, это не так. Решение было принято давно, она думала о нем как о возможном все эти годы, но произнесено вслух было лишь в этот миг. Думается, уместным здесь было вспомнить фразу Поттебни о том, что слово имеет только одно значение и только в тот миг, когда оно произносится.

Но настоящее часто разочаровывает героев. «Дура, дура была я, что пять лет себя мучила! Да и не он это вовсе! Разве он был такой...»... Далее идет развенчивание персонажа и обвинение себя в недалёковидности: «Тот был сокол, а это селезень. Тот смеялся и мне песни пел... А я-то, я-то пять лет слезами заливалась, проклятая я дура, низкая я, бесстыжая!»

Она упала на свое кресло и закрыла лицо ладонями».

Вся сцена описания сборов Дмитрия Карамазова в Мокрое идет под давлением прошедшего. Мысли героя постоянно возвращаются к его первой поездке («Я тогда четыре дюжины у них взял, – вдруг он обратился к Петру Ильичу, – они уж знают, не беспокойся, Миша, – повернулся он опять к мальчику. – Да

слушай: чтобы сыру там, пирогов страсбургских, сигов копченых, ветчины, икры, ну и всего, всего, что только есть у них, рублей этак на сто или на сто двадцать, как прежде было... Да слушай: гостинцев чтобы не забыли... ну всего, что тогда со мной в Мокрое уложили...»), то к Катерине Ивановне.

Часто в диалоге «автор отнюдь не устраняется, предоставляя своим персонажам вести борьбу, выставляя противоположные взгляды. Авторская мысль, напротив, постоянно кристаллизуется, как что-то совершенно ясное посреди смутных и бурных страстей и двоящихся мыслей его героев» [38, с. 433]. Так, Грушенька просит Дмитрия рассказать, как он узнал о том, что она здесь. «И Митя начинал все рассказывать, бессвязно, беспорядочно, горячо, но странно, однако же, рассказывал, часто вдруг хмурил брови и обрывался». Героя что-то волнует, отвлекает от основной линии рассказа, что-то в прошлом не дает ему возможности сосредоточиться. Это его состояние вызвано воспоминанием о Григории. «Ничего... одного больного там оставил. Кабы выздоровел, кабы знал, что выздоровеет, десять бы лет сейчас моих отдал».

Как уже было не раз, герои романа в сильные минуты потрясения признаются в чем-то, открывают правду. Митя обнаружил Грушеньку после долгих поисков за занавесами. «Она сидела в углу, на сундуке, и, склонившись с руками и с головой на подле стоявшую кровать, горько плакала, изо всех сил крепясь и скрадывая голос, чтобы не услышали». «Митя, Митя, я ведь любила его! – Начала она шепотом, – так любила его, все пять лет, все, все это время! Его ли любила, али только злобу мою? Нет, его! Ох, его! Я ведь лгу, что любила только злобу мою, а не его!»

Неслучайно Грушенька спряталась в углу, так как угол, по мнению П.Ф. Маркина, создает у героев Достоевского «иллюзию отгороженности и изолированности от внешнего мира» [39, с.10].

После признания героини меняется выражение ее заплаканного лица: «засветилась улыбка», «глаза сияли». Вот как передает это автор: «Я здесь одного человека люблю. Который это человек? Вот что скажи ты мне. – На распухшем от слез лице ее засветилась улыбка, глаза сияли в полутьме».

Дмитрий счастлив с Грушенькой, но даже в это время картины прошедшего встают перед его глазами. «Ничего! – проскрежегал Митя. – Груша, ты хочешь, чтобы честно, а я вор. Я у Катьки деньги украл... Позор, позор!..»

Психологически выверена картина беседы Мити со следователем, в которой герой сам анализирует свои действия и четко отделяет тот момент в своей жизни, когда стал вором окончательно и бесповоротно, вором и бесчестным человеком на всю жизнь. Пока он прокутил в Мокром лишь половину денег, «этих проклятых трех тысяч», «я в то же время каждый день и каждый час мой говорил себе: "Нет, Дмитрий Федорович, ты, может быть, еще и не вор". Почему? А именно потому, что ты можешь завтра пойти и отдать эти полторы тысячи Кате. И вот вчера только я решился сорвать мою ладанку с шеи, идя от Фени к Перхотину, а до той минуты не решался, и только что сорвал, в ту же минуту стал уже окончательный и бесповоротный вор, вор и бесчестный человек на всю жизнь».

Прошедшее для героев Достоевского нередко решает все. «Вы не знаете еще меня, Алексей Федорович, – грозно сказала она, – да и я еще не знаю себя. Может быть, вы захотите меня растоптать ногами после завтрашнего допроса». Эти слова Катерины Ивановны были вызваны напоминанием о земном поклоне.

Убийство отца не перестает волновать Алешу, он верит, что Дмитрий не виновен и говорит Ивану: «Ты обвинял меня и признавался себе, что убийца никто как ты. Но убил не ты, ты ошибаешься, не ты убийца, слышишь меня, не ты! Меня бог послал тебе это сказать».

Оба замолчали. Целую длинную минуту протянулось это молчание. Оба стояли и все смотрели друг другу в глаза. Оба были бледны».

Убийство было совершено Смердяковым под влиянием идей Ивана. «Рассказчик остановился. Иван все время слушал его в мертвенном молчании, не шевелясь, не спуская с него глаз. Смердяков же, рассказывая, лишь изредка на него поглядывал, но больше косился в сторону. Кончив рассказ, он, видимо, сам взволновался и тяжело переводил дух. На лице его показался пот. Нельзя было, однако, угадать, чувствует ли он раскаяние, или что другое».

Современный исследователь Достоевского С. Ломинадзе выявляет в романе «Братья Карамазовы» иерархию кругозоров. «Вверху – всеобъемлющий кругозор автора, который хочет... принадлежать к христианской точке зрения, кругозоры Зосимы, Алеши. Внизу (по нравственной вертикали) – кругозор Смердякова, который собственноручно убил Федора Павловича. Сюда надо было бы прибавить адвоката Фетюковича, которого Бахтин не числит в ведущих героях романа (может быть, в силу его эпизодичности). Соответствующее место в его выступлении на судебном следствии выразительно озаглавлено: "Прелюбодей мысли"». [50, с.55].

Под влиянием прошедшего Катерина Ивановна на суде показывает «письмо Мити из трактира "Столичный город"», которое Иван Федорович называл «математической важности документом».

Трудно приходилось в это время Кате. «Но прочтите, прочтите внимательно, пожалуйста внимательнее, и вы увидите, что он в письме все описал, все заранее: как убьет отца и где у него деньги лежат. Посмотрите, пожалуйста не пропустите, там есть одна фраза: "Убью, только бы уехал Иван". Значит, он заранее уж обдумал, как он убьет, – злорадно и ехидно подсказывала суду Катерина Ивановна. О, видно было, что она до тонкости вчиталась в его роковое письмо и изучила в нем каждую черточку. – Не пьяный он бы мне не написал, но посмотрите, там все описано вперед, все точь-в-точь, как он потом убил, вся программа!»

«Давнее может оказаться более явственным и внятным, чем ближнее... – пишет Ю. Борев. – Особенность памяти состоит в том, что все, что сохраняется в ней из прошлого, становится фактом настоящего. Другими словами, память всегда актуальна и в известном смысле снимает временные барьеры, стирает временное и пространственное расстояние и все прошлое и далекое помещает во временной и пространственной точке сиюминутного бытия помнящего или вспоминающего» [51, с.41].

Катерина Ивановна решилась прочесть письмо суду, и для нее уже не существовало настоящего. «Так восклицала она вне себя и, уж конечно, презирая все для себя последствия, хотя, разумеется, их предвидела еще может за месяц тому, потому что и тогда

еще, может быть, содрогаясь от злобы, мечтала: “Не прочесть ли это суду?” Теперь же как бы полетела с горы». Так будущее, когда-то как один из возможных вариантов всплывающее в ее воспаленном мозгу, материализуется, становится настоящим, нанося непоправимый удар судьбе героя.

Трижды встречается в романе «Братья Карамазовы» словосочетание «как бы полетела с горы». Оно у Достоевского в этих случаях подчеркивает вновь и вновь, что герои совершают свои самые решительные поступки под непосредственным воспоминанием прошедшего, которое слишком много значит для них. «Она предала Митю, но предала и себя! И, разумеется, только что успела высказаться, напряжение порвалось, и стыд подавил ее. Опять началась истерика, она упала, рыдая и вскрикивая. Ее унесли».

Судьба Мити решена. И это понимает Грушенька. «Митя, – завопила она, – погубила тебя твоя змея!»

Пояснение прошедшего в романе возникает, например, в репликах героев. Федор Павлович вспоминает в келье старца случай, происшедший с ним «лет семь назад». И заканчивает свой рассказ словами: «Вечно-то я так себе наврежу». Следующая реплика Миусова соединяет прошедшее с настоящим. «Вы это и теперь делаете, – с отвращением пробормотал Миусов».

Пояснение старца раскрывает читателю поведение Дмитрия Федоровича. «Позвольте, – неожиданно крикнул вдруг Дмитрий Федорович, – чтобы не ослышаться: ”Злодейство не только должно быть дозволено, но даже признано необходимым и самым умным выходом из положения всякого безбожника!“ Так или не так?

– Точно так, – сказал отец Таисий.

– Запомню.

Произнеся это, Дмитрий Федорович так же внезапно умолк, как внезапно влетел в разговор. Все посмотрели на него с любопытством».

«“Неужели вы действительно такого убеждения о последствиях исыякновения у людей веры в бессмертие души их?” – спросил вдруг старец Ивана Федоровича».

В литературоведческих работах исследователей последнего десятилетия XX века все чаще обобщается вклад славянского ученого А.А. Потебни в мировое литературоведение. Докторская

диссертация по его наследию была защищена О.П. Пресняковым в начале 80-х годов XX века. В своей монографии «Поэтика познания и творчества» О.П. Пресняков так оценивает важнейшие положения теории словесности А.А. Потебни: «Для того чтобы проникнуть в процессы интенсивного расширения и углубления содержательности поэтических представлений в литературе XIX века, А.А. Потебня много занимался вопросами позиции повествователя, автора в поэтическом контексте. Он развивал понятие “точки зрения” повествователя, связывал с ней новые поэтические позиции по отношению к художественному времени и пространству в их соотношениях с действительностью» [52, с.132].

Для нас очень интересно в данном контексте звучит мысль А.А. Потебни о том, что «говорящий и равный ему по образованию слушатель удовлетворяется одним намеком... , выраженным в слове или ряду слов...». Ю.И. Минералов, анализируя это высказывание ученого, отмечает, что намек «не претендует исчерпать определенный ”ряд мыслей“, сообщаемых говорящим, но он указывает слушателю (или читателю) на этот ряд; степень последующего понимания будет зависеть уже от самого слушателя (или читателя) – от его образованности, вообще личной глубины и культуры» [53, с.257].

Так, диалог старца и Ивана Федоровича о бессмертии души как раз, на наш взгляд, демонстрирует такую степень взаимопонимания, когда собеседники видят друг друга насквозь. Причем, по свидетельству дочери писателя, Достоевский «изобразил себя в Иване Карамазове» [54, с.18].

Автор сам поясняет, как прошедшее включается в настоящее. Дмитрий Федорович вспоминает историю с Катериной Ивановой. «Глаза его сверкали, он дышал трудно».

В течение художественного времени, прежде чем подойти к настоящему, Достоевский вычленяет несколько предварительных моментов и фиксирует их (живет, слышите). Наряду с включением в настоящее прошедшего, писатель включает в действие настоящего и будущее. Герой, предвидя будущее, еще больше переживает, испытывает стыд за него.

«Но глупый дьявол, который подхватил и нес Федора Павловича на его собственных нервах куда-то все дальше и дальше в

позорную глубину, подсказал ему это бывшее обвинение, в котором Федор Павлович сам не понимал первого слова. Да и высказать-то его грамотно не сумел, тем более что на этот раз никто в келье старца на коленях не стоял и вслух не исповедовался, так что Федор Павлович ничего не мог подобного сам видеть и говорил лишь по старым слухам и сплетням, которые кое-как припомнил. Но, высказав свою глупость, он почувствовал, что сморозил нелепый вздор, и вдруг захотелось ему тотчас доказать слушателям, а пуще всего себе самому, что сказал он вовсе не вздор. И хотя он отлично знал, что с каждым будущим словом все больше и нелепее будет прибавлять к сказанному уже вздору еще такого же, – но уж сдержаться себя не мог и полетел с горы».

Возможно как прямое, так и обратное движение времени. Мы не знаем, что было в прошлом Максимова. С этой целью Достоевский включает в его прошлое прошлое фон Зона.

Прошедшее доводит героя до того, что внешне он выглядит как помешанный. «Дмитрий Федорович почти с какой-то яростью поднялся с места, он вдруг стал как пьяный. Глаза его вдруг налились кровью». Дмитрий Кармазов вспоминает Грушеньку, поездку в Мокрое и тут же раскрывает Алеше свою тайну. При чем слову героя у Достоевского, по мнению М. Бахтина, принадлежит исключительная самостоятельность в структуре произведения, «оно звучит как бы рядом с авторским словом...» [34, с.8].

«Ты,... ты, Алеша... – остановился он вдруг перед ним, и схватив его за плечи, стал вдруг с силою трясти его, – да знаешь ли ты, невинный ты мальчик, что все это бред, ибо тут трагедия!.. Ну так узнай же теперь, что я воришка, я вор по карманам и по передним!».

«Митя, милый, что с тобой! – воскликнул Алеша, вскакивая с места и всматриваясь в испуганного Дмитрия Федоровича. Одно мгновение он думал, что тот помешался».

Для каждого из героев встреча с Алешей дает возможность почувствовать, что настоящее есть, оно существует и неправильно жить только прошлым, какую бы колоссальную роль оно ни играло. Таким людям может казаться, что настоящего нет вообще.

Из реплики Федора Павловича ясно, что он прекрасно понял, о чем философствовали Иван со Смердяковым и что спор в доме

Смердякова с Григорием обращен к Ивану. «Иван! – крикнул вдруг Федор Павлович, – нагнись ко мне к самому уху. Это он для тебя все это устроил, хочет, чтобы ты его похвалил. Ты похвали».

Федор Павлович продолжает наблюдать за Смердяковым и приходит к выводу: «То-то, брат, вот этакая валаамова ослица думает, думает, да и черт знает про себя там до чего додумается». Кармазов признается, что Смердяков и его «терпеть не может, равно, как и всех, и тебя точно так же, – обращается он к Ивану: хотя тебе и кажется, что он тебя ”уважать вздумал“. Алешку по-давно, Алешку он презирает».

Так, четкая фиксация автором «точки зрения героя или повествователя позволяет усилить психологическую ее мотивировку и тем самым сделать духовно полнее и тоньше его характеристику», – отмечал О.П. Пресняков [52, с. 133].

В пьяном виде герои Достоевского проговариваются и восстанавливают подлинную ситуацию. «Старик не унимался. Он дошел до той черточки пьянства, когда иным пьяным, дотоле смирным, непременно вдруг захочется разозлиться и себя показать».

Федор Павлович выделяет во всем облике Ивана одни глаза («подозрительные», «презрительные»): «Что ты глядишь на меня? Какие твои глаза, презрительные твои глаза... Ты себе на уме приехал. Вот Алешка смотрит, и глаза его сияют. Не презирай меня, Алеша. Алексей, не люби Ивана...»

Таким образом, настоящее у Достоевского – чаще всего живет лишь в синтезе с прошедшим и будущим. И это специфическая черта движения художественного времени в его произведениях. Проникнуть в глубины переживаний героя, понять все, что его волнует, в целостном многогранном представлении увидеть тайники его души, понять в герое такое, что и сам от отчетливо не осознает, быть может, причудливо как-то перепутывая и то, что было, и то, что будет, – и это во многом достигается совмещением в художественном времени произведений Достоевского прошедшего, настоящего и будущего.

«Критический реализм ввел и разработал свойство романтического мышления – диалогичность, теоретически осмысленное М. Бахтиным. Герой романа, занимая определенную ценностно-смысловую позицию, вступает в “спор” (диалогические отношения) с

другими персонажами, стоящими на своих ценностных позициях. В споре позиций принимает участие и автор произведения, и образ автора, и все персонажи произведения. Их "голоса" (позиции) перекликаются, накладываются друг на друга. Никто не вещает истину в последней инстанции. Истина (вернее, художественная концепция произведения) выступает как результат (интеграл) всех позиций, как многоголосье хора. Бахтин показал, что Достоевский завершил создание романа полифонического типа» [55, с.395].

Интересно сравнить движение художественного времени в произведениях Достоевского и Пушкина.

А.С. Пушкин в «Пиковой даме» показывает героев в напряженные моменты их жизни, в напряженной внутренней борьбе с самими собой. Характеры его героев, как и в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», раскрываются в острых драматических ситуациях, неожиданных поступках, с особенной полнотой передающих душевные кризисы и потрясения. Этой цели и служит течение художественного времени, в котором можно выделить три пласта: прошедшее, настоящее и будущее. Очень часто обрисовка характеров героев, их поведение в настоящем определяется прошедшим, которое давит на них, но и будущее тоже играет определенную роль в освещении характеров.

По словам П.В. Нащокина, Пушкин, прочитав ему «Пиковую даму», рассказывал, что «главная завязка повести не вымышленна. Старуха-графиня – это Наталья Петровна Голицына, мать Дмитрия Владимировича, московского генерал-губернатора, действительно жившая в Париже в том роде, как описал Пушкин». Современники знали прототипа. 7 апреля 1834 года Пушкин записал в своем дневнике: «Моя Пиковая Дама в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и кн. Н.П. Голицыной и, кажется, не сердятся» [56, с. 596].

О старой графине мы впервые узнаем из рассказа Томского. Затем действие переносится в дом графини, которая «сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам семидесятых годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и шестьдесят лет тому назад». Она была своенравна, скупа и

эгоистична. Но размеренное течение ее жизни скоро будет нарушено.

Сильные страсти и огненное воображение – вот что отличало Германа, сына обрусевшего немца, скрытного и честолюбивого. Анекдот о трех картах сильно подействовал на него и он случайно оказывается около дома графини. Внутренний монолог Германа передает его переживания и как бы прорисовывает его будущее, обнаруживая противопоставление художественного времени. «Что, если, – думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу, – что, если старая графиня назначит мне эти три верные карты! Почему ж не попробовать своего счастья?.. Представиться ей, подбиться в ее милость, – пожалуй, сделаться ее любовником, – но на это все требуется время – а ей восемьдесят семь лет, – она может умереть через неделю, – через два дня!.. Да и самый анекдот?.. Можно ли ему верить?.. Нет! расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усмерит мой капитал и доставит мне покой и независимость!»

И тут случайно перед глазами Германа дом графини. Герман затрепетал. Вновь вспомнил карты. Во сне «ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрепятственно, и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман». «Арсенал художественных средств освоения внутренней жизни человека весьма богат. Здесь и описания его впечатлений от окружающего, и компактные обозначения того, что творится в душе героя, и пространственные характеристики его переживаний, и внутренние монологи персонажей, и, наконец, изображение сновидений и галлюцинаций, которые выявляют бессознательное в человеке, его подсознание – то, что прячется в глубинах психики и неведомо ему самому», – обобщает В. Хализев [57, с.175].

Но это лишь сон. Утром Герман вздохнул о потере своего богатства. И вновь очутился перед домом графини. «Неведомая сила, казалось, влекла его к нему». Такая же, как вела за собой Раскольникова и князя Мышкина.

Художественное время у Пушкина ускоряется. Лизавете Ивановне передают письмо: «В то самое время, как два лакея приподняли старуху и просунули в дверцы, Лизавета Ивановна у самого

колеса увидела своего инженера: он схватил ее руку: она не могла опомниться от испугу, молодой человек исчез: письмо осталось в ее руке». С этого момента художественное время развивается быстрее. Картины настоящего сменяют одна другую. И вот речь идет о свидании.

Течение художественного времени вновь замедляется. Герман трепетал как тигр. Погода под стать его настроению: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями, фонари светили тускло. В 11.20 отъехала карета графини. В 11.30 Герман ступил на крыльцо. Время течет медленно. Но сама эта медлительность, подробное описание интерьера ускоряют «внутреннее время». И игра на повторяющейся художественной детали работает на одновременное ускорение и замедление течения художественного времени. Часы пробили 12. Герман «был спокоен: сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое». Но при стуке кареты невольное волнение овладело им. При виде Лизаветы Ивановны в сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести. Он окаменел.

Далее следует сцена с графиней, повлекшая смерть. Художественное время бежит как бы вспять. Лизавета Ивановна вспоминает картины бала. И вдруг настоящее, которого она ждет и боится, врывается в воспоминания. Входит Герман. Прошлое мгновенно всплывает в ее памяти: «...слова Томского раздались в ее душе: у этого человека по крайней мере три злодеяния на душе! Герман сел на окошко подле нее и все рассказал».

В «Пиковой даме» А.С. Пушкин, так же как и Достоевский, сосредотачивает действие только в двух «точках»: на пороге (у дверей, при входе, на лестнице и т.д.), где совершается кризис или перелом, или на площади, заменой которой обычно бывает гостиная (зал, столовая), где происходит катастрофа. Порог символизирует эстетический выбор героя, именно там решается проблема собственной самооценности.

Исследователями творчества Достоевского было подмечено, что «символически значимым у раннего Достоевского выступает и слово – образ ”порог“ – ”точка“, граница, разделяющая внутреннее ”я“ личности и ее внешнее окружение» [58, с.19]. Те же особенные свойства диалога, которые четко обозначились

в «Преступлении и наказании», «все усиливаясь от романа к роману, приобретают в ”Братьях Карамазовых“ свое крайнее выражение. В долгом разговоре Ивана и Алеши вставные новеллы становятся яростными аргументами атакующего собеседника; они разрастаются, занимая в романе в целом чуть ли не центральное место. Среди них и жгучие факты, взятые из жизни (рассказ о затравленном собаками ребенке и др.), и философские фантазии (”Великий инквизитор“). Диалог опять превращен в своего рода допрос и нравственную пытку. И за столкновением героев романа – отчетливая авторская мысль о непреодолимых преградах для утверждения того мировоззрения, которое он все-таки утверждает, думая преодолеть все эти непреодолимые преграды. Так художественная форма диалога – не что иное, как развитие авторской мысли, сложной, трагедийной, насыщенной противоречиями и полной глубокого знания реального бытия» [38, с.433].

Таким образом, изображая душевные переживания и потрясения своих героев, раскрывая их внутренний мир, два классика русской литературы широко опираются на соотношение и противопоставление движения общего художественного времени и времени частного в индивидуальных переживаниях героев. Что создает неповторимую архитектуру их произведений.

ПРОБЛЕМА АВТОРА И ПРИЕМ АВТОБИОГРАФИЗМА В МЕМУАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ О ПУШКИНЕ



Бахтин выделял в особую группу жанров исповедь, дневник, описание путешествий, биографию, письмо и некоторые другие. Наряду с тем, отмечал литературовед, что они могут определять форму романа как целого (например, роман-исповедь, роман-дневник, роман в письмах и т.д.), «каждый из этих жанров обладает своими словесно-смысловыми формами овладения различными сторонами действительности» [59, с.134].

Как известно, М.М. Бахтин чаще всего в своем литературно-критическом наследии теоретические положения объяснял и обосновывал диалогической природой слова, которое «хочет быть

услышанным» [46, с.306]. Следуя его концепции, «характер адресованности» – один из существенных составляющих специфики жанра. Мемуарная литература, как ни один другой жанр, конкретно адресована читателям. Дневники и письма, воспоминания и очерки содержат сведения автобиографического характера, передают колорит эпохи, их страницы насыщены реальными историческими событиями, в них описаны реальные исторические личности.

Мемуарная литература о Пушкине была бы неполной и обедненной без воспоминаний о великом поэте Анны Петровны Керн (Марковой-Виноградской). Фактически, кроме «Воспоминаний о Пушкине», написанных в конце 1850-х годов, облик поэта предстает и со страниц «Воспоминаний о Пушкине, Дельвиге, Глинке» и «Дельвиг и Пушкин». В мемуарах в форме записок повествуется от лица автора о реальных событиях, очевидцем или участником которых он был. Непосредственные впечатления от встреч с Пушкиным, Дельвигом, Мицкевичем, Глинкой воспроизведены А.П. Керн.

Бесценны и письма А.П. Керн к Пушкину и Пушкина к Керн. Заслуживает внимания высказывание А.И. Герцена, который примерно в то же время, а точнее, в 1857 году в обзоре «Западные книги» утверждал, что современная литература – это «исповедь современного человека под прозрачной маской романа или просто в форме воспоминаний, переписки».

Итак, «Воспоминания» А.П. Керн – это ее исповедь, обращенная к потомкам. Искренность автора, чувство такта не вызывают сомнений. И в этом их ценность. Автор, безусловно, личность неординарная, на долю которой выпало немало испытаний. Как человек, много переживший, она сострадательно относится к тем, о ком вспоминает. Интересны мысли и чувства самой А.П. Керн, ее отношение к тому, свидетелем чего она была. Не следует упускать из виду и следующий факт: подлинность и достоверность содержания, хроникальность и фактографичность изложения, ведь, как отмечают современные исследователи, в XIX в. центральным персонажем «литературного процесса стало не произведение, подчиненное канону, а его создатель, центральной категорией поэтики – не стиль, или жанр, а автор» [60, с.33].

С первых страниц «Воспоминаний» мы узнаем о литературной и общественной жизни России описываемого периода. Во время первой встречи с Пушкиным в январе-начале февраля 1819 года в доме Олениных, хозяин которого ценил науки и искусство, А.П. Керн не заметила Пушкина, поскольку в тот вечер блистал Крылов, читающий по просьбе публики басни. «И я никогда не забуду, – пишет А.П. Керн, – как он был хорош, читая своего Осла! И теперь еще мне слышится его голос и видится его разумное лицо и комическое выражение, с которым он произнес: "Осел был самых честных правил!"» [61, с.28]. Вновь они встретились через 6 лет, в июне 1825 года. Уже написаны «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Разбойники» и первая глава «Онегина».

Для «Воспоминаний» А.П. Керн характерна последовательность, стремление воспроизвести события в хронологическом порядке, так, как они происходили на самом деле, в действительности. По избранному материалу, его достоверности и отсутствию вымысла мемуары близки исторической прозе, научным биографиям, документально-историческим очеркам. Не следует забывать, что на первом плане – личность автора, его точка зрения на происходящее. Не могла А.П. Керн с первой минуты встречи по прошествии шести лет так полно охарактеризовать речь поэта, смену его настроения, непостоянство характера. Так в ткань повествования вплетаются обобщения более позднего времени, ретроспекция. Разумеется, это плод многолетних размышлений о Пушкине, о его блестящем литературном окружении.

Следует сразу заметить, что точность воспроизводимых событий важна для автора «Воспоминаний», и она сама не раз подчеркивает это: «...дальше не помню, а неверно цитировать не хочу». Таким образом, «Воспоминания» приобретают ценность подлинного исторического документа, выполняют функцию источника информации, бесценной информации, поскольку принадлежат перу современницы Пушкина, его «спутнице», по образному выражению А. Гордина, оставившей заметный след в жизни поэта.

Трудность быстрого сближения с Пушкиным крылась в особенностях его характера: «Он был очень неровен в обращении: то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо

любезен, то томительно скучен, – и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту». И далее: «он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренно и был неопишимо хорош, когда что-нибудь приятное волновало его...» Речь поэта была увлекательна, остра и блестяща.

Невольно сопоставляются эти две встречи. На первой читал свои басни И.А. Крылов, на второй – Пушкин читает поэму «Цыгане». И как читает! Первая встреча прошла в чаду поэтического очарования Крыловым. И именно это помешало обратить внимание на Пушкина. Все внимание собравшихся было приковано к Крылову, «виновнику поэтического наслаждения». Теперь, шесть лет спустя, в центре внимания – Пушкин. Предоставим слово самой А.П. Керн: «Я была в упоении как от текучих стихов этой чудной поэмы, так и от его чтения, в котором было столько музыкальности, что я истаивала от наслаждения: он имел голос певучий, мелодический и, как он говорит про Овидия в своих ”Цыганах“: ”И голос шуму вод подобный“».

Примечателен стиль как «Воспоминаний», так и писем А.П. Керн.

Применительно к ее книге можно говорить и о стиле всей эпохи, о стиле классической литературы XIX века. Но нам в данный момент интереснее стиль самого автора, поскольку он позволяет охарактеризовать госпожу Керн как человека с четко сформированными литературными пристрастиями, обладающего несомненным литературным вкусом. Стиль «Воспоминаний» в некоторых местах далек от документализма. Вот один из примеров – описание поездки в Михайловское. «Погода была чудесная, лунная июльская ночь дышала прохладой и ароматом полей. Мы ехали в двух экипажах: тетушка с сыном в одном: сестра, Пушкин и я в другом. Ни прежде, ни после я не видала его так добродушно веселым и любезным...» Описание сада: «Приехавши в Михайловское, мы не вошли в дом, а пошли прямо в старый, запущенный сад. ”Приют задумчивых дриад“, с длинными аллеями старых деревьев, корни которых, сплетясь, вились по дорожкам, что заставляло меня спотыкаться, а моего спутника вздрагивать».

Еще одна характерная черта «Воспоминаний» – цитирование пушкинских строк. В данном конкретном случае – это указывает

на прямую связь между пейзажем «Онегина» и окружающей Пушкина природой в Михайловском. Это точка зрения А. Гордина. А шире, на наш взгляд, свидетельствует о том, что современники поэта жили в атмосфере его удивительной поэзии. На следующее утро в принесенном Пушкиным экземпляре 2-ой главы «Евгения Онегина» А.П. Керн обнаружила вчетверо сложенный почтовый лист бумаги со стихами: «Я помню чудное мгновение...» Так родился один из шедевров любовной лирики поэта.

Сохранилось свидетельство самого поэта об этих двух встречах: «Ваш приезд в Тригорское произвел на меня впечатление гораздо живее и тягостнее, чем некогда наша встреча у Олениных». Письма Пушкина остроумны, блестящи, шутливы, ироничны, что «не позволяет, – считает А. Гордин, – определить меру серьезности любовных признаний поэта. Можно предполагать, что увлечение его не было особенно глубоким. Однако вне зависимости от этого совершенно несомненно, что и для Пушкина, и для его корреспондентки было приятно, интересно, весело поддерживать эту переписку» [62, с.115].

Поэт сам пытается разобраться в чувствах: «Каждую ночь я гуляю в своем саду и говорю себе: ”Здесь была она... камень, о который она споткнулась, лежит на моем столе подле увядшего гелиотропа. Наконец я много пишу стихов. Все это, если хотите, крепко похоже на любовь, но боюсь вам, что о ней и помину нет. Будь я влюблен, – я бы, кажется, умер в воскресенье от бешеной ревности, – а между тем мне просто было досадно“...». Еще пример: «Я снова берусь за перо, потому что умираю от скуки и могу заниматься только вами» (25 июля). «Я снова берусь за перо, чтобы сказать вам, что я у ваших ног, что я по-прежнему люблю вас, а подчас ненавижу, что третьего дня я рассказывал о вас ужасные вещи, что я целую ваши прекрасные ручки, и снова целую их, в ожидании больших благ, – что положение мое невыносимо, что вы божественны и пр. и пр. и пр.» (8 декабря).

Следующая встреча с поэтом произошла в Петербурге в 1827 году, в доме его родителей. Пушкин изменился. Он вернулся из своей ссылки, прожив в Москве несколько месяцев. А.П. Керн пишет осторожно: «Он как будто не был так доволен собою и другими, как в Тригорском и Михайловском». И

далее она размышляет о роли Михайловского в судьбе поэта, считая, что «император Александр I, заставляя его жить долго в Михайловском, много содействовал к развитию его гения. Там, в тиши уединения, созрела его поэзия, сосредоточились мысли, душа окрепла и осмыслилась».

И самый главный итог, по мнению автора воспоминаний, в том, что он приехал в Петербург с богатым запасом выработанных мыслей. Пушкин много работает. Но посещения его всегда наполняют дом детским смехом, игривой веселостью, шутками и поэтическими разговорами.

Пушкина невозможно представить без его окружения, без его верных друзей. А.П. Керн пишет о Пушкине и Дельвиге, подчеркивая обаятельную прелесть их встреч и расставаний. О Пушкине и Мицкевиче, любезном и приятном, благодушном и занимательном для всех. Гением добра оказался поэт автору «Воспоминаний», когда нашел ее в трудный момент жизни – после потери матери. Был трогательно внимателен, чуток и красноречив. Так завершаются «Воспоминания», но облик Пушкина предстает со страниц «Воспоминаний о Пушкине, Дельвиге, Глинке».

Именно Пушкина считает А.П. Керн высшим образцом неистощимого остроумия, а душою кружка даровитых писателей, носившего «на себе характер беспечного, любящего пображничать русского барина», был Дельвиг, любезный и радушный хозяин, симпатичный и великодушный. Сравнение Пушкина с Дельвигом не в пользу великого поэта, беспокойное расположение духа которого чаще всего превращало его шутки в сарказм. А Дельвиг, гостеприимный и деликатный, чаще напоминал Керн Вальтера Скотта.

Ценны свидетельства госпожи Керн о Пушкине в решающий момент его жизни – перед женитьбой. В этот период он казался совсем другим человеком – серьезным, важным, молчаливым. Размышляя о причинах этого, А.П. Керн предполагает, что «его постоянно проникало сознание великой обязанности счастливить любимое существо, с которым он готовился соединить свою судьбу, и, может быть, предчувствие тех неотвратимых обстоятельств, которые могли родиться в будущем от серьезного и нового его шага в жизни и самой перемены его положения в обществе». Так

сложно переплетаются в мемуарах временные пласты настоящего и будущего. И после женитьбы он был серьезным, в характере его произошла глубокая, разительная перемена.

Своеобразный «роман в письмах» представляет собой переписку А.С. Пушкина и А.П. Керн. «Я имел слабость попросить у вас разрешения вам писать, а вы – легкомыслие или кокетство позволить мне это». Эпистолярный стиль был близок А.П. Керн, поскольку писать письма она любила с детства. Легкий стиль писем, изящество слога, неукротимый характер поэтического гения пронизывают каждую строку этой небольшой по объему переписки. Обращения к А.П. Керн непредсказуемы, не мотивированы. В одном из писем она милая и прелесть, божественная, тут же мерзкая и вновь – прекрасная и нежная. Что скрыто за иронией поэта? Он заботится о ней, советует наладить отношения с мужем. И тут же зовет в Михайловское, просит писать: «Но только пишите мне, да побольше, и вдоль, и поперек, и по диагонали... Не правда ли по почте я гораздо любезнее, чем при личном свидании: так вот, если вы приедете, я обещаю вам быть любезным до чрезвычайности – в понедельник я буду весел, во вторник восторжен, в среду нежен, в четверг игрив, в пятницу, субботу и воскресенье буду чем угодно, и всю неделю – у ваших ног» (28 августа 1825г.).

Невольно возникает параллель с лирическим героем поэмы В. Маяковского «Облако в штанах»:

*Хотите –
буду от мяса бешеный
– и, как небо, меняя тона – хотите –
буду безукоризненно нежный
не мужчина, а – облако в штанах!*

Реальный, живой Пушкин, со своими мыслями, мечтами, сомнениями, в окружении друзей предстает со страниц «Воспоминаний» А.П. Керн. Несомненно, она понимала поэта, хорошо знала его, сочувствовала ему, не теряла его из виду до последних дней жизни. Поэтому так легко и увлекательно читаются «Воспоминания» и переписка, которые, в свою очередь, характеризуют

самого автора как человека, обладающего литературными способностями, обаятельного, образованного, живо интересующегося происходящим, самостоятельного в суждениях, с сформированными литературными вкусами. И здесь немалую роль сыграли Пушкин, Дельвиг и их литературное окружение.

Таким образом, в мировом литературоведении, рассматривающем проблему автора как одно из ключевых понятий науки о литературе, выделяются две основные тенденции. Согласно первой, автор биографический – творческая личность во внехудожественной реальности, а согласно второй – автор рассматривается во внутритекстовом, художественном воплощении. «Отношения автора, – отмечает В.В. Прозоров в статье "Автор", – находящегося вне текста, и автора, запечатленного в тексте, отражаются в трудно поддающихся исчерпывающему описанию представлениях о субъективной и всеведущей авторской роли, авторском замысле, авторской концепции (идее, воле), обнаруживаемых в каждой "клеточке" повествования, в каждой сюжетно-композиционной единице произведения, в каждой составляющей текста и в художественном целом произведения» [63, с.14]. Позиция автора «Воспоминаний. Дневников. Переписки» Анны Петровны Керн ясна и прозрачна.

Своеобразен жанр книг Н. Раевского «Когда заговорят портреты» и «Портреты заговорили», посвященных исследованию новых материалов о жизни и творчестве А.С. Пушкина. Это не воспоминания современника, но, по свидетельству супруги Раевской Н., «он был духовно связан с этой средой. А прабабушка его бывала на одних балах с Пушкиным. Рассказывая про то маленькому Коленьке, она говорила: "Вот когда вырастешь..."» [64, с.74]. За каждое слово писатель нес ответственность перед историей. Стиль книг казахстанского писателя ближе к стилю научных исследований, хотя на страницах отдельных очерков мы обнаруживаем литературные портреты Пушкина, Долли Фикельмон, Н.Н. Гончаровой. Личность автора определяет выбор дневниковых записей, комментарии к ним.

Обе книги относятся к документалистике. Появлению их на свет предшествовала кропотливая работа в архивах, за границей. А началось все в 1928 году, когда в руки Николая Алексеевича

попал двухтомник пушкинских писем. «Внутри зреет решение все бросить и отдаться постигшей меня страсти. Что и говорить, симптомы тяжелого заболевания налицо, и название ему – Пушкин!» В «Портретах заговорили» множество документов вводилось в научный оборот впервые, что обуславливало научную ценность книги и внимание к ней широкой читательской аудитории.

Композиционно в книге выделены очерки «В замке Бродяны», «Фикельмоны», «Переписка друзей», «Д.Ф. Фикельмон в жизни и творчестве Пушкина», «Особняк на Дворцовой набережной», «Д.Ф. Фикельмон о дуэли и смерти Пушкина». Книга снабжена комментариями.

В начале декабря 1829 года Пушкин, скорее всего, уже знаком с Фикельмон. Проницательность Фикельмон проявляется в характеристике, которую она дает Геккерну: «...лицо хитрое, фальшивое, мало симпатичное». О близком знакомстве и дружбе Пушкина с Д. Фикельмон свидетельствует следующая цитата из письма: «Позвольте ли Вы сказать Вам, графиня, что Ваши упреки так же несправедливы, как Ваше письмо прелестно. Поверьте, что я всегда останусь самым искренним поклонником Вашей любезности, столь непринужденной, Вашей беседы, такой приветливой и увлекательной, хотя Вы имеете несчастье быть самой блестящей из наших знатных дам». Очень ценен и прямой отзыв о Д. Фикельмон как о самой блестящей из дам ее круга. Н.А. Раевский считает, и мы разделяем его точку зрения, что в письмах к современницам Пушкин всегда необычайно любезен (эту черту его стиля ярко демонстрирует и переписка с А.П. Керн – С.А.). Но данное письмо к Д. Фикельмон «выделяется особой изысканностью выражений» [65, с.228].

В Долли Пушкин ценит прежде всего достойную собеседницу, всегда приветливую и внимательную, заинтересованно участвующую в беседах. Точно также и графиня ценит в поэте умение вести беседу, блестящее остроумие, ум и способность говорить просто и занимательно. Они нашли друг друга, им было интересно вместе проводить время в светских беседах. Отсюда – пристальное внимание Долли Фикельмон к окружению поэта, а тем более – к красавице невесте. Но и салоны Фикельмон и ее матери Хитрово играли большое значение в жизни Пушкина, они были

главным источником сведений о западно-европейской жизни. Граф Фикельмон подарил поэту два тома стихотворений запрещенного в России Генриха Гейне.

В очерке «Д.Ф. Фикельмон в жизни и творчестве Пушкина» Н.А. Раевский мастерски объединяет в повествовании письма поэта и графини, а также друзей и знакомых Пушкина, цитирует дневниковые записи героини. Дневник сам по себе представляет ценность, поскольку в нем описаны события текущей жизни. В нем нет той ретроспекции, которая характерна для мемуаров.

Н.А. Раевский сам анализирует стиль писем, сравнивая французский подлинник и русский перевод, подчеркивая при этом, что русский перевод подчас выглядит бледнее, не передает всю гамму чувств и оттенков. Особо автор книги пытается осмыслить и представить жену поэта Наталью Николаевну Гончарову. Он приводит прелестную словесную акварель, считает это описание едва ли не лучшим литературным портретом Натальи Николаевны, особенно ценным потому, что здесь она запечатлена через несколько месяцев после замужества. Большинство портретов, как известно, относится ко времени ее вдовства или второго замужества. И автор этой зарисовки – Долли Фикельмон.

21 мая она записывает в дневнике: «...это очень молодая и очень красивая особа, тонкая, стройная, высокая – лицо Мадонны, чрезвычайно бледное, с кротким, застенчивым и меланхолическим выражением, глаза зеленовато-карие, светлые и прозрачные, взгляд не то чтобы косящий, но неопределенный, тонкие черты, красивые черные волосы. Он очень в нее влюблен, рядом с ней его уродливость еще более поразительна, но когда он говорит, забываешь о том, чего ему не достает, чтобы быть красивым, – он так хорошо говорит, его разговор так интересен, сверкающий умом без всякого педантизма».

Что касается Пушкина, то Долли описывает его как счастливого влюбленного. В этом она расходится с ранее цитировавшимися «Воспоминаниями» А.П. Керн, отмечавшей грусть и озабоченность поэта. Но через четыре дня графиня Фикельмон в письме к Вяземскому от 25 мая обнаруживает свой дар предвидения: «Жена его прекрасное создание: но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие... несчастья у такой молодой

особы. Физиономии мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем».

12 ноября 1831 года она записывает в дневнике после бала у председателя Государственного Совета Кочубея: «Поэтическая красота г-жи Пушкиной проникает до самого моего сердца. Есть что-то воздушное и трогательное во всем ее облике – эта женщина не будет счастлива, я в этом уверена! Она носит на челе печать страдания!..» 12 декабря опять-таки Вяземскому: «Пушкин у вас в Москве, жена его хороша, хороша, хороша! Но страдальческое выражение ее лба заставляет меня трепетать за ее будущность».

Задумавшись об облике Натальи Николаевны, о ее роли в судьбе поэта, Н.А. Раевский основательно прочитывает и анализирует всю литературу о ней, отмечая атмосферу напряженного и не всегда благожелательного внимания к супруге Пушкина. Он обращает внимание на чисто внешние черты, о которых пишет в своих «Воспоминаниях» Еропкина: необыкновенно выразительные глаза, очаровательная улыбка и притягивающая простота в обращении. Он изучает источники и письма сестер Гончаровых к брату Дмитрию и приходит к выводу, что сестры были мало подготовлены к вступлению в большой петербургский свет.

Н.А. Раевский не соглашается с трактовкой характера Н.Н. Гончаровой как обычной представительницы своего круга, развенчивает «ложные представления о скудости ее ума и духовного облика». К работам, без предвзятости рисующим духовный облик супруги поэта, он относит исследования М. Яшина, И. Ободовской и М. Дементьева. Мы с полным правом можем включить в этот список книгу самого Н. Раевского «Портреты заговорили», сочетающую черты документально-исторического очерка с превосходным анализом дневниковых записей, писем и воспоминаний современников поэта.

Чувство такта, интеллигентность не позволяют автору книги вступать в полемику с Анной Ахматовой, но он и не может не прореагировать на некоторые ее соображения. Отдавая ей дань как тонкому ценителю слова, отмечая ряд глубоких мыслей (в частности, Анной Ахматовой впервые был поставлен вопрос о том, почему «злосчастный диплом был разослан друзьям Пушкина, а не его врагам, что было бы более логичным»), писатель

находит много спорных и необоснованных предположений, отвергая категорически как ничем необоснованное чрезвычайно необъективное (по его выражению даже враждебное) отношение к Н.Н. Гончаровой. Сопоставляя многочисленные источники, разрозненные факты из свидетельств современников, писем Пушкина к жене, писем самой Натальи Николаевны к брату Дмитрию, Н.А. Раевский с уверенностью утверждает, что эфемерный образ Пушкиной, «блистательной и легкомысленной красавицы, сущность которой проявлялась единственно в ее страсти к светским развлечениям», распадается.

В то же время автор книги категорически против идеализации Н.Н. Гончаровой. Она была живым человеком, со своими достоинствами и недостатками. Но Раевский не прощает трагическую ошибку – согласие на роковое свидание с Дантесом. «Не могла она не понимать, скажем, вернее – не имела права не понимать, к каким последствиям может привести это свидание при столь крайне напряженных и непримиримых отношениях ее мужа и ее поклонника», – звучит взволнованный голос писателя.

Н.А. Раевский размышляет о роли графини Фикельмон в судьбе Пушкина, высказывает предположение о ее близком знакомстве с поэтом, считает, что черты ее характера воплощены в облике замужней Татьяны в «Евгении Онегине» и в героине незаконченного произведения «Египетские ночи». «Пиковая дама» тоже имеет к ней отношение. Предположения эти читаются с интересом. И неизменно одно – Дарья Федоровна Фикельмон сыграла в жизни Пушкина гораздо более важную роль, чем было известно ранее.

И символичным нам кажется следующий факт: о дуэли и смерти Пушкина мы узнаем из ее дневника, передал который Раевскому дальний потомок Кутузова Альфонс Кляри-и-Альд-ринген. Очерк так и называется «Д.Ф. Фикельмон о дуэли и смерти Пушкина». Они были знакомы семь лет.

Запись Фикельмон состоит из трех частей, написанных в разное время, разных по объему. Н.А. Раевский отмечает общий чрезвычайно сдержанный тон, как всегда, ровный и четкий почерк. О самой дуэли и кончине поэта Фикельмон пишет, – считает писатель-исследователь, – «со слов Жуковского», но

ее искреннее сочувствие ощущается на протяжении всей записи. Ее записи о поэте и его жене «умны, достоверны и ценны».

Заслуживает внимания личность самой Д.Ф. Фикельмон, обладающей силой ума и широтой интересов, литературной культурой и владеющей пером. Свидетельством чему являются ее дневник и письма, умело включенные Раевским в ткань повествования книги «Портреты заговорили». Не случайно, Н.М. Карамзин писал о том, что «творец всегда изображается в творении и часто против воли своей» [66, с.60].

Таким образом, жизнь, личность, поэзия Пушкина продолжают волновать исследователей. Гений поэта озарил мировую литературу, далеко шагнул за границы его исторической родины. И один из примеров – жизнь и судьба казахстанского писателя Н. Раевского. Жизнь его делает неожиданный поворот. И доктор естественных наук Карлова университета в Праге увлекается серьезно и надолго Пушкиным, становится автором ряда исследований, интересных открытий. Мы попытались подчеркнуть своеобразие его последней книги «Портреты заговорили», выявить ее отличительные черты по сравнению с мемуарной литературой («Воспоминания» А.П. Керн). Исследования Раевского позволяют полнее воссоздать облик Н.Н. Гончаровой, живую картину жизни семьи Гончаровых, Д.Ф. Фикельмон, П. Вяземского, и, конечно же, самого Пушкина.

Ценность книги, обогатившей мировую пушкиниану и в том, что большое количество иноязычных документов, в том числе выдержки из писем Александра I к юной графине внучке Кутузова Д.Ф. Фикельмон и ее матери Е.М. Хитрово, переведены писателем и опубликованы впервые. Таким образом, благодаря истинно подвижнической деятельности Н.А. Раевского, новые материалы вводятся в научный оборот, становятся достоянием широкой научной и читательской аудиторий. А проблема автора, как бы он ни был завуалирован и как бы ни были скрыты его взгляды и отношения к изображаемым событиям, остается центральной в литературоведении, так как без образа автора художественный текст становится, по образному выражению В.Н. Топорова, «насквозь механическим» или низводится до «игры случайностей» [67, с.28].

Окончание следует...

Корнелия Кырстя
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ СЧАСТЬЯ У
ДОСТОЕВСКОГО И ШТАЙНХАРДТА

Тема счастья широко раскрыта в европейской культуре во всех своих измерениях – художественном, философском, этическом и религиозном. Избранное моралистами – особенно французскими – для демонстрации несовершенства человеческой природы, превращенное писателями-философами Века Просвещения в человеческое право, цель и идеал жизни человека, поставленное в романтическом оксюморе на один уровень со страданием, счастье становится щедрым предложением для интерпретации в духе экзистенциализма и для эстетических построений в произведениях литературы, в центре которых стоят условия человеческого существования, в значительной мере раскрытые уже Достоевским.

Знаток и ценителем творчества Достоевского был и румынский писатель-философ Николае Штайнхардт (1912-1989) – человек, подвергшийся суровым жизненным испытаниям, свидетель исторических и социальных потрясений XX века. *Биография писателя рассказывает нам о потрясающих жизненных опытах: еврей по происхождению, выпускник филологического и философского факультетов, преследуемый тоталитарными режимами довоенной и поствоенной Румынии, политзаключенный в период 1959-1964гг., Штайнхардт принимает в заключении христианство и к концу жизни становится монахом в монастыре Рохия.* Близость румынского писателя к духовным исканиям Достоевского уловима как в его опытах в сфере художественной герменевтики, объединенных в ряде сборников его работ под заглавием «Литературные сомнения», так и, особенно, в «Дневнике счастья», – подлинном бестселлере нашего времени, ответившем на самые смелые ожидания читателя в период, последовавший за событиями конца 1989 года.

Для Николае Штайнхардта наследие Достоевского – это отправная точка в экзистенциальном измерении его художественного

видения, это образец восприятия целого во всем богатстве его оттенков: «Формула Достоевского – чистая правда, а страдание для него – это настоящая, неповторимая школа, пробуждающая человека к действительности и познанию».¹

Страдание само по себе не может автоматически способствовать продвижению человека и человечества к усовершенствованию человеческой парадигмы. Чтобы достичь желаемых результатов, необходим ценный человеческий материал – материал живой, подлинный, глубоко содержательный. В вопросе, который задает себе Штайнхардт: «Но разве сам Достоевский не прошел такую же тяжелую школу жизни, не обуздывал свой характер и не углублял свой гений в горниле той же суровой педагогики?»² – читается явная отсылка к тяжкому опыту каторги, в художественно преобразованном виде описанном Достоевским в «Записках из мертвого дома». В эссе, озаглавленном «Они не ангелы, они не безумцы», полемически отстаивается понимание творчества Достоевского во всей его цельности, без пропусков и лагун, вызываемых предрассудками или снисходительной предусмотрительностью, спрятанными за эвфемистическими выражениями типа «певец бездны», «странный», «иррациональный писатель», маскирующими все то, что подобного рода читатели или вечно куда-то спешащие комментаторы произносят про себя как «сумасшедший». Вывод Штайнхардта звучит четко: «Достоевский – это писатель рационально мыслящий, точный как журналист-репортер, это реалист с ясным, разъясняющим стилем, постоянный, неутомимый и решительный противник всяческого безумия. Если Достоевский исследует подсознательное, подпольное, ад, место окаменения, жестокости и ужаса, он делает это не для того, чтобы все это восхвалить и способствовать воцарению неискоренимого зла, а для того, чтобы помочь его уничтожению».³

В сочинениях русского писателя Штайнхардт различает действия верующего человека, следующего христовым заветам – заветам Иисуса Христа, спускающегося в ад для того, чтобы освободить мучеников тьмы и страданий, даруя им свет. Эта проблематика вновь воскресает в «Дневнике счастья» – шедевре мемуарного жанра, столь типичного для литературы XX века. «Журнал счастья» кажется написанным не для публикации, а по внутреннему

побуждению – свидетельствовать о счастье быть христианином; это явление раскрыто румынским писателем во всем его объеме, начиная от простого и стихийного восприятия впечатлений детства до полного посвящения, как настоящего чуда, свершившегося в тюремном пространстве, где будущему писателю открылось – через страдание – счастье человеческой солидарностию.

Страницы «Дневника» не выдержаны в обычном для этого жанра стиле – в виде ежедневной записи событий или впечатлений; дневник Штайнхардта – это скорее архив душевной и духовной жизни автора, в котором сохраняются, как долг перед близкими по страданию, его мысли, впечатления и воспоминания, причем сфера действительности постоянно пересекается со сферой литературы. Память действует как бы в параллельных зеркалах, напоминая о неумолимом трагическом разрыве в истории: годы до войны – годы после войны. Время свидетельства также разорвано, даже искачено трагическим контрастом между нормальностью существования и его ничтожностью.

Н. Штайнхардт существенным образом сближается с Достоевским благодаря суровой серьезности своего подхода к основам и символам веры. Счастье он ищет и находит в страдании, в единении с другими – со всеми жертвами тюремного общественного строя. Причем обретается оно в «месте почти нереальном и ужасном» – камере номер 34, настоящем «мертвом доме» Достоевского: «Камера номер 34 это что-то вроде темного длинного туннеля, полного бесконечных жутких кошмаров. Это жуткая коморка, это канал, это подземная кишка, холодная и глубоко враждебная человеку, это бесплодная шахта, это кратер потухшего вулкана, это довольно удачная копия обесцвеченного ада. В этом-то месте суждено было мне узнать самые счастливые мгновения моей жизни. Как абсолютно счастлив был я в камере номер 34!»⁴

Счастье заключается в ощущении чуда, которое является в таком месте человеку, стремящемуся прийти на помощь своему ближнему, уменьшить его боли и страдания. Чудо сказывается в поведении, полном сдержанности и благородства, диктуемом уважением к жизни, вопреки жестокости торсионеров, ужасам и нищете тюремного существования. Заключение постоянно

повторяет идею Достоевского, призывая своих братьев по страданию проникнуться ею: «Человек существует только если существует Бог и бессмертие».⁵

Как и у Достоевского, счастье здесь не данность, а цель познания и человеческого опыта. В записях к роману «Преступление и наказание» Достоевский отмечает, как его главную идею, мысль о том, что человек не рождается счастливым, он должен завоевать счастье, и всегда через страдание. Нередко Штайнхардт воспроизводит в «Дневнике счастья» высказывания персонажей Достоевского, особенно из романов «Идиот» и «Братья Карамазовы», используя их в качестве аргументов для раскрытия его собственного понимания христианства во всем его сложнейшем содержании и высшем смысле. С точки зрения Штайнхардта-христианина счастье и свобода нераздельны, это два свидетельства веры, и отсюда спокойствие, ясность ума и чувство собственного достоинства, которые верующий человек сохраняет перед лицом насилия, нищеты и ничтожества. Все это не означает, однако, приятия зла, подчинения ему, пассивности или равнодушия, ибо, как уточняет Штайнхардт, «христианство – это не сладкое безразличие, глупость. Нигде и никогда не требовал от нас Христос быть глупцами. Он призывает нас к кротости, честности, смирению, но не к глупости».⁶ Эта идея развита на примере самого волнующего образа, в котором Достоевский воплотил ипостась христианина: «Князь Мышкин, идиот, – отнюдь не глупец. Он все знает, всех понимает, он познал зло как немногие другие. Но он не извлекает отсюда неизбежность цинизма, безотворности и безнадежности, а делает вывод о необходимости добра, защиты прав ближнего и смирения своего собственного я – тройственное христианское решение проблемы.»⁷ Для Штайнхардта смирение – это не наивность или, что было бы еще хуже, не «глупое и трусливое преклонение», а христианское прощение – это не забвение ошибки (предупреждение любителям равнодушно-всепрощения!). Монах из Монастыря Рохия владеет и блестящей иронией: «Как говорят англичане, в качестве христианина я обязан любить и прощать своего ближнего, но никак не обязан делать так, чтобы он был мне симпатичен»⁸. Глупость, в каком бы аспекте она ни являлась, разрушает естественное обаяние и цельность личности. Протест

против глупости поддерживает состояние счастья-познания, а мотивирующий его дискурс заставляет автора с невольным юмором покидать иногда православно-канонический тон: «Тысячи чертей раздрают меня, когда кто-нибудь начинает путать христианство с глупостью, считая, что его назначение не что иное, как бросить мир на осмеяние злым силам, облегчить путь несправедливости, словно бы оно было, по определению, обречено на слепоту и бездеятельность».⁹ Счастье-познание подразумевает испытание сознания, смелость осознания совершенных ошибок, но и вызов приличию, ищущему пристанища в общеизвестных истинах. Говоря о «предательстве интеллигентов», заключивших пакт с тоталитарным общественным строем, которому они служили и который воспевали, Штайнхардт снова возвращается к идее Достоевского, подхваченной Камю, о необходимости сомнения в аксиоме «дважды два четыре», по Достоевскому – «принципе смерти» в смысле окостенения, удушения человеческого сознания через одностороннее восприятие мира в сфере чистой логики. Существует и обратная сторона проблемы, подмеченная Камю, наблюдавшего, как в абсурдные моменты истории люди, произносящие общеизвестные истины, платят за это жизнью. Человеческая парадигма во всей ее полноте не может строиться на пакте с запретной «истиной».

Счастье как цель становящегося существования основывается на понимании человеческого во всей его сложности – от убеждений до поведения. В видении Штайнхардта «мир Божий» – это мир свободный, строящий себя по образцу Христа, предстающего в «Дневнике счастья» как «джентльмен» и «рыцарь» – в полном согласии с текстом Евангелия. Проявляя веру в человека, ценя смелость, снисходительность и благорасположенность к обделенным и несчастным (больным, чужеземцам, заключенным), от которых не ждешь никакой выгоды, чувство собственного достоинства и склонность к прощению, как и презрение к людям слишком предусмотрительным и к «накопителям», Христос призывает каждого человека признать себя тем, что он есть, – творением Божиим.

По Штайнхардту, наиболее близки к такому типу благородства, то есть к слову Евангелия, Сервантес с его несравненным

Дон Кихотом и Достоевский – с созданными им типами невинных, чистых людей, которые наказывают зло – твердо, решительно, но без насилия: «Быть христианином, созданием Божьим, – значит иметь статус аристократа духа».¹⁰

Князь Мышкин достигает этого статуса как благодаря своему поведению, так и особенно благодаря своей исключительной способности к состраданию и прощению, поставленной на службу христианской миссии «любви к ближнему своему». Чуждый преходящим удовольствиям (накопление имущества, гордость своим социальным положением, властью над ближними), Христос дарует нам качества людей свободных, то есть благородных. Но он требует от нас и усилия, как сказали бы экзистенциалисты – быть тем, чем мы являемся... Раба ведь мы узнаем сразу, издали; его выдают детали: вечное беспокойство, волчий аппетит, дрожание рук, подозрительность... И тем более его всегда распознает Господь, который – не бойтесь, не поволит себя надуть».¹¹

Изгнание из общества свободы, признанное или не признанное тем или иным тоталитарным режимом, – это, по мнению Штайнхардта, «вопиющий грех», и никакие личные достоинства тиранов, как и никакие успехи тиранических политических режимов не могут оправдать лишения людей свободы, этого «ужасного греха превращения людей в скот через лишение их главного свойства духа»¹². XX век, сыном и наблюдателем которого был монах из Рохии, среди множества других обозначений, может быть обозначен как «век тюрем и концлагерей». Это привело к рождению «духа самозащиты» с целым рядом специфических приемов, то есть искусства выживания, поддерживаемое радостью открытия подлинной человечности через страдание, способное подарить человеку не подозреваемые им источники сопротивления.

В своем «Политическом завещании» – своеобразном предисловии к «Дневнику счастья» – автор предлагает «три способа» выживания в тюремном пространстве, будь то концлагерь, тюрьма или гнетущее человека социальное устройство; это способы «чисто светские», подсказанные специфической литературой о преступном характере тоталитарных политических режимов: сочинениями А.И. Солженицына «В круге первом» и «Архипелаг ГУЛАГ», «Зияющими вершинами» А. Зиновьева, которые

принесли ему широкую известность, и «Хомо советикус» – размышлениями Уинстона Черчилля и Владимира Буковского, вызванными столкновением с крайней формой демонического в истории.

Мимоходом упомянутый в романе «В круге первом», все вновь и вновь повторяемый в I томе «Архипелага ГУЛАГ», способ Соженицына состоит в необходимости решительного приятия мысли о собственной смерти. Тот, кто считает себя мертвым, становится неуязвим, его больше ничем нельзя ни испугать, ни подкупить, ни шантажировать. Его больше ничто не страшит, ничто не провоцирует, ничто не привлекает. Он больше не может быть «обезврежен», ему больше незачем продавать свою «душу, спокойствие, честь». Нет валюты, которой могли бы оплатить его предательство». ¹³

«Решение» Зиновьева состоит в упрямом отказе от тоталитарного мира через шум и наглость, ибо «скандалист» неуязвим из-за своего презрения к законам и властям. Штайнхардт замечает: «И он в самом деле сквернословит, божится, рассказывает самые опасные анекдоты, не знает, что такое уважение, на все смотрит свысока, говорит то, что приходит ему в голову, произносит вслух истины, которые другие не могут и прошептать. Это дитя из сказки Андерсена о Голем короле. Это шут короля Лира. Это волк из – такой смелой, тоже не знающей узды! – басни Лафонтена. Он свободен, свободен, свободен!» ¹⁴ Уинстон Черчилль и Владимир Буковский рекомендуют прием «первого удара» – издевательское выражение радости стоять лицом к лицу со смертельным врагом свободы, чтобы показать ему, что он зол, абсурден, достоин всяческого презрения. Невозможно вообразить счастье большее, чем счастье прямого столкновения со злом и абсурдом истории с целью его уничтожения, потому что основа всякой тирании, по самой своей сути, – утверждает Штайнхардт, следуя аргументам Буковского, – это мираж страха. Этому лживому миражу румынский автор, проникнутый, как и Достоевский, убеждением в способности человека к возрождению, противопоставляет мужество веры и страсть к культуре.

*г. Крайова,
Румыния*

Перевод с румынского Елены Логиновской

Лев Толстой и Сибирь



Марина Борисова
НЕ ПОЗАБОТИМСЯ СЕЙЧАС,
ПОТЕРЯЕМ НАВСЕГДА
Министерство культуры России
заинтересовалось делами
последователей Льва Толстого,
проживающих в Сибири

В апреле 2006 года – читатели помнят¹ – я, как корреспондент «Нашей газеты», побывала на юбилее толстовской коммуны «Жизнь и труд». Юбилее скромном (что называется, даже без малейшего намёка на размах), но очень душевном, сообразно взглядам и возможностям. Тогда дети первых коммунаров собрались в новокузнецкой школе, программа обучения которой базируется в первую очередь на идеях ненасилия. Они вспоминали, как жили и воспитывались в Тальжине, что пришлось пережить им и их родителям, рассказывали, как живут сейчас. При школе существует музей – небольшая комнатка (насколько позволяет школьная площадь), в которой уютятся уникальные экспонаты. Предметы быта коммунаров, фотографии, первые издания произведений Толстого... Но самое значимое и интересное, что есть в школьном музее, – это рукописный архив воспоминаний членов «Жизни и труда», блокнотные и тетрадные записи (поэтические сочинения, мысли по поводу того или много события, зафиксированные на бумаге), документы тех лет.

Так вот. В апреле толстовцы, приехавшие на юбилей из разных городов и районов области, решили, что для того, чтобы всё это сохранить и сделать доступным для людей, школьного музея уже недостаточно. Вернее, мысль эта возникла давно. Просто настало время, когда оттягивать решение вопроса с музеем дальше уже некуда: годы идут, и, если музейный фонд останется без хозяев, есть риск потерять всё это безвозвратно.

Письмо с официальным заявлением о необходимости музея Льва Толстого на территории Сибири было направлено сразу в Министерство культуры. Там обращение было рассмотрено и передано в российское агентство по культуре и кинематографии. И в сентябре

Единственной мерой времени является память.

Владислав Гжегорчик

на имя директора школы и основателя музея Бориса Ароновича Гросбейна оттуда пришёл ответ. Московские чиновники предложили два пути решения проблемы (хотя, казалось бы, в чём проблема – создать музей?). Первый – открытие самостоятельного музея. Второй – войти со своей коллекцией в состав новокузнецкого краеведческого музея. Ещё в письме была информация о том, что обращение кузбасских толстовцев направлено в департамент по культуре администрации Кемеровской области.

Послание из Росскультуры до областной администрации дошло. Мало того, его прочитали, приняли к сведению и велели разобраться, в чём там дело, управлению культуры мэрии Новокузнецка.

Недели за две до нашего визита в кабинете Бориса Ароновича раздался звонок: позвонили из местного культурного управления, пообещали подъехать и посмотреть коллекцию. Вот так запросто, не утруждая себя предупредить заранее. Поприсутствовать при осмотре в школу приехали друзья и единомышленники Гросбейна супруги Чадкины и Лидия Малород. В комиссию, как выяснилось, неофициальную, вошли представители местных музеев – краеведческого, «Кузнецкой крепости», Достоевского, и городского культурного управления.

– Мы показали им, что у нас есть, рассказали, откуда, зачем и почему, – рассказывает Борис Аронович. – Сказать нечего, слушали они очень внимательно и, хочется верить, заинтересованно. Вопросы задавали типа: «Например, создадите вы музей, а что же дальше?».

В итоге члены комиссии единогласно сошлись во мнении о необходимости музея: идея здоровая и не беспочвенная. Только вот новая проблема – ведь придётся предоставить какое-то помещение. И самым идеальным вариантом (и с помещением голову ломать не придётся) «эксперты» посчитали вхождение в местный краеведческий музей. Тут же пошли вопросы: а систематизирована ли коллекция толстовцев, сколько единиц хранения в музее? Словом, разговор как-то незаметно повернул в сторону бюрократической рутин.

Да! И ещё один момент. Чтобы музею было где разместиться, и чтобы он был автономным, Гросбейн предложил своё здание –

собственный дом в Тальжине. Главное, чтобы у него появился статус музея, чтобы его было кому содержать. Однако особого интереса комиссия к этой идее не проявила. Странно, но сегодня никто из официальных культурных кругов не помнит о том, что в 1990-х годах в городской и областной программах культурного развития и сохранения культурных ценностей стояла задача музеефикации целой улицы Тальжина. Тем не менее, если со стороны последователей Толстого не будет согласия объединиться с местным музеем, то это будет уже только их проблема: считается, что со стороны города все необходимые меры приняты. Далее толстовцы с вопросом об отдельном здании могут записываться на приём к мэру и «биться об административные стены» самостоятельно. Документом, подтверждающим такое положение вещей, стало письмо из культурного управления Новокузнецка: мол, старания ваши ценим; предлагаем передать вашу коллекцию в местный краеведческий музей; ко всем памятным датам, касающимся жизни и деятельности Льва Толстого, обещаем выставлять то, что вы туда передадите. На этом официальный интерес к толстовцам был исчерпан.

21 октября те поборники толстовских идей, доброты и справедливости, которым позволило здоровье, вновь собрались в кабинете Бориса Ароновича. Поговорив и подумав над всем произошедшим, они однозначно решили ничего не передавать краеведческому музею. И решение это вызвано одним желанием – не допустить создания из архивов, которые есть смысл изучать, очередного могильника. Такой в местном музее уже есть – рукописи одного из основателей «Жизни и труда» Бориса Васильевича Мазурина.

Если проводить параллель, потомки первых коммунаров, поселившихся в Кузбассе, переживают сегодня что-то близкое тому, что когда-то пережили их родители. А именно – полнейшее равнодушие со стороны сильных мира сего. Громко, конечно, про «сильных мира», но иначе не скажешь. Особенно в данной ситуации: без прямого участия этих «сильных» могут исчезнуть сведения о целой вехе в истории.

...В отличие от колхозов, насаждавшихся сверху, в которые крестьяне объединялись насильно и, работая в них, не особенно были заинтересованы в результатах своего труда, толстовские коммуны являлись добровольными объединениями единомышленников,

умевших трудиться на земле и любивших землю. Толстовцы жили богатой духовной жизнью и стремились сохранить внутреннюю свободу и чувство собственного достоинства. Такое противостояние наступавшему тоталитаризму не могло закончиться иначе, как гибелью толстовских объединений.

Последователей Толстого клеймили не иначе как «наиболее вредную секту». Все трудности толстовцев базировались на отношениях с местными органами власти (а отношения не сложились едва ли не в первых дней их пребывания в Сибири). Всё, на чём настаивали коммунары, это что «коллективная жизнь должна строиться на свободных, безнасилованных началах», без административного вмешательства. Кузнецкий райисполком имел на этот счёт своё мнение: если коммуна регистрирует свой устав по всем правилам, то она остаётся в районе, если нет, то это – единоличники, и их надо выслать. Местные власти не оказали толстовцам никакой помощи; льготы, которые им полагались по закону как переселенцам, не были предоставлены. Переселенческие органы выделявшие земельный участок для толстовских объединений, к этому времени были уже ликвидированы, и весь земельный фонд перешёл в ведение райисполкома.

А он, не считаясь с тем, что коммунары были переселенцами, включил их хозяйство в общий план налогов и поставок, как и хозяйства старожилов. Так, в разгар лета 1931 года, когда надо было косить сено и строить дома, когда каждый человек на счету, сельсовет под угрозой уголовной ответственности требовал выделить в распоряжение Сибстройпути на различные работы четырёх человек и шесть лошадей. В другом случае – не считаясь с хозяйственными возможностями коммуны, с тем, что у них всего два десятка рабочих лошадей и недостаток семян, райисполком предъявил коммуне посевной план в четыреста гектаров. Но в этот год коммунары смогли засеять всего 34 гектара пшеницей, овсом, ячменём и картофелем. Лето в тот год выдалось жаркое и сухое. Дождей почти не было. Урожай собрали плохой: погиб весь ячмень, просо, более половины пшеницы. То, что коммунары смогли собрать, оставили на следующий год, продуктового хлеба вообще не было. Но властей это не интересовало. Однако, как бы ни было тяжело, а уже с конца 1933 года коммуна стала полностью выполнять обязательства по

госпоставкам. Из-за своих убеждений коммунары не могли участвовать в убое скота, поэтому план по мясозаготовкам они заменили на выращивание племенного скота, передав совхозам и колхозам 57 голов молодняка. При этом обитатели «Жизни и труда» умудрялись налаживать свой быт: были построены 35 жилых домов, хозяйственные помещения, столовая, школа, баня, проведён водопровод. Для детей летом устраивались детские ясли, площадки. Имелись своя библиотека, радио, музыкальный кружок. Коммунары никогда ни от кого не требовали денег: дети, старики, инвалиды содержались полностью за счёт коммуны.

После принятия в феврале 1935 года на втором Всесоюзном съезде колхозников-ударников примерного Устава сельскохозяйственной артели в стране развернулась кампания по переводу коммун на новый документ. В 1936 году, 16 апреля, Сталинский (Кузнецкий) Горсовет, заслушав результаты очередного обследования коммуны «Жизнь и труд», постановил имеющийся там устав отменить как не соответствующий основным положениям и рекомендовал принять новый. Не дожидаясь, пока артель отреагирует на новые требования, власти арестовали несколько коммунаров (И. Гуляева, Д. Моргачева, Б. Мазурина, Д. Драгуновского, Г. Тюрка, А. Барышеву), которых впоследствии осудили по 58 статье и надолго упрятали в лагеря. За время репрессий и гонений из застенков никогда не вернулись 24 коммунара, некоторые до сих пор не реабилитированы... С переводом в январе 1939 года на Устав колхоза, «Жизнь и труд» прекратила своё существование. Другими словами, была уничтожена.

Этот краткий экскурс в историю толстовского движения в Кузбассе неспроста. Ничего вам эта ситуация не напоминает? Современное отношение к толстовцам мало изменилось. Сегодня их никто, слава Богу, не травит, не репрессировывает. Но насколько лучше невнимание и нежелание сохранить своё культурное наследие? Ведь это наше духовное достояние. Комиссия, решавшая вопрос о музее толстовской школы, интересовалась количеством экспонатов. Но дело не в количестве, а в ценности. Как объяснить это людям, далёким от идеалов добра и справедливости (а именно в этом заключаются основные идеи толстовцев), – очередной вопрос. Ведь мало получить место на одном из стеллажей в архиве краеведческого музея.

Важно, чтобы экспонатами занимался человек, сведущий в этом вопросе, заинтересованный в том, чтобы они не пылились на полках, а были доступны людям. Почему, когда есть всесторонняя заинтересованность (а она есть: никто не сказал ни слова против музея от Новокузнецка до Москвы), нет единого решения проблемы? А как же, в конце концов, приоритетный нацпроект «Культура», в который вкладываются такие бешеные деньги? Это что, не имеет отношения к культуре? Или, может быть, это не так важно? Или не интересно? Очень важно и чрезвычайно интересно. Не понятно только, почему же так с места тяжело двигается?

Кстати, такое отношение к толстовцам не повсеместно. Это одна из особенностей Кузбасса. В других российских регионах дела обстоят несколько иначе. Мало того, вопросами культуры, идей и взглядов последователей Льва Толстого активно интересуются за рубежом. Америка, Япония, но не мы.

Меж тем коллекция музея при новокузнецкой толстовской школе пополняется. Потомки коммунаров «Жизни и труда» не отчаиваются и ни в коем случае не опускают руки. Музейная коллекция приводится в соответствие с официальными требованиями: экспонаты пересчитываются, описываются. Работа эта кропотливая, сложная, требующая времени и внимания, но она делается. В своё время Борис Васильевич Мазурин говорил, что выжить в сталинских лагерях ему помогла вера в светлое и доброе. Он так и говорил: «Вера должна быть силой жизни». Именно вера в то, что всё задуманное удастся осуществить, помогает толстовцам и сегодня. И дай Бог, чтобы у них хватило сил не сломаться.

г. Новокузнецк

Борис Мазурин¹ ВОСПОМИНАНИЯ²

Предисловие³

Мне давно хотелось написать биографии некоторых своих друзей и единомышленников. Жизнь в коммуне в близком общении со многими и многими способствовала этому замыслу, но условия моей трудовой и довольно бурной жизни не способствовали его осуществлению. Но всё же кое-что мне удалось

сделать. Несколько биографий я сделал, ещё когда была жива коммуна, но они пропали во время арестов, и моих, и друзей. Теперь это восстановить невозможно.⁴

Много позже я настойчиво советовал близким друзьям Дмитрию Моргачеву и Васе Янову, и ещё некоторым описать свою жизнь и помог им в этом. И эти малоучившиеся люди сумели написать замечательные произведения, где с полной искренностью встаёт яркая картина пробуждения и роста разумного сознания, и проявления его в условиях нашей современности.

Написали свои воспоминания ещё некоторые из друзей, и все они представляют для меня большую ценность, и читаю их с захватывающим интересом, лучше всяких романов (Левинкас Э., Ярков И., Чернавин Н., Пенчалов А., Малород А.⁵, Страхова Н. и ещё некоторые).

Уже теперь в глубокой старости захотелось мне продолжить эту работу, но оказалось, что теперь я могу сделать очень немного: и сил мало, и память угасает, и нет почти никого в живых рядом, у кого бы спросить, вместе вспомнить, и условия моей жизни совсем не благоприятствуют этому. Ну, ничего, буду стараться хоть понемногу, хоть по крупинкам вспоминать и сделать, что могу.

Трудно писать эти биографии ещё и потому, что многие и многие, пожалуй, большинство из моих друзей были люди очень тихие, скромные, без громких слов, без бурной деятельности, которая давала бы богатый материал для описания их жизни. Начнёшь писать – родился, умер, а середину вроде и заполнить нечем, а между тем, это была жизнь, исполненная большим внутренним содержанием, такая нужная и подкрепляющая для окружающих, и очень твёрдая, несмотря на всю их кажущуюся⁶ мягкость. И эту твёрдость и верность многие из них⁷ подтвердили своей мученической кончиной. Биографии таких людей под силу писать только таким сердцеведам⁸ и художникам, как Лев Толстой.

Были среди друзей и единомышленников люди и другого склада – сильно проявлявшие себя в деятельности в направлении братства, добра, свободы. Все такие не похожие друг на друга, но все объединённые единством направления пути своей жизни.

Оговорюсь, что я не ставил себе целью нарисовать какие-то иконы, людей безгрешных. Нет, это все были люди со своими слабостями,

грехами, как и все люди. Были и странности, и однобокости, когда люди из всего богатства и разнообразия жизни сосредоточивались и останавливались на чём-либо узком и не так значительном – вегетарианстве, голизм, сыроедение, мистический уклон и т.д. и на этом замыкались. Всё это было, и, может быть, и это было бы интересно, но меня как-то влекло отметить то хорошее, высокое, важное, чего эти обыкновенные люди достигали, когда освещали свой путь к истине светом разума.⁹

Петр Иванович Литвинов (1902-1977гг.)¹⁰

Родился в крестьянской семье в селе Баланда Саратовской губернии. В первые годы после революции узнал учение Толстого и всей душой принял его и не изменил ему до конца своей жизни.

Вскоре после революции в Баланде образовался целый кружок единомышленников Л.Н. Толстого – Савин Андрей, Литвинов Пётр, Пашенко Дмитрий, два брата Харченко, оба Тимофея, и ещё целый ряд людей. В то бурное время гражданской войны, политической борьбы они не скрывали своих убеждений, выступали на диспутах, отказывались от всеобщего, от службы в армии и другое. Несли за это наказания. Так Харченко был приговорён к расстрелу, но «принимая во внимание пролетарское происхождение, заменить 10-ю годами заключения».

В 30-м году я познакомился с Петей в доме В.Г. Черткова (Лефортовский пер. 7), куда он приехал повидаться с друзьями. Он спросил меня: «Хорошо ли жить в коммуне?» Я сказал, что это зависит от самого себя. Кто пришёл в коммуну по влечению сердца и не требует от других людей себе ничего, а сам охотно отдаёт все свои силы на общее дело, тому хорошо, а кто ждёт от коммуны чего-то и не к себе, а к другим предъявляет всякие требования, тот часто тяготится и разочаровывается в коммуне.

Петя оказался относящимся к первым и в 31 году приехал в Сибирь в нашу коммуну. В коммуне он познакомился с Женей Савельевой (ленинградка 1905г. рождения), и они сошлись жить вместе. Оба были сознательные единомышленники (что, к сожалению, не часто бывает) и это облегчало им жизнь.

Когда начались гонения на коммуну, и одного за другим председателей совета коммуны забирали, Петю избрали председателем,

что заранее обрекало его на ту же участь. И вот к 39-му году коммуну ликвидировали, перевели на колхоз, а Петю судили и дали 10 лет. Одним из пунктов обвинения было то, что он организовал помощь тем членам коммуны, которые уже были в заключении как «враги народа».

Он отбыл 10 лет заключения, и после этого его направили в ссылку в Красноярский край, Каннский район, село Ношино, где¹¹ они и прожили 8 лет в тяжелом труде и нужде. Освободили их только тогда, когда умер Сталин и рухнул созданный им жестокий режим в стране.

Петя был полностью реабилитирован. Волнующая подробность: когда вся их семья решила ехать обратно к нам, и все влезли в вагон, оборванные, в заплатах, грязноватые, в вагоне громко запротестовали – куда вы их! Уберите! Но когда узнакомились, узнали их судьбу, отношение к ним резко изменилось к лучшему, детей стали угощать конфетами и т.д.

Я забыл раньше упомянуть, что ещё в 1948 году к Пете в ссылку добровольно приехала его жена с детьми, и они вместе несли все тяжести жизни.

В колхозе нашем уже была совсем другая жизнь, было много людей совсем далёких по убеждениям, но всё же было ещё много и старых друзей.

По характеру Петя был очень кроткий, тихий и жизнерадостный человек. Правда, он не обладал энергией и способностью в хозяйственных делах, но его все любили за общительный, отзывчивый характер. В самом его голосе всегда звучала бодрость, жизнерадостность, открытость, а всё это так нужно людям.

Петя был необыкновенно честен. У нас было взято всё, что мы создали за долгую совместную жизнь и мы почти никто не считали за грех взять что-либо с колхозного поля, идя домой – огурцов, морковки и т.д., съездить ночью на саночках за соломой для своей коровки и т.д. Петя же никогда не позволял себе этого.

Никакие испытания не сломили его дух, не озлобили, не привели в уныние. В 1977 году после долгой и тяжёлой болезни он умер.

Письмо друга Петра Литвинова Пашенко¹²Б.В. Мазурину¹³

Мой уважаемый друг Борис Васильевич, мне совестно, что я до сих пор не откликнулся на твою просьбу написать для тебя краткие сведения из жизни Пети Литвинова. Я¹⁴ несколько раз пытался это сделать, но ничего у меня не получилось. Писать о нём – это всё равно, что писать о себе. Наша жизнь была очень близка друг другу, можно сказать, она переплеталась в течение примерно 25-30 лет. Мы были больше, чем друзьями.

Когда я пытался о нём писать, я очень начинал переживать, болеть и, в конце концов, бросил. А сказать тебе, что он родился в 1903 году в хорошей семье, хотя и рано остался без матери, но воспитан, по тем временам, неплохо, что с самых ранних лет приобщён к крестьянскому труду и неплохо грамотен, и был скромен и уравновешен – значит, ничего не сказать. Его жизнь до самых последних дней разлуки с ним есть упорная последовательная работа над собой. Никогда, ни в молодости, ни позже его не влекли материальные достатки, бедноты не чурался и ненавидел шик и блеск во всех сторонах жизни. 18-ти лет он отказался от всеобщего, ещё через 3 года отказался стать военным. Но всё это сделано как-то незаметно, как будто само собой сложившееся. Очень не любил спорить, всегда готов помочь любому человеку, попавшему в беду, и поделиться последним куском хлеба или «тряпкой», так как у него хороших вещей и не бывало, он стыдился их. *12 октября 1981г.*

Прощальное слово в день похорон Петра Ивановича Литвинова¹⁵

Прощай, Петя, ты прожил долгую жизнь, полную и радости, и труда, и скорбей. Теперь твой земной путь окончен, и мы предадим твой прах земле.

Смерть была бы ужасна, если бы одни люди умирали, а другие жили вечно, но смерть неизбежна для всех без исключения. Смерть – закон человеческой жизни, каждый день вокруг нас умирают люди, и это может казаться обидным явлением. Но когда стоишь над гробом близкого, любимого человека, то начинаешь чувствовать, какая великая, непостижимая тайна кроется за смертью. Невольно встаёт вопрос – что же такое наша жизнь?

Петя, ты прожил 74 года, эту жизнь можно измерить¹⁶ годами, и она кончается, но ты знал и другую жизнь, ты знал чувства разума, добра и правды, терпения и прощения, справедливости, честности, самоотвержения, чувство уважения и любви к людям и всему живому; ты знал то, что делает человека человеком, а не просто животным. Эта жизнь не измеряется ничем. Эта жизнь не подвластна ни земле, ни смерти. Она живёт вечно.

Попечалимся, поскорбим о потере близкого, любимого человека и будем радоваться, что его душа, то лучшее, чем он жил, всегда с нами и помогает нам в нашем жизненном пути.

*3 июля 1977г.*¹⁷

Илья Петрович Ярков (примерно 1892 – 23 марта 1980г.)¹⁸

Лично я знаком с Ильёй Петровичем не был, за исключением кратких свиданий на перроне станции Куйбышев, где я выходил из вагона и он встретил меня на минуты свидания. Я ехал в Москву, а с ним встречался, чтобы отдать для печатания или взять готовое. Он мне очень помог в печатании моих воспоминаний о коммуне, биографии Моргачева. Он быстро, грамотно и прекрасно печатал.

Мы с ним много переписывались, во многом наши взгляды совпадали, а о многом горячо спорили.

Он был начитан, имел богатую библиотеку. Его жена Мария Васильевна была из сектанток, очень деятельная, смолоду много сил отдавала в помощь тем, кто нуждался в этом, и до конца жизни крепко поддерживала мужа и в житейских делах и духовно.

В начале нашего знакомства, когда Илья Петрович познакомился с моими воспоминаниями о коммуне, с письмом к Леонову и др., он чрезмерно восхвалял меня, даже написал целую статью обо мне, которая мне была неприятна, и я уничтожил её. Потом его отношение ко мне изменилось, в письме вместо «дорогой» он написал «уценённый», чему я очень смеялся, а моё отношение к нему оставалось прежнее, я ценил и уважал его таким, каким он был.

Причиной его охлаждения ко мне было то, что он очень хотел свидеться лично и один раз написал мне, что желал бы приехать ко мне, но у меня тогда сильно болела жена и не могло быть никаких

хороших условий для спокойных бесед, я не смог бы даже сосредоточиться, волновался бы, тревожился и свидание это было бы не в пользу и оставило бы тяжёлый след. Но я ему не писал о причине, а только, что не надо приезжать и просил его поверить мне и понять и не обижаться, но он не пошёл на компромисс, не поверил и обиделся. Я подумал, что в таком случае я всегда поверил бы другу и нисколько не обиделся бы. Постепенно у него обида сгладилась, и мы переписывались до смерти его жены, после чего он совсем упал духом и уже больше не¹⁹ писал.

Жизнь Ильи Петровича очень интересна. Он очень живо и интересно описал её в большом труде. У меня его нет, но я читал его весь и разрозненные воспоминания у меня остались.

Читал эти воспоминания и Павлов и возможно даже перепечатал себе (а, может быть, и нет, надо запросить его).

У Шевченко есть сборник стихов «Встань, спящий!», там есть стих, подписанный буквой «я». Как я после узнал, автором был Ярков. Стих этот, который начинался так: «Пред тобой, любовь, преклоняюсь, в сердце светлую радость таю...», – очень мне понравился и мы его, бывало, пели в коммуне.

Вот всё, что я смог написать об Илье Петровиче Яркове. Это, конечно, никак нельзя назвать биографией, даже краткой, а просто – малозначительные клочки из того, что осталось у меня в памяти о нём.²⁰

Братья Тюрк²¹

Гутя – Густав Густавович Тюрк (1903-1968гг.)²²

Гитя – Гюнтер Густавович Тюрк (1991-195?²³ гг.)²⁴

Оба они родились в Москве в семье детского врача Густава Адольфовича Тюрк²⁵. Когда-то их предки были выходцами из Германии.

Гутя окончил Московский университет, по специальности – астрономом.

Не знаю, где и как он узнал учение Толстого, но в середине двадцатых годов отказался от военной службы и отбыл срок, правда, небольшой.

Гитя окончил среднюю школу с каким-то профессиональным уклоном.

Оба брата были не очень крепки здоровьем и хотя очень дружные, но различные по характеру и складу мысли.

Гутя больше тянулся к наукам и сам говорил, что по своему складу он больше горожанин.

Гитя стремился к тому, чтобы больше воплощать свои убеждения в деле, хотел сменить городскую жизнь на сельскохозяйственную, по возможности уходить из колеи государственной жизни в жизнь свободную, не брать займы, не платить налоги и т.д.

Дядя их имел дачу в Лосинке и дал в старом, скрипучем здании приют, где они и жили маленькой, но дружной и весёлой коммуной (Гитя, Гутя и Соня, жена Гути). У них часто бывали друзья и гости, жизнь была наполнена высокими стремлениями и идеалами. Был у них и небольшой огород с плохой землёй среди высоких деревьев, мало дававший им.

Познакомился я с ними на собраниях в Газетном переулке в здании Московского вегетарианского общества и на собраниях молодёжи в доме В.Г. Черткова в Лефортовском пер. 7. Потом они бывали в нашей подмосковной коммуне. И так, завязалась дружба, которая потом скрепилась их²⁶ переездом к нам в Сибирь, общей работой в коммуне (и судили нас вместе в 1936 и в 1940 годах) и тернистым путём тюрем, одиночек и лагерей.

В коммуне они были учителями (все трое). Зимой учителя учили, а летом и осенью учителя и ученики все вливались в единую трудовую семью, и занятия начинались только тогда, когда всё было убрано с полей. Это было первое – обеспечить себя на год продуктами, хлебом.

У Гути, наверно, был талант педагога, он не раздражался, увлекательно рассказывал, легко сходилась с детьми, и они его любили.

Гитя был более резок, сердился иногда, требовал, и дети не так льнули к нему.

Помню в 1936 году в тюремной камере Старокузнецкой тюрьмы, в тесноте, табачном дыму, мате, тоске по воле Гутя иногда проводил беседы по астрономии. Такая неподходящая тема, но все затихали, все слушали с интересом и просили ещё когда-нибудь рассказать. А люди-то там были самые разнообразные, и всех он мог увлечь, объединить.

Рассказывал Гутя и сказки. Один заключённый, Алёша Киреев, шахтёр, невысокий, но крепкий, петушистого вида, никому не дававшийся в обиду, потянулся душой к Гуте, бросил курить, а отвыкать трудно. Лежим на нарах, вдруг Алёшка вскрикивает: «Гутя! Давай сказку, а то курить хочу!» – и Гутя, тихо улыбаясь, ровным голосом начинал говорить сказку, отбивая охоту к курению.

Столько ярких воспоминаний наплывает, описать всё хватило бы на тома.

Гутя переносил заключение более спокойно, философски. Гитя сильно страдал.

По первому суду в ноябре 1936 года Гутю осудили, а Гитю, Пашенко, Епифанова и Олю Толкач оправдали. Была радость возвращения домой на волю, но кратковременная. Прокурор республики Рогинский опротестовал приговор «за мягкостью». И вновь следствие и суд, но нас, шестерых осуждённых, уже разослали по бесчисленным лагерям необъятной страны, и найти, собрать всех было нелегко. Собирали года два, а оправданных²⁷ взяли опять под стражу и они всё это время ждали. А это время, 1937-38 годы, было самое ужасное. Тюрьмы были переполнены сверх всякой меры. В камерах духота, теснота невероятная, в разбитые окна охрана иногда пускала струи воды, чтоб хоть немного освежить воздух. Некоторые падали в обморок, их вытаскивали в коридор.

И вот в таких условиях они томились два года, а потом, когда меня привезли из далёкой Коми ССР последнего (а двоих, Драгуновского Я.Д. и Барышеву А.Гр., и вовсе не привезли, их расстреляли по новому делу в лагерях), ещё пришлось томиться 7 месяцев следствия до нового суда в одиночках КПЗ в городе Сталинске.

Здоровье Гити подорвалось. Уже после второго суда мне некоторое время пришлось быть вместе с Гитей на Мариинской перемычке. Работали мы с ним в столярных мастерских, иногда по ночам. И здесь он заболел окончательно. Положили его в больницу. Уходя, он написал мне стих на попавшейся под руку широкой, гладкой щепке. «Это тебе, – сказал он, – может, больше не увидимся». Щепку сохранить не удалось. Я заложил этот дорогой мне стих в свою память и донёс его, как он и завещал, «жене и родным, и друзьям».

*Я лёг одиноко на край дороги.
 Чью тягость не снёс.
 Мой старший товарищ, прощай.
 Простимся без жалоб и слёз.
 Иди так же бодро вперёд,
 Осиль роковую межу,
 А я своё тело под гнёт
 Безумной неволи сложу.
 Хоть страха в душе моей нет,
 Но дальше с тобой мне нельзя...
 Жене и родным, и друзьям
 Снеси мой прощальный привет.
 Прощай, продолжай же свой путь.
 А я? Я хочу отдохнуть.*

И этот стих, и его бледное лицо, как живые, стоят в моей душе. Потом я навещал его в больнице. Плеврит. Выкачали²⁸ 7 литров гною. Врачи, такие же «враги народа». Один из них спросил Гутю: «А кто вам был Тюрк Густав Адольфович?» – «Отец». – «Я был с ним в Соловках, потом их посадили на пароход и увезли куда-то». Так погиб его отец.

Потом потекли годы лагерной жизни. И редкая счастливая случайность, к концу срока братья встретились в лагерях. Это было для них огромное счастье и поддержка.

По окончании срока их не пустили ехать домой, а в какой-либо не режимный город. Они уехали в Бийск. Жить там было не легко, трудно с работой (таких сторонились), с жильем, с питанием. Семья – жена, двое маленьких²⁹ детей. Жили врозь, жёны не ладили. Гитя бился, как рыба об лёд, и умер в больнице на руках безутешного брата.

После Гити осталось богатое наследство – много стихов. Мне кажется, у него был настоящий талант. По содержанию, по духу они наряду с очень для меня дорогими и близкими, но в большинстве своём проникнуты какой-то тоской, безнадежностью и ещё чем-то, не могу определить, но далёким от жизнеутверждающего духа учения Толстого. Это у меня вызывало какой-то внутренний протест.

Стихов его сохранилось много, но беда в том, что писались они не в тиши кабинетов, а в неволе, переписывались иногда малограмотными людьми или вовсе на память и многие сильно извращались, что недопустимо в стихах. Наиболее полный и верный список остался у его жены, но она сектантка и держит его под спудом, а, может быть, и уничтожила.

После смерти Гити Гутя переехал жить в Киргизию, в посёлок Дзеты-Огуз близ Пржевальска, где уже несколько лет жил Димитрий Моргачев. Работал там Гутя в газетном киоске, имел небольшой домик, садик, огород, завёл пчёл, чему его научил и помог Моргачев.

Но здоровье Гути тоже было подорвано, болело сердце, и он скончался в 1968 году.

Оба брата любили Тагора. Очевидно, в складе их душ было что-то общее. Один раз, когда Тагор был в Москве, им удалось как-то незаметно и беспрепятственно³⁰ пройти³¹ к нему в гостиницу. Не знаю, долго ли и как смогли они общаться, но оба были в восторге, и Тагор понял их и тоже был рад.

27 ноября 1981г.

Прилагаю своё небольшое, ранее написанное воспоминание о Гуте.

В 1937 году ослабленные долгомесечным тюремным сидением, мы шли пешком по глубокому снегу из Томской тюрьмы в лагерь Меряковка. Идти далеко, километров 30, все страшно устали, и Гутя стал отставать. Я ничем не мог ему помочь. Я вначале шёл с ним рядом, а потом он отстал, и я не остался с ним. Оставил в беде. Потом это оказалось для него лучше. Какие-то подводки, ехавшие сзади, повезли его. Потом уже на лесозаготовках мы трое работали в одном звене.

Гутя работал очень медленно, а я тогда был в расцвете своих сил и любил работать быстро.

Я забывался в труде, и я нашёл себе напарника Алёшу Киреева (из заключённых). Димитрий же проявил больше терпения к Гуте и всё время работал с ним, как мог. Правда, наши отношения с Гутей несколько не изменились, но всё же я чувствовал и в этом случае упрёк совести. Потом Гутю увезли далеко на восток.

Когда мы все были уже на свободе, наша переписка и свидания не прекращались. Особенно оживилась наша переписка, когда Гутя жил уже в Ажеты-Огузе.

Мы были друзьями, уважали и любили друг друга, но в отношении к жизни, в наших характерах, у нас были какие-то свои оттенки, о чём мы много переписывались, но так, наверно, и не смогли до конца понять один другого. Но это было в области словесных выражений, душевно же он был очень близок и знаю, что это было взаимно.

20 мая 1975г.³²

Клементий Емельянович Красковский³³ (1894 – ?³⁴ гг.)³⁵

Родился в бедной крестьянской семье в деревне Вирише Новогрудского уезда Минской губернии. Окончил 4-классное училище. Веры в семье придерживались православной. Так бы и прожил он свою жизнь в крестьянском труде, но в 1914 году началась война. Зачем? За что? Он не знал этого. Знал про это царь, и царю нужны были солдаты. Клементия как грамотного послали в школу прапорщиков. Через несколько месяцев – на фронт. Раздумий у него не было никаких, наивно верил, что воюет за «веру, царя и отечество». Воевал смело.

Но всё же, несмотря на всю косность своей веры, несмотря на весь государственный гипноз, что-то разумное шевелилось в глубине его души. Безумие и жестокость войны вызывало протест, и когда уже после революции он встретился с единомышленниками Толстого, которых тогда было много на смоленщине, он сразу примкнул к ним, воспринял учение Толстого как своё родное, и таким он остался до конца своей жизни.

Ни дома, ни семьи у него не осталось. Он был один, как перст. Попал в коммуну им. Л.Н. Толстого под Новоиерусалимом.

Застенчивый, малообщительный, он трудно сходилась с людьми и как-то не мог сжиться с весёлой, живой молодёжью, из которой тогда состояла коммуна.

Он перешёл в нашу подмосковную коммуну «Жизнь и труд». И тут он вначале ходил какой-то безучастный, молчаливый, но потом после одного откровенного разговора со мной он совсем переменялся.

Коммуна стала для него родным домом. Он весь отдался хозяйственным делам и работам – полеводство, лошади, телеги, упряжь и др. Иной раз спросят: «А где Клементий?» – а кто-нибудь в шутку ответит: «Под телегой лежит». Посмотрят, а он и правда там, подтягивает, подкручивает гайки.

В Сибирь он поехал в числе первых, осенью 1930 года, с рабочей дружиной, подготавливать условия для переезда остальных³⁶.

Он был скромнен, незаметен, немногословен, но на таких людях держалась коммуна.

Мы с ним дружили, и судили-то нас как-то вместе. И в 1930г. под Москвой, когда районная власть ликвидировала нашу комму-ну, а Президиум ВЦИК отменил это решение, тогда раздосадован-ные районные власти судили нас под каким-то нелепым, надуман-ным предлогом, что-то вроде халатности, лишь бы убрать.

Судили нас и в 1932 году уже в Сибири, тоже после того, как районная власть ликвидировала комму-ну, а ВЦИК восстановил. И так же районный суд судил нас, так же под каким-то неубедитель-ным предлогом, лишь бы убрать тех, на ком, казалось им, держа-лась коммуна. Интересно, как тогда арестовали Клементия.

Я уже был арестован в городе, а в комму-ну к вечеру приехали двое людей на тарантасине и попросились переночевать. Подвода стояла перед крыльцом. Когда утром Клементий вышел на крыль-цо, те двое уже были там, и лошадь уже была запряжена. Один из них вскочил на козлы верхом с револьвером в руках, и они помча-лись по улице. Проходящая Нина Лапаева увидела всё это, схва-тила Клементия за ногу и с криком: «Клементия украли!» – некото-рое время бежала рядом, потом отстала.³⁷

И в 1936 году, когда взяли нас 10 человек, взяли и Клементия, но он на следствии на все вопросы отвечал только одной фразой: «Я никогда никому не хотел ничего плохого, а вы хотите меня обви-нить», – и его отпустили. Но в 1937 году всё же взяли и безвозвратно.

Он всю жизнь стремился к семейной жизни, но ему как-то не вез-ло, а в Сибири он женился, было уже двое детей, и вот оторвали его от труда, от семьи, от друзей, от коммуны жестоко, бессмысленно.

Никогда больше мы не встретились с ним, но в душе моей жи-вёт всегда память о его светлой, честной душе.

*5 декабря 1981г.*³⁸

Анна Григорьевна Барышева (1987-1937 или 1938гг.)³⁹

Мало я знаю её личную жизнь.⁴⁰ Не знаю, где она родилась, но знаю, что родом она из крестьян, что отец её был человек чем-то выдающийся, даже была напечатана книжечка его стихов. Я её когда-то читал, а теперь забыл, но помню, что тогда впечатление от них осталось неплохое, и по форме, и по содержанию.

Образование Анна Григорьевна получила среднее. Всю жизнь прожила одиноко. Во время войны 1914-17гг. была сестрой ми-лосердия.

Когда и как узнала и приняла учение Л. Толстого – не знаю, но знаю, что, начиная с 1923г., она была судима и отбывала сро-ки заключения и ссылки: в 23, 24, 27, 30, 32 годах – суды, лагеря и ссылки. Запретили ей учительствовать.

К нам в комму-ну приехала она прямо из ссылки. Приехала по совету Владимира Григорьевича, которого она очень уважала. У нас она стала работать медсестрой, в чём была большая нужда. Когда мы её узнали, стало понятно, за что её так преследовали.

Она из всеобъемлющего учения Толстого, более всего вос-приняла его страстный протест против государственного уст-ройства общественной жизни людей. Но у Толстого это отрица-ние государства, т.е. насилия как главной причины бедственной жизни людей, вытекало из его религии, основного понимания закона жизни, а у неё это получалось оторвано от остального. Критика её была сильна и справедлива. А поводов для критики было тогда много, и она никогда не молчала. Выступала страст-но и откровенно, крайне резко и почти озлоблённо. Это все замечали и говорили ей. Она соглашалась, но удержаться не мог-ла. О себе, о своём спокойствии и безопасности она не думала нисколько.

На суде в ноябре 1936 года она сказала, что суда не признаёт, и не вставала, когда требовалось встать, отвечала судье сидя. Когда судья спросил её, как она смотрит на положение крестьян, она ответила, что они как крепостные. «А как же вы тогда думаете о рабочих?» – спросил⁴¹ судья. «А рабочие на положе-нии дворовых» – ответила она. Конечно, она могла этого не го-ворить, но это было в её характере и это ей очень повредило.

Прокурор в своей речи с негодованием отмечал, что коммуна не держит мясной скот. «А если я хочу мяса?!» – воскликнул он. «Заведите себе свинью и съешьте!» – ехидно сказала Анна Григорьевна. Прокурор озадаченно замолчал.

Суд шёл 4 суток. В один из перерывов нам дали газеты, и мы прочитали там сообщение о смерти В.Г. Черткова. Анна Гр. тихо плакала, она очень любила его, он был такой прямолинейный, как и она.

После ареста 1936г. мы все сидели в Старокузнецкой тюрьме. Все по разным камерам. Каждый день милые старички Наливайко, дед Юхим и его старушка, жившие в нашей избушке на Томи, приносили нам обед – варёной картошки, молока, киселя из ревеня, овощей и т.д. Охрана приносила кастрюли в коридор и, гремя ключами, выпускала всех нас из своих камер получить себе обед. Это были краткие и дорогие для нас минуты свидания, когда мы могли переброситься новостями и просто словом ободрения. Один раз Анна Гр. сказала мне, улыбаясь: «А вдруг расстреляют?» – «Что ты!» – ответил я ей. Но она оказалась права. Её расстреляли где-то в лагерях Мариинских, в 37 или 38 году, создав ей новое дело. Ей, А.Д. Драгуновскому, который ещё на суде сказал судье: «Я труд люблю, но труд свободный, под штыком я работать не буду».

На пересуде в 1940 году Анны Гр. и Якова Д. уже не было. В деле я видел бумажку с пометкой «совершенно секретно», что они привлечены по новому делу и на суд доставлены быть не могут. На этом суде больной, желчный старик судья особенно напирал на то, чтоб и меня причислить к этой группе, всё добивался от свидетелей – какие были мои отношения, в смысле взглядов, с Анной Гр. Я чувствовал ясно, что он хочет и меня подвести под расстрел, но меня спас один свидетель, причём свидетель от обвинения, который сказал, что я однажды вывел её с собрания. «За что?» – спросил судья. – «За то, что так нельзя говорить», – ответил свидетель, и судья отошёл от этой своей мысли. Но этого никогда не было,⁴² я ни Анну Григорьевну, ни кого ещё другого с собрания никогда не выводил. Правда, я как-то сказал ей на собрании, что нельзя так озлоблённо говорить, и, может, это вспомнил свидетель и, волнуясь перед судом, сказал «вывел». Но как бы то ни было, то, что я на суде старался доказать, что я не был заодно с Анной Григорьевной,

тем стараясь избежать её мученической участи, осталось навсегда в моей совести большим местом, и мне даже показалось, что она была в зале суда и укоризненно посмотрела на меня.

7 декабря 1981г.⁴³

Уар Уарович Зайцев (1902-1937гг. примерно)⁴⁴

Я познакомился с ним на собраниях единомышленников Л. Толстого в Московском вегетарианском обществе в Газетном пер. 12 в Москве. Это был 1921-1922 год. Родом он был из Подольска (под Москвой).

Общительный, живой, он первый подошёл ко мне, и мы стали друзьями. Не знаю, какая была его профессия, чем он занимался раньше, но я знал его как помощника Владимира Григорьевича. Он жил в чертковском доме (Лефортовский пер. 7), собирал и отсылал посылки заключённым, сопровождал Вл. Гр. в его поездках по городу, ездил с ним и к видным представителям власти по разным делам, а больше всего с хлопотами о заключённых.

У Вл. Гр. всегда были такие помощники, которые охотно и увлечённо помогали ему в его деятельности, но их всех, одного за другим, забирали от него в неволю. Уар знал это, и всё же охотно пошёл на эту работу. Взяли и его.

Тогда арестов среди друзей было много, и у многих возникала мысль – как относиться к этому. Некоторые безропотно подчинялись насилию, а у некоторых появлялась мысль – надо ли помогать насилию своим подчинением, надо не сопротивляться насилием же, но надо не участвовать в этих действиях, и они молчали на допросах, не ходили, когда им приказывали идти, и даже отказывались есть в неволе, отказывались от работы в неволе и т.д. Так думал и Уар. Ещё раньше, когда его один раз арестовали, он применил этот способ и потом подробно описал, как он себя в это время чувствовал, как реагировали на это те, кто его брал. Статья эта называлась: «Опыт одних суток» (через сутки его выпустили). К сожалению, эта статья, наверно, нигде не сохранилась.

Потом его арестовали и сослали в Казахстан, на один из островов Аральского моря. В начале он писал оттуда интересные письма о своём житье-бытье. Потом замолк навсегда.

Когда его арестовали, первое время содержали в⁴⁵ Бутырской тюрьме ОГПУ, в Пугачёвской башне, как более опасного преступника. Там он много пережил, голодал, кормили искусственно, запугивали и т.д.

С острова описывал он, как его с большой партией спецпереселенцев на санях с семьями вели по льду моря, как лёд кое-где проваливался, и люди гибли. Описывал, как бродил он по пустынному острову, натываясь кое-где на вешанье с сушёной рыбой, чем занимались спецпереселенцы, как давали ему иногда приют в своих жалких лачугах ссыльные.

Уар был одинокий, семьёй не успел обзавестись.

Вот и всё, что смог я сказать о нём – мало и бедно, да разве можно в кратких сухих словах описать всю его жизнь, всё его горение души, которые он отдал на служение людям на путях к разумной, свободной, мирной, трудовой жизни.

*10 декабря 1981г.*⁴⁶

Василий Васильевич Шершенев (1900-1971гг.)⁴⁷

Родился он в Подмоскowie. Детство трудное. Отец пьяница. Первая служба Васи – милиционер. Условия для рождения духовной жизни самые неподходящие. Но «дух дышит, где хочет».

Вася и его брат Петя⁴⁸ узнали учение Л. Толстого и были захвачены новым пониманием жизни.

Отказ⁴⁹ направили его в детскую колонию беспризорников воспитателем. Время в стране было тяжёлое. Прошла война 14-17 годов, ещё не вполне закончилась гражданская. Масса сирот, голод, разруха. Партия поставила задачу спасти этих детей. Создавались колонии, желающих работать на этой трудной работе с детьми несчастными, но уже и одичавшими и даже преступными, было мало. Наша молодёжь шла туда охотно. Работали искренно и увлечённо, сливаясь с детьми в одну семью, что так было нужно детям.

И дети их любили. И некоторые становились их друзьями и единомышленниками на всю жизнь. Романа Сильванович, Ваня Свинобурхо (Рутковский) и другие.

Но им не захотелось разрушать создавшееся единение в труде и общей жизни, и они создали сельскохозяйственную коммуны, в которую вошли и некоторые из воспитанников.

Коммуна находилась километров в 60 от Москвы, близ города Воскресенска, станция Новый Иерусалим. Называлась коммуна имени Л. Толстого.

Главным инициатором её был, пожалуй, Митрофан Нечёсов, личность очень увлекающаяся, горячая, порывистая и умеющая увлечь за собой. Но вскоре его увлекло ещё куда-то (так и погиб он в лагерях), а председателем Совета коммуны избрали Васю Шершенева, и был он им до конца, когда в 28 году коммуны ликвидировали.⁵⁰ На их место прислали новых людей.

В этот переходный период, когда там жили ещё старые коммуны и уже приехали новые, произошли драматические события.

Сгорел двухэтажный деревянный дом, поползли разговоры – толстовцы сожгли. Были арестованы Вася и ещё несколько человек. Тогда было начало коллективизации в стране, не всё везде проходило спокойно, бывали и эксцессы. Судили строго. И над нашими арестованными нависла большая угроза.

Из Москвы был вызван эксперт по пожарным делам. Этот мужественный и честный человек не побоялся по зыбкой лестнице, приставленной к устоявшей высокой шатающейся трубе, влезть на самый верх и обнаружить место возникновения пожара – нашёл трещину в трубе, где она соприкасалась с крышей, которая была из щепы, легко воспламеняющейся. Печь жарко топилась ежедневно, пекли хлебы и старые, и новые жители. Обвинение отпало. Их выпустили. Но все ещё жили там, не знали, куда тронуться. Трудно было оторваться от обжитого тяжёлым трудом места.

И вот был назначен день торжественного открытия новой коммуны им. Ворошилова. Ждали из города докладчика, он запаздывал. Наконец, вдали показалась фигурка бегущей девушки-комсомолки. Она взбежала на помост запыхавшаяся⁵¹. Сказала несколько слов, голос срывался, она выпила стакан воды из стоявшего графина и упала. К ней подбежал председатель сельсовета: она была мертва, и он упал без чувств. Послышались голоса: «Толстовцы отравили воду!» Медицинская экспертиза отвергла отравление. Вода была чистая. Девушка умерла от разрыва сердца. После этого случая оставаться дольше там было жутко, и они оставили родное гнездо, и рассеялись кто куда, большинство же переехало в нашу коммуны.

Произошло это просто, без всякой договорённости, даже без собрания, так всё было ясно и само собой разумелось.⁵²

Друзья оказались нищими, без крова, без средств, без пищи. Куда же им деться, как не к нам. Причём всё это получилось так, что никто не чувствовал себя благодетелем, и никто не чувствовал себя каким-то обязанным. Этим мне дорога коммуна. Тогда всё это даже не приходило в голову. И уж только теперь, десятки лет спустя, осмысливаю я всё происшедшее и вижу, в чём его ценность. Как было в старом обществе, хотя бы в городе, хотя бы в деревне? Вдруг им надо было принять к себе жить ещё такую семью, как их? Трудно. Да если бы и приняли, была бы всё же какая-то натянутость. В одних ещё чувствовались бы хозяева, а другие – обязанными, стесняющимися.

У нас этого не было. У нас было общество, сложившееся добровольно, без насильственной основы. У нас был труд свободный, не по найму. У нас не было личной корысти, накопительства.

Мне могут сказать – какая же это биография Васи Шершенева?

Но я считаю, что самая настоящая. Я пишу то, чем жил и он, и все мы.

Потом нас стали разгонять.

Решили переселиться хоть в Сибирь, лишь бы сохранить общую нашу жизнь.

Вася тоже поехал бы⁵³ с нами, но в это время у Владимира Григорьевича не осталось помощников. А дела было много, начиналась работа по изданию полного собрания сочинений Л.Н. Толстого, а Вл. Гр. был главным редактором. Предложили Васе перейти к Вл. Гр-чу. И он перешёл.

Мы в коммуне переживали своё, а он в Москве своё. Дали ему 25 лет заключения и его брату Пете тоже.

Легко ли это быть оторванному от воли, семьи, любимого труда и быть похороненным на 25 лет, быть оклеветанному, опозоренному перед обществом.

Вряд ли он выжил бы это испытание, но умер Сталин,⁵⁴ и многое изменилось. Реабилитировали полностью и освободили и Васю, и Петю.

Вася выстоял душевно, а Петя надломился и отказался от того, чем жил прежде.

Вася стал работать в букинистическом магазине. Раз вошёл покупатель, и оба сразу узнали друг друга. Это был следователь, так грубо и жестоко ведший следствие. Смятение мелькнуло в глазах следователя, потом он встряхнулся и протянул руку Васе.

– А, Василий Васильевич, здравствуйте!

Но Вася руки не подал

– Ну что Вы, Василий Васильевич, ведь это всё прошло.

Вася молчал.

Один раз Вася с женой (Елена Фёдоровна Страхова, младшая дочь Фёдора Алексеевича Страхова. Они поженились, живя в коммуне) шли по улице. Вдруг он упал без сознания. В больнице врачи приняли его сначала за очередного пьяницу и не сразу занялись им, а когда занялись и поняли, что это сердце отказало, было уже поздно. Так умер Вася.

Были у Васи и слабости, и падения, как и у всех людей, но всё же он всегда оставался близким и дорогим. Он не оправдывал своих слабостей.

17 декабря 1981г.⁵⁵

Николай Гаврилович Ульянов (1892г. рождения – на сегодня, 11 февраля 1982г., здравствует)⁵⁶

Родился в г. Великие Луки Псковской губ. Окончил счетоводческие курсы. До революции примыкал к баптистам. При Керенском и во время гражданской войны служил в армии писарем.

После революции попалось ему как-то «Евангелие» Толстого в издании Черткова и загорелся. Узнал адрес Ф.П. Добролюбова (секретарь Москов. Вегет. об-ва) и стал выписывать много литературы. В 1926 году съездил в Москву познакомиться с единомышленниками и побывал в коммуне им. Л. Толстого (Новоиерусалимская), а потом переселился туда совсем. После её ликвидации в 1928 году переехал жить в коммуну «Жизнь и труд» (Шестаковка) и с нею вместе переселился в начале 1931 года в Сибирь, где работал на всяких работах и нёс обязанности счетовода. После перевода коммуны на устав колхоза (в 1939г.) остался членом колхоза «Жизнь и труд».

В войну 1941г. призвали в армию в нестроевую часть, работал на КМК (Кузнецкий металлургический комбинат).

Под конец жизни увлёкся философией П.П. Николаева о духовном монизме.

Николай Гаврилович никогда не женился и сейчас живёт одиноким стариком, ветхим, по-холостяцки неопрятным, но полным духовных интересов. Идёт ему девяностый год.

11 февраля 1982г.⁵⁷

Герасим Павлович Анненков (1890-1960гг.)⁵⁸

Родом он был из Молдавии. В молодости – анархист. Как-то при изготовлении бомб произошёл взрыв, и ему выбило глаз и оторвало кисть левой руки.

Когда и как произошла смена его убеждений – не знаю, но знаю, что вращался он в сектантских кругах, а потом присоединился к единомышленникам Толстого. В списках на переселение его не было. По слухам узнал о нашем переселении в Сибирь и как-то пришёл к нам в коммуны вдвоём с женой Килей, молдаванкой. Вскоре она его покинула, наверно, ей не по душе пришлась жизнь в свободной коммуне, без обрядов, без мистики, без личного имущества, а Герасим прижился и до конца дней своих уже не покидал новых друзей, с которыми крепко сжился душой.

Когда я был в лагерях, где порой бывало очень голодно, я писал об этом друзьям, и Герасим, который, несмотря на свой один глаз и одну руку, работал свой огородик (тогда уже коммуны перевели на колхоз) и присылал мне посылочки от трудов своих – крупы пшенной, сушёных овощей, которые меня очень трогали, и я и сейчас помню об этом.

Он хорошо рисовал, и просто так друзьям, а иногда подзарабатывал на жизнь, немного рисуя шахтёрам. Благодаря этому у него был довольно большой круг знакомых, и все его любили.

Последние годы он любил читать индусскую философию, доставал и выписывал книги. В этом я не сходился с ним, мне трудны и скучны были эти книги, но не потому, что я отрицал их серьёзность, а потому, что там было много специальных слов, которые я не понимал, за которыми скрывались целые области понятий, не изучив которых, читать эти книги для меня было одно мучение, да и времени не было. Жизнь общества захватывала меня целиком. Но чувство большой душевной близости всегда было⁵⁹ у меня к Герасиму, и взаимно.

Умирал он в семье Лёвы Алексева. Узнав, что ему плохо, я пошёл к ним. Он лежал, увидев меня, обрадовался, мы поздоровались. Я что-то спросил, он хотел ответить, но с его губ ясно слетело только одно слово: «она...» – и он замолк, дар речи пропал. Я так и не знаю, о чём он хотел сказать. Тогда мне пришла в голову мысль – может быть, он может писать, и я сказал ему об этом. Он обрадовался, воспрянул, взял бумагу, карандаш и... поник. Он не смог и писать. Пищу глотать он тоже не смог и дня через 2-3 скончался.

На свой анархизм с бомбами он смотрел как на юношеское недомыслие.

И сейчас ещё на нашем сельском кладбище, в тени берёз и в высокой траве сохранился небольшой холмик, который я иногда и навещаю, вспоминая друга и брата.⁶⁰

Пелагея Константиновна Жарова⁶¹ (1886-1977гг.)⁶²

Родилась в г. Шуя Ивановской обл. в 1886г. Умерла в Монино Московской обл. 17 сентября 1977г. Жизнь её не была наполнена какими-либо большими событиями, но вся наполнена большим духовным содержанием.

Она рано узнала учение Толстого, и её влекла жизнь среди единомышленников, где связывало всех вместе не расчёт, не необходимость, не выгода, а взаимное понимание, взаимная поддержка и нужный, свободный труд.

Ещё до революции она жила и работала в общине на земле Влад. Александровича Шеермана, помещика, отдавшего свою землю под общину (кажется, это было в Люботине).

В 1923 году пришла она к нам в коммуны «Жизнь и труд» под Москвой и делила с нами первые, трудные в материальном смысле годы.

Она не любила и не умела философствовать, прямая, справедливая, она жизнью своей утверждала то, во что верила.

Иной раз кто-нибудь скажет: «Мы христиане...», а она резко скажет: «Я не христианка, я язычница», подразумевая наш ещё далеко не высокий нравственный уровень. Как-то на пасху кто-то из женщин задумал по старому обычаю чем-нибудь отметить, что-то испечь (а Поля у нас тогда варила), а она опять резко ответила: «Если хотите, пеките сами, а я буду варить, как всегда!».

Её манера отвечать иногда резко была только внешность, а когда она взглядывала прямо в глаза, то в её глазах светилось столько доброты, детскости, что сразу становилась видна её душа добрая, стремящаяся к правде.

Всю жизнь она прожила одинокой. В Сибирь она с нами не поехала, о чём потом жалела.

До смерти работала в больнице Монино, кастеляншей, где её все уважали за доброту, честность и⁶³ справедливость. Умерла в доме престарелых, хотя её и звали к себе жить родные, но она не хотела никому быть обузой.

К таким людям, как Поля, наверно, можно применить толстовское – неделание, которое враги христианства, не понимая и издеваясь, называют «ничего неделанием».

Они не убивали, не крали, не развратничали, не клялись, не обманывали, не заедали чужих жизней. В этом была вся заслуга и сила их.

У меня для самого себя есть мерка для оценки людей – какая была бы жизнь на земле, если бы все люди были такие, как этот человек?

И ответ сразу становится ясным – если бы все люди были такие, как эти, невозможна была бы на земле вся та дикость, жестокость, глупость, свидетелями которых являемся мы сейчас в нашем «цивилизованном» мире.

14 февраля 1982г.⁶⁴

Александр Николаевич Ганусевич⁶⁵ (1882-1978гг.)⁶⁶

Родом крестьянин из Смоленщины. Переехал в Москву. Работал стрелочником на железной дороге. После октябрьской революции он и его брат Степан отказывались от военной службы, их судили, но поняли их, отнеслись мягко как к искренним и рабочим. Отпустили и больше всю жизнь не тревожили.

Через Николая Васильевича Троицкого, который знал нашу коммуны, Александр Николаевич познакомился со мной и стал бывать в коммуны. Работа у него была сутки и двое свободных, и всё свободное время он проводил у нас. А его семья, жена и трое детей летом жили у нас как свои близкие люди, работая вместе с нами.

Александр Н-ч как старший из всех нас по возрасту и как природный крестьянин много помогал нам в труде советом, делился своим опытом. Коммуну он очень полюбил.

Как и все крестьяне-единомышленники Толстого был, хотя и не очень грамотен, но очень развит нравственно и, конечно же, и морально, и нравственно был гораздо выше разных президентов и политических вождей народов.

В Сибирь с нами не поехал, но связь поддерживал, приезжал один раз в гости. Я, когда бывал в Москве, всегда бывал в их семье. Переписывался я с ним до конца его жизни.

Жена его Анна Александровна умерла намного раньше его, и он жил у незамужней дочери Вали.

До конца своей жизни, будучи уже старик 90 лет, он каждую неделю, а то и чаще, ездил за Москву в лес, проводил там целые дни, собирая грибы, наблюдая птичек, зверюшек, а то и лосей. Там встречался он с такими же любителями и ценителями природы, у них были уже такие места, где было кострище, пристроены жердочки для отдыха, где они собирались и свободно делились мнениями. Ал. Н-ч читал что-нибудь из Толстого, а иногда другое что, так прочитал моё письмо к Леонову⁶⁷, и у него были сочувствующие ему, которым он, чувствуя приближение смерти, раздал все свои книги.

17 февраля 1982г.⁶⁸

Иван Дмитриевич Моргачев⁶⁹ (1922-1941гг.)⁷⁰

Ваня – младший сын Дмитрия Егоровича Моргачева. Приехал в коммуны совсем ещё мальчиком.

Как в семье Толстых младший сын Ваня был по душевному складу особенно близкий к Толстому, так и в семье Моргачевых Ваня выделялся из всех детей своей разумностью, кротостью, душевностью, чего нельзя было сказать об остальных детях. Учился в нашей коммунальной свободной школе. Был способен и в науках, и в ремёслах, и последние годы даже обучал учеников навыкам труда по столярному, бондарному ремеслам.

Он был ещё совсем юношей, когда разразилась война. Вместе с другими коммунарами он отказался от оружия, и его расстреляли.

Последний раз его видели родные в городе, когда их вели куда-то, и Ваня знал уже о приговоре, и тяжело было молодому человеку, которому жизнь открылась во всей её красе и благе, расставаться с жизнью, родными, друзьями и он, увидев своих, тихо заплакал.

Такими людьми, как Ваня, должен бы гордиться мир, а их уничтожали, но дух правды и добра, чем они жили, живёт и всегда будет жить.

Я помню ещё, за несколько лет до войны, у Италии шла война с Абиссинией (теперь Эфиопия), и мы узнали, что один молодой итальянец отказался брать оружие и не пошёл служить в армию. Его приговорили к расстрелу, он сидел в тюрьме. Мы узнали о нём и на общем собрании членов коммуны написали ему сочувственное письмо и отправили через Интернационал противников войны. Не знаю – дошло ли оно до него.

17 февраля 1982г.⁷¹

Алёша Демидов⁷² (примерно 1900-1937гг.)⁷³

Совсем мало что знаю о нём, но светлую память о нём всегда храню в своей душе и поэтому хочу хоть в нескольких словах оставить память о нём.

Крестьянин, из Владимирской области, плотник. Как-то пришёл к нам в коммуну и остался у нас жить. Серьёзный, твёрдый в раз принятых им убеждениях.

Мы все были молоды и, конечно, не всегда могли удерживаться на высоте. Иной раз чрезмерно увлекались трудом, что даже считали достоинством, хотя это и бывало иногда в ущерб духовной жизни. Алёша замечал это и напоминал нам. Один раз он выразил это в топорных стихах, из которых я запомнил всего несколько строк:

*Недалече, эва тут,
Есть коммуна «Жизнь и труд».
Для коммуны мало чести
В материализм глубоко лезти.*

Топорно, но мысль была верная, заставляла задумываться.

Алёша был с нами и в Сибири. Его плотницкое ремесло очень пригодило в период стройки.

Не помню, когда и почему он уехал на родину.

Алёша был знаком с моим отцом, встречался с ним в Москве. Помню раз отец писал мне о нём, что ему предстоял какой-то суд в связи с воинской повинностью, исход мог быть очень суровым. Но Алёша был спокоен и твёрд. Отец назвал его – богатырь духа.

Год его рождения я точно не знаю, примерно 1900, и год смерти его тоже не знаю, вернее всего 1937.⁷⁴

Юрий Неаполитанский (год рождения приблизительно 1902 – умер 3 октября 1975г.)⁷⁵

Впервые я услышал о Неаполитанском Юрии в начале 20-х годов. Тогда он жил в г. Владимире и, несмотря на свою молодость, издавал журнал «По стопам Христа». Журнал этот напоминал другой журнал «Истинная свобода». Вышло несколько номеров.

Потом Юрий с матерью, зубным врачом, переехал жить в Москву.

В Москве Юра проявил себя как активный участник кружка молодёжи в доме Черткова и как член Моск[овского] Вегет[арианского] общ[ества]. Через некоторое время Юрий стал развивать деятельность среди членов МВО и особенно среди молодёжи, что старики наши (Чертков, Горбунов-Посадов, Гусев, Бирюков) сделали своё дело, теперь устарели и ослабли, и нам, молодым, надо взять всё дело в свои руки.

Я ему тогда возразил, что столько сделать, сколько сделали старики, вряд ли нам по плечу, но если ты чувствуешь в себе силы, так кто же мешает тебе проявить их? Но зачем же стариков затрагивать, они начинали с пустого места, начинай и ты. Так же думали большинство и за ним не пошли.

В 1929 году из кружка молодёжи взяли Баутина И., Пескова Б., Сорокина И., Григорьева А. и Ю. Неаполитанского. Дальше пути их разошлись. Если первые четверо, попав в Соловки и столкнувшись с царившей там тогда жестокостью, бесчеловечностью, в знак протеста отказались работать и несли за это большие испытания, едва не умерли, Юрий не отказался от работы в лагере, а, наоборот, сумел устроиться довольно благополучно.

Попутно скажу о судьбе этой пятёрки – Ваня Баутин умер в лагерях, Боря Песков возвратился, но на прощанье сказал: «Я ухожу

туда, где не только любят, но и ненавидят», – и его дальнейшая судьба неизвестна. Ваня Сорокин и Алёша Григорьев до⁷⁶ конца жизни остались верны толстовскому учению и своей душе. Ю. Неаполитанский и не отказался, но как-то отделился от единомышленников, от того, чем он жил, и жил своей обособленной жизнью.

Не скрою, в молодости я несколько недолго любил и осуждал Юрия, но к старости я стал думать, что главное в человеке не то, чего он достиг, а в том движении к добру, в тех усилиях, что он делал, а это другим не видно и Бог ему судья. И когда через 45 лет разлуки мне пришлось опять с ним встретиться в кругу друзей, мне это было приятно.

Вскоре он умер.⁷⁷

Семья Гуриных⁷⁸

Л.Н. Толстой не считал официальную науку – историю действительно историей народа. Описывать даты рождения царей и королей, их сражения и т.д. не есть история.

Настоящая история народов та, где описывается рост сознания в людях и изменения жизни соответственно выросшему сознанию народа.

Таким, пусть маленьким, штришком в истории русского народа мне кажется семья Гуриных.

Гурины – крестьяне Тульской губ. Елифанского уезда деревни Вылётровка.

Когда-то это были стрельцы, образовавшие городок Елифань как оплот против набегов татар на Москву.

Стрельцы никогда не были крепостными, но помимо своей военной службы занимались крестьянством.

Вылётровка раньше по-стрелецки называлась Красный осетрик, по красным верхам их шапок.

Семья Гуриных были отец, мать, семь сыновей и дочь.

Отец был человек очень горячий и грубый. Старший сын прослужил в армии всю войну 14-17 годов, потом гражданскую. Если в 14 году ему было 21 год, то, значит, он был примерно 1893 года рождения. В первый же день его возвращения домой была его встреча, он вышел из избы на крыльцо прохладиться, шёл дождь, ударил гром, и его убило...

Два следующих брата Михаил и Григорий⁷⁹ работали в Мытищах под Москвой на Вагоностроительном заводе столярами-краснодеревщиками. Оба уже узнали Толстого. Михаил Николаевич, когда его в 1941 году призвали в армию, отказался и был расстрелян. Он в коммуне не был. Гриша женился на нашей коммунарке Наде Гриневиц и вступил в коммуну и вместе с нами переехал в Сибирь. Быстрый, горячий, хороший плотник, он был у нас бригадиром по строительству. В войну 14 года он ещё не знал Толстого, служил в армии и попал в плен. Там им обильно давали антивоенную литературу, в том числе Толстого (наверно, желая этим путём ослабить⁸⁰ военный дух русской армии). Там он и стал единомышленником.

В Сибири в 1933 году Гриша стал инициатором отделения от нашей коммуны с.х. артели «Сеятель». Причина была та, что многие члены коммуны устали от постоянного приёма в члены коммуны всё новых и новых желающих, большей частью многодетных и без отцов, которым мы не отказывали, но из-за этого коммуна не могла выбиться из нужды, нехватки питания, молока, масла и т.д.

Они решили ограничить приём новых членов, поднять своё благосостояние. Каждый двор завёл себе корову и т.д., и жить стали богаче, но вскоре ударил 1937 год, и многие и многие члены артели, в том числе и Гриша, были взяты и не вернулись больше домой.

Позднее были выданы родным бумажки, что все страшные обвинения в терроре, вооружённых восстаниях, шпионаже и т.д. были необоснованны, и они все реабилитированы посмертно.

Четвёртый брат был Егор. Был членом нашей коммуны ещё под Москвой. Мягкий характером, несколько слабовольный, переболевший энцефалитом, полуинвалид, он всё же был призван на войну. Отказаться не смог, служил в обозе и дошёл до Берлина, но в душе оставался единомышленником, ни разу не выстрелил, но был ранен. Долго валялся на поле сражения, там встретился с таким же, видно, воякой, как и он, раненым немцем, и они помогали друг другу, чем могли, пока их не подобрала наша. Ему дали медаль «За взятие Берлина», он её потерял.

Были ещё три брата, я их не знал. Один из них, кажется, Семен, тоже погиб в 37-ом. Сестра их Паня была у нас в коммуне в Сибири.

Когда-то учение Толстого разными, совсем не предвиденными, путями доходило до народа, и вот семья Гуриных пример того, как брошенное Толстым семя дало всходы, нашло путь к сердцам людей и меняло их жизнь.

Кстати, из этой же деревни Вылётовки были у нас в коммуне Вася Лапшин (расстрелян за отказ в войну) и Рогожин Иван Степанович – взят в 37-ом и не вернулся.

2 марта 1982г.⁸¹

О двух неизвестных, но близких и незабываемых⁸²

Зимой 1939г. я был в лагерях Коми ССР, 1-ый ОЛП. Вожаель – называется этот лагерь, расположенный среди бесконечных лесов севера на берегу реки Вислянки. В тот день мы строили пекарню, крыли крышу. Мимо нас пролегла слабо⁸³ наезженная дорога в штрафной лагерь. Недалеко от нас на поляне стоял небольшой сруб, серый, унылый, плохо покрытый. Это был изолятор для особо провинившихся.

Туда завели на ночь этап, который гнали на штрафной. Мы не видали, когда их завели.

На другой день я был в зоне. Ко мне подошёл помощник начальника лагеря и спросил:

– Мазурин, ты толстовец?

– Да, а почему Вы знаете?

– Нюхом почуял, – ответил он.

– Хороший у Вас нюх, – пошутил я.

– Мазурин, скажи, – опять спросил он, – почему ты работаешь, а есть толстовцы, [которые] отказываются работать в лагерях?

– Так мы же не партия, где есть обязательный для всех устав. У нас нет догматов, обязывающих всех, как в церкви. У нас есть только общее направление, а каждый свободен поступать так, как ему говорит его разум и совесть, по своим силам.

А почему Вы это спросили? – спросил я его.

– В этом этапе идут два толстовца, отец и сын, их послали на штрафной за отказ от работы, – сказал он.

– А как их фамилия? – спросил я, думая, а, может быть, кто-нибудь из знакомых.

– Не помню, – и сказал какую-то фамилию, но и я её забыл, но что-то вроде Пономарёвы, но это не точно.

– Гражданин начальник, разрешите мне повидаться с ними!

– Этап уже ушёл, – ответил он.

Мне было до слёз жаль, что не удалось увидеть их. Мне так нужна была эта встреча, а, может быть,⁸⁴ и я хоть чем мог бы быть им полезен, хотя бы узнать адрес их домашних и сообщить домой о них.

А так они, наверно, погибли там в безызначности. А в лагере уже прошёл слух об этом этапе и о двух толстовцах, отце и сыне, говорили с уважением – они отдали свои тёплые вещи тем, кто был совсем раздет. А сами?

А сами они, видно, горели огнём жаркой веры в высшую жизнь духа, дающую благо людям и не знающую смерти.

4 марта 1982г.⁸⁵

Прощальное слово Бори Мазурина на могиле Лёвы Алексеева⁸⁶ в день похорон 28 января 1978г.⁸⁷

Милый Лёва!

Не радостная встреча собрала нас сегодня вокруг тебя, а скорбное прощание, разлука навсегда.

Ты был скромный человек, не любил громких слов и нравоучений, но ты всегда был простой, честный, чуткий, добрый, любящий шутку и всегда готовый прийти на помощь тому, кто нуждался в ней.. и нисколько, нисколько не жалел ты себя в труде на общее благо.

Таким ты был. Таким ты останешься для нас навсегда.

Ты был нужен всем нам. Когда на земле есть такие люди, легче и радостнее жить.

Теперь ты ушёл, но в трудных случаях жизни близкие тебе люди будут обращаться к тебе за советом – а как бы сказал Лёва? а как бы поступил он? И ты всегда сможешь дать правильный ответ.

Пусть примет тебя земля с миром, та земля, на которой ты жил и трудился на ней с такой любовью.

А нас прости, если когда мы бывали несправедливы или недобры к тебе.

Прощай.⁸⁸

От составителей

Текст приведённой выше рукописи одного из руководителей толстовской коммуны «Жизнь и труд» Бориса Васильевича Мазурина подготовлен к печати под руководством главного хранителя государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого в Ясной Поляне» *Элеоноры Петровны Абрамовой*. На первой стадии работы над рукописью сотрудники музея изготовили в высоком разрешении фотографии каждого листа. Эти снимки обработали в Кемерове, трансформируя текст в книжный формат. К рукописи был подготовлен небольшой аппарат из более чем 90 ссылок. В подготовленных составителями примечаниях отражены некоторые особенности рукописи: отмечены пометы на полях, вставки, исправления текста, подчёркивания заголовков, деление на листы. В примечаниях мы привели и некоторые перекликающиеся с содержанием названной рукописи, и дополняющие её, цитаты из другой работы Б.В. Мазурина, над которой он работал в Тальжино ещё в 1964-67 гг. и которая была опубликована в 1989 г.⁸⁹

По сведениям Э.П. Абрамовой, «Оригинал представляет собой общую тетрадь в плотном тёмно-синем переплёте, в которой рукой кого-то из близких Бориса Васильевича переписан первоначальный текст. На с. 1, ниже заглавия, дарственная надпись шариковой ручкой старческим почерком: "Музею Ясная Поляна / Б. Мазурин. 16.7.89" ...».⁹⁰

Элеонора Петровна сообщает и о том, как именно материалы архива Б.В. Мазурина попали в Ясную Поляну:

«Летом 1989 г. Передвижной музей и выставка картин из Ясной Поляны экспонировались в Новокузнецке. Сотрудники Новокузнецкого краеведческого музея и рассказали привезшим выставку яснополянцам о том, что в 1930-е годы недалеко от города располагалась толстовская коммуна, что и сейчас живы кое-кто из коммунаров. Именно от них мы впервые узнали имя одного из основателей коммуны Б.В. Мазурина. В этом же году наши сотрудники приехали в Тальжино к Б.В. Мазурину. Встреча произвела неизгладимое впечатление. Борис Васильевич был уже глубоким старцем, но, несмотря на всё пережитое, сохранил поразительную доброту,

ясность ума и необыкновенную память. Узнав о том, что Яснополянский музей интересуется его архив, он с радостью согласился передать принадлежащие ему документы в Ясную Поляну. Им было передано более 100 единиц хранения. Часть переданных нам материалов он уже опубликовал в книге «Воспоминания крестьян-толстовцев», вышедшей в Москве, в изд[ательстве] «Книга» в 1989 г.».⁹¹

Рукопись начата, судя по всему, 27 ноября 1981 г. (такая дата стоит после главки о братьях Тюрк)⁹². Как уже было сказано, она продолжает серию его «тальжинских» записей 1964-67 гг., опубликованную в 1989 г.

Собственно воспоминания начаты с главки о Петре Литвинове – она следует сразу же за предисловием, в котором Б.В. Мазурин жалуется на ослабевающую память и недостаток письменных и иных источников по истории толстовской коммуны. Возможно, к написанию новых воспоминаний Б.В. Мазурина подтолкнуло письмо Дмитрия Пашенко⁹³ от 12 октября 1981 г., который сообщал: «... мне совестно, что я до сих пор не откликнулся на твою просьбу написать для тебя краткие сведения из жизни Петра Литвинова».

Очевидно, Б.В. Мазурин специально запрашивал Д. Пашенко о фактах биографии отдельных коммунаров и ожидал ответа, чтобы взяться за перо. Какое-то время потребовалось, чтобы письмо, написанное 12 октября, попало в Тальжино, из личного архива была извлечена речь на похоронах П. Литвинова – эти два источника и послужили «импульсом» к сочинению кратких биографических справок членов коммуны. Кроме того, у автора был ещё фрагмент, написанный в мае 1975 г., касающийся судьбы Гюнтера Тюрка, он тоже оказался присовокупленным к новым записям: отнюдь не случайно сразу после подглавки о П. Литвинове следует раздел о братьях Тюрк. Наверное, стареющему автору было проще вспоминать, используя уже зафиксированное на бумаге, поэтому в первую очередь из запасов памяти извлекаются сведения о тех, о ком когда-то доводилось писать.

Сравнивая воспоминания Б.В. Мазурина начала 80-х гг. с записями 1964-67 гг., убеждаемся, что автор старается избегать явных повторов. Цитируется, правда, одно и то же стихотворение Гюнтера Тюрка, однако – в разных редакциях! В воспоминаниях 60-х годов в стихотворении не хватает двух строчек:

*Хоть страха в душе моей нет,
Но дальше с тобой мне нельзя...*

Становится понятным, почему Мазурин заново цитирует стихотворение: прошло полтора десятилетия, и он вспомнил строчки, которые когда-то забыл!

Последняя по времени запись датирована 4 марта 1982г. Стало быть, работа над небольшими по объёму воспоминаниями продолжалась почти четыре месяца!

Воспоминания Мазурина, не поражающие литературным слогом, оставляют, тем не менее, глубокий след в душе. Перед нами вырисовывается некая, не имеющая границ, как бы парящая над земными невзгодами обитель, сумевшая объединить людей, далеко не «построенных», очень разных по характеру и по оттенкам их веры в толстовское учение, и всё же накрепко спаянных всем наиболее возвышенным, чем проникнуто толстовство.

Удивительно, что эти люди разнятся по образованию, по отношению к труду (работать слишком много – тоже негоже, так считают некоторые, ибо это отвлекает от духовной сути), даже к общности, одни – до наивности честные в нечеловеческих условиях, не делают себе никаких уступок, другие могут присвоить малую толику овощей или соломы для своей семьи, – но всё это неважно. Важна их глубокая убежденность в благотворности «неделания», в смысле «не делать зла». А если пойти дальше, разве не вырисовывается извечная модель совести: «не делай другому, что не хотел бы, что бы сделали тебе». Этот единственный неотъемлемый от человека «храм в сердце» несут коммунары через всю жизнь, которая, судя по приведённым воспоминаниям Мазурина, во многих случаях заканчивалась трагично. Причём и подобное трагическое завершение жизненного пути, по-видимому, принималось смиренно остальными сотоварищами: это воспринималось как плата за счастье внутренней свободы в окружении сомышленников, не связанных ни догмами Веры, ни обязательствами перед государственным строем.

Совершенно, казалось бы, «безобидные», покорные, ярые труженики, коммунары были тем опасны, что никой узде не были

подвластны, помимо собственной совести и собственных воззрений.

Воспоминания Мазурина, как и опубликованные ранее в «ГС» воспоминания Анны Малород впечатляют и покоряют видимой наивностью и безропотностью, под которой сокрыт негибимый костяк внутренней силы и твёрдости – росток бесценного семени, посеянного великим писателем Толстым.

Борис Гросбейн О БОРИСЕ МАЗУРИНЕ И ЕГО ПИСЬМЕ ПИСАТЕЛЮ ЛЕОНОВУ



9 ноября 1960 года в Москве, в Большом театре на торжественном заседании, посвященном 50-летию со дня смерти Л.Н. Толстого, один из наиболее известных членов Союза писателей СССР Леонид Леонов прочитал «Слово о Толстом».

Писатель-академик, лауреат Сталинских и Ленинских премий, Герой Социалистического Труда и депутат Верховного Совета СССР своей речью о Л.Н. Толстом выразил главную пропагандную идею кремлевского руководства, состоявшую в том, что в своем неприятии церкви и царского режима, великий писатель дошел почти до большевистских выводов, но, с другой стороны, недопонял, недосообразил, недооценил, что именно пролетариат с оружием в руках наилучшим образом осуществит его, Толстого, мечту о преобразовании человечества. Доклад Л. Леонова был малозначительным, по мысли Марка Павловского, историка и публициста, но основную политическую идею того времени отражал точно.

Среди толстовцев, проживающих тогда в разных местах Советского Союза, «Слово» Л. Леонова подняло бурю негодований. Возмущены леоновскими высказываниями были многие единомышленники яснополянского мыслителя, о чём толстовцы писали друг другу (Левинкас, Мазурин, Гусев, Пряхин, Кофман и многие другие).

Наибольший интерес в московском самиздате той поры вызвало письмо Б.В. Мазурина к Леониду Леонову, в котором сибирский

автор из глухой деревни Тальжино Кемеровской области открыто полемизировал с маститым столичным литератором по поводу «мало читаемых» философских сочинений Толстого и якобы ничтожного количества его последователей.

Письмо Б.В. Мазурина к Л. Леонову является и отповедью, и проповедью взглядов Л. Толстого.

Написанное полвека тому назад обращение Б.В. Мазурина к одному из корифеев советской литературы и сегодня не потеряло общественной значимости. Читатель наших дней найдет в нём много созвучного камертону своей души.

Думается, что записки и воспоминания идейных единомышленников Л. Толстого, проживавших в Сибири, тех, кто испытал на себе превратности истории, но, тем не менее, не озлобившихся, являются особым, еще мало исследованным пластом нашей культуры, причем культуры не элитной, а созданной жизнью, трудом и подвижничеством простых крестьян и интеллигенции, мысливших самостоятельно, живших не по лжи в эпоху тоталитаризма.

* * *

С Борисом Васильевичем Мазуриным мы жили по соседству 40 лет. Близкое общение между нами продолжалось около 20 лет, когда я стал осознанно интересоваться толстовским движением в СССР.

Встретимся весною на меже и разговариваем. Думаю, что дефицит общения с молодёжью Борис Васильевич ощущал. Это было заметно по его вопросам: «Что ты читаешь, Боря, чем ты и твои друзья интересуешься, какие настроения теперь в среде студенческой молодёжи?».

Однажды он мне предложил: «Боря, можешь говорить мне “ты” вместо “Вы”. Знаешь, я беседовал однажды с Владимиром Григорьевичем Чертковым, так он мне сказал, чтобы я обращался к нему на “ты”, так ближе и родней, по-братски, по-товарищески».

Но я не смог преодолеть возрастной барьер, и продолжал «выкать». Беседы с Б.В. Мазуриным оказались для меня университетами жизни, он открыл мне доселе неведомый мир. Мой отец А.Г. Гросбейн, а также С.А. Алексеев и Б.В. Мазурин, – вот личности, которые больше всего дали мне в смысле развития, познания нравственных законов.

Б.В. Мазурин, наверное, был первым, кто объяснил мне межконфессиональную разницу сектантских течений и толстовства. Он говорил примерно так:

– Сектанты – люди, конечно, хорошие, но они, скорее, подражают в своих верованиях другим хорошим людям, как дети подражают взрослым. Именно подражают, а не дают себе труд анализировать, сомневаться, оценивать критическим рассудком явления, события. А последователи Л.Н. Толстого верят не в букву Библии, а в так называемое всемирное разумное сознание, слово Бог определяют как любовь и проявление любви во всё. Толстовцы не имеют личного Бога, истину постигают по нравственному закону, который «внутри нас» (*И. Кант*). «Всё в тебе», – говорил Толстой.

Поистине прекрасную в своём трагизме жизнь прожил этот непоколебимый искренний толстовец. Он рассказывал мне, как в юности увлекался анархизмом. Много читал П. Кропоткина и М. Бакунина. Поступил после окончания школы в 1919 году в Горную академию, но постепенно, под влиянием учения Л.Н. Толстого, уверовал в его философские воззрения. Борис Мазурин сознательно ушёл из академии, где учился весьма успешно (в моём архиве хранится зачётная книжка студента Б.В. Мазурина, и в ней – только хорошие отметки). Ушёл, чтобы на практике реализовать идеалы великого яснополянского пророка. Ему не дали. Большевики, советская власть как только ни мытарил юного провидца: Бутырский централ, сибирские семь месяцев одиночки, суд, Мариинский централ в Кузбассе, Коми Усть-Вымьлаг, Архангельская область – пеллагра, цинга, истощение, – ничто не сломило Мазурина. Организатор толстовских коммун в Подмоскovie, Первый председатель Совета знаменитой теперь, известной во всём мире коммуны «Жизнь и Труд», узник ГУЛАГа, автор «Рассказа и раздумий об истории одной толстовской коммуны “Жизнь и Труд”», «Одного года из десяти подобных», инициатор полемики с советским писателем Леонидом Леоновым, – всё это снискало Б. Мазурину широкую известность. Друг семьи В.Г. Черткова, П.И. Бирюкова, И.И. Горбунова-Посадова, неформальный лидер сибирских толстовцев, Мазурин Б.В. стал одним из родоначальников обширной мемуаристики о толстовском движении в СССР. А это целый пласт российской культуры, альтернативной официальной, ещё не изученный

полностью. После смерти Б.В. Мазурина его дети передали мне на хранение и исследование важнейшие его документы, рукописи, дневники, статьи и заметки, обширную переписку.

Б.В. Мазурин – Л.М. Леонову 20.01.1962г.¹

Уважаемый Леонид Максимович, когда я прочитал ваше «Слово о Толстом», мне захотелось высказать вам некоторые свои мысли, вызванные им. Но напряженная работа не давала возможности сделать это. Теперь же, когда у меня появилась возможность написать, и я хотел приступить к этому, я убеждался, что это вовсе не так легко написать о таком важном и большом предмете, пожалуй, потруднее, чем лес валить. Так что первая причина трудности – во мне, а вторая – в вас.

Общее впечатление от вашего доклада – туман, красивый, мастерский туман. Я уже несколько раз перечитал ваш доклад, стараясь понять, что же вы все же хотели сказать, но, несмотря на то, что я нашел в нем много ясно высказанных мнений, но для меня в целом все же не ясно, что вы хотели сказать.

Тогда я подумал, что для вас самого не все еще ясно в Толстом, в его мировоззрении, а отсюда, естественно, неясность мысли доклада. С одной стороны, вы возвеличиваете Толстого как художника, ставя его имя в небольшой ряд величайших людей человечества. Я тоже очень люблю его «Воскресение» и «Войну и мир» и «Хаджи Мурата».

Но давайте поставим себе один вопрос и ответим на него, положив руку на сердце?

– Было ли бы так велико чувство невозместимой утраты, была ли так велика скорбь по поводу смерти Толстого, был бы так всемирно велик отклик на это событие, если бы Толстой был только автором этих великих художественных произведений?

Я думаю, что вы согласитесь с ответом – нет!

Толстой дорог человечеству чем-то еще, более важным, более важным. Так что же это более важное и более нужное для людей? Это – по вашему выражению – «мало или вовсе нечитаемые тома».

О том, почему они мало читаемы, скажу дальше. Но эта вторая часть толстовского наследия, оказывается, не так уж проста, она

необычайно многогранна, охватывает такой огромный круг важнейших вопросов жизни, что и тут разобраться нелегко.

Попробуем сначала выделить более ясное всем – это Толстой-обличитель. Правдивый, не знающий страха, не устающий... обличитель всех тех обликов, суеверий, которые душат человечество, делая жизнь людей вместо блага – невыносимым страданием.

Толстой-обличитель велик, настолько велик и нужен людям, что если бы за ним и не было его художественных произведений, его жизнь, его смерть были бы не менее замечены человечеством.

Если сказать, что те его тома, где он полемизирует с так называемой христианской церковью, разоблачая ее ложную религию, чудеса, таинства, иерархию, [взгляды на?] Бога, личность, [их место?] на небесах и всю прочую чушь, несовместимую с разумом, если сказать, что эти тома для нас уже менее интересны, то ведь не надо забывать, что церковь в свое время была – господствующая идеология, которая глубоко и прочно охватывала умы всего народа, в котором вырос и сам Толстой, что в то время сказать против церкви – был подвиг.

Или те его статьи, где он кричит против смертной казни, против дикости государственного устройства, против войны – утратили свое значение для человечества?

Или его критика потерявшего от жиру и безделья разум искусства, как современного абстракционизма, неуместна сейчас?

Или его критика науки, – науки, оторвавшейся от человека, его жизни, нужд – устарела сейчас? Разве мы не свидетели сейчас того смрадного, смертельного тупика, куда завела наука человечество, отказавшись от того компаса, который давал ей Толстой, – поставить во главе всех наук – зачем и как должен жить человек. При условии знания той науки и остальные науки могли бы служить благу людей, что от них и требуется.

Или, может быть, отношение Толстого к труду не такое, как надо? Но, мне кажется, что в настоящее время вырабатывается настоящее отношение к труду, в котором сливаются и Кропоткинское – интегрированное образование, и толстовское суровое – в поте лица есть хлеб свой, и вся наша современная практика, – создание школ по принципу воспитания в человеке всех его сторон, не только умственных, но и физических, но и трудовых, – и всё это созвучно.

И педагогические труды Толстого далеко не устарели. Так где же, я все не докопаюсь, «реакционность» взглядов Толстого?

Или вас, атеистов, пугает слово «религии», как купчиху Островского пугало слово «жупел»?

Но ведь вы сами отмечаете в своем докладе, что у Толстого религия такова, что не противоречит разуму.

Весь ураганный огонь безбожников против не соответствующей разуму догматов и положений церковных религий, причащений, воскресений, чудес и т.д. – не касается религии Толстого.

Неужели осмысление человеком, что он есть такое, зачем он живет, какое его отношение к другим людям и ко всему бесконечному миру, и каков закон жизни, такой надо исполнять, чтобы жизнь была тем, чем она должна быть, – благом, – неужели такая религия не нужна людям? Но ведь без такой религии не живет ни один человек, только бывает она очень примитивная, иногда бессмысленная, иногда очень уж «умная», иногда просто ложная, а Толстой всеми силами своей великой души, не щадя себя, не останавливаясь ни перед чем, сообразуясь только с честным разумом, старается уяснить себе и всем этот «высший закон жизни», без знания которого жизнь людей превращается в бессмысленное страдание и мрак.

Отрицать существование и необходимость этого «высшего закона жизни», в конце концов, просто ненаучно. Мы знаем, что все в мире подчиняется своим строгим законам, будь ли то законы физические, химические, будь ли то минерал или живая природа, будь ли то общественная жизнь людей, – везде, во всем наука открывает свои законы и, пользуясь ими, достигает замечательных результатов. Малейшее нарушение этих законов, малейший просчет ведет к гибели, катастрофе, к замиранию жизни.

Так почему же, когда дело доходит до попыток людей открыть «высший закон жизни», поднимается крик: «реакционно», «опиум» и т.д.

Почему же такие слова, как душа, совесть, разум, скромность, самоуверенность, любовь, «он умер, но он живет», братство, чистота нравственная, духовная жизнь и т.д. и т.д., все больше и больше входят в наш современный обиход; возьмите любую книгу, газету, календарь, стихи, романсы, – на каждом шагу.

Ведь это те понятия, те слова, какими полны «Путь жизни», «Круг чтения», «На каждый день» Льва Толстого.

Может быть, они не нужны людям, – эти слова, эти понятия? Нет! Наверное, без них не обойтись.

Недавно на съезде работников идеологического фронта докладчик сказал, что для построения коммунизма необходимо разрешение триединой задачи:

- 1) создание [нрзб.] технической базы;
- 2) создание коммунистических форм общежития;
- 3) воспитание человека.

Так вот, если первое условие пользуется всесторонним вниманием и дает успех, если второе хоть сколько-нибудь движется, то третье условие, надо сказать, в полном прорыве, далеко отстает от первого. Но ведь это скажется, этот недостаток сейчас почувствуется. Надежды на то, что это воспитание произойдет как-то незаметно, само собой, самотеком, что через труд будет формироваться человек с новой коммунистической моралью, – эти надежды легкомысленны; здесь нужен труд и труд такой же упорный, как и в создании материальных ценностей, даже больший.

И этот труд не принесет пользы, если все эти правила поведения, все эти моральные нормы будут даваться как нечто разрозненное, не вытекающее из естественного, из главного, то есть мировоззрения человека.

Так что и эта сторона жизни и труда Л. Толстого не может быть безразлична или вредна современным людям.

Не подумайте, что я хочу... чуть ли не поставить знак равенства между Марксом и Толстым. Я этого не хочу. Я хочу только сказать, что у Толстого, помимо его художественных томов, в томах «мало читаемых», заключено такое общественное богатство, что отказываться от него по меньшей мере близоруко. Толстой очень широк и веротерпим. Составляя свой «Круг чтения», он сам в конце книги делает выборку мыслей для людей нерелигиозных.

Что же во взглядах Толстого есть неприемлемого для вас, марксистов, материалистов, атеистов?

Основное, наверное, то, что Толстой отрицает насилие как способ движения вперёд, как средство установления между людьми отношений, свойственных человеку, – он говорит, что «огонь огнём не тушат».

Ну, что ж, спорить не к чему. Но мне кажется, что кто не слепой, тот увидит – какие бы грандиозные дела ни делались при помощи насилия, как бы велики ни были изменения и результаты, в конце концов, люди вновь, как и в начале, стоят перед той же задачей, которую не миновать решать для того, чтобы жить по-человечески, и которая насилием никак не решается.

Да, Леонид Максимович, перечитываю вновь и вновь ваш доклад и все больше и больше хотелось бы сказать, но чувствую, что эта задача мне не по силам. Для этого нужен хорошо натренированный ум, а мои мысли ворочаются, как камни, и, написанные на бумаге, никак не передают тот огонь, то напряженные мысли, которые бурлят внутри. Мучительное это чувство – быть немым. Но всё равно, я не сдаюсь, я убежден, что если что наболело в душе, то найдутся и слова высказать, пусть необтесанные, не литературные, но правильные.

Вы бросили упрек Толстому, что после него не осталось горячих учеников, кроме, кое-где рассеянных по свету сектантов, да еще к чему-то добавили: «вроде штундистов и молокан», как будто вовсе не было людей, более близких и единомышленных родством.

А я задаю вам вопрос и сам удивляюсь, как это могло случиться в современном мире, что осталось в живых еще хоть несколько человек, искренне разделяющих учение Л. Толстого.

Известно, что Толстой не организовал партию, в которой члены ее мыслят и говорят сегодняшней передовицей, что он отрицал всякую политическую борьбу за власть над людьми, отрицал всякие парламенты и государство, то есть отрицал те все кнопки и шестерёнки, при помощи которых в современном мире придется [слово нрзб.] мыслям и идеям отдельных людей.

Толстой не пользовался ни одним из этих рычагов. За ним, одиноким, не организованным, не конспиративным, беззащитным было только одно оружие – горячая мысль и правдивое свободное слово, и любовь к жизни и людям, но нет еще тех весов взвесить, кто

больше сделал на благо людей, десятки и сотни революционных партий, или этот один человек.

Где же следы Толстого, где его ученики?

Известна судьба первых последователей Толстого, погибших в дисциплинарных батальонах. Еще сейчас живы кое-кто из приговоренных к двенадцати годам носить каторжные цепи за отказ быть солдатом при царе.

А после революции, когда запрещенные произведения Толстого, благодаря усилиям его друзей прорвались к народу, и народ потянулся к ним, как иссохшая земля к дождю, какая судьба была тогда этих людей? Когда в небывалый разгар политических страстей они оставались верными себе?

Был случай, когда одного брата гражданская война захватила у белых в Крыму, а другого у красных на смоленщине, оба отказались от оружия и обоим грозила смерть. Того, что на смоленщине, спас от смерти декрет Ленина «об освобождении от военной службы по религиозным убеждениям». Да, был такой декрет, подписанный В.И. Лениным. Наверное, для пустого места декреты не издавались.

Известно ли вам, что во время первой мировой войны в России было до 25.000 открытых отказов от военной службы?

Вы понимаете, что это значило в военное время?

Известно также, что и до Толстого такие отказы бывали, но это были единицы. Конечно, и из этих 25.000 не все были толстовцы, но отношение к службе в армии было толстовское.

Известно ли вам, что в ту же войну Англия дала до 40.000 открытых отказов от военной службы. Ведь в Англии жил Чертков В.Г., и там впервые печатались труды Толстого, запрещённые в России. В библиотеке отказывающегося, распространявшейся тогда в Англии, из 15 брошюр – 13 были Л. Толстого.

Мне не известна статистика подобного рода во время второй мировой войны, вам как писателю открыты гораздо большие возможности узнать всё, если бы вам это было интересно. Я точно лично знаю много людей, искренних единомышленников Л. Толстого, мирных, трудовых людей, открыто пошедших на смерть за свои убеждения. Эти люди рассматривались уже не как идейные люди, а как уголовные преступники, потому что человеческий

декрет Ленина как-то и как-то был уже отменён и отменен не потому, что не к кому было его применять.

Нужно ли напоминать вам, что существовавшие в первые годы после революции журналы толстовского направления – «Единение», «Голос Толстого», «Истинная Свобода» и другие были все закрыты. Московское Vegetарианское общество имени Л. Толстого распущено. Известно ли вам, что десятки и сотни больших и маленьких, удачных и не удачных коммун и общин единомышленников Л. Толстого, искренне пытавшихся осуществить на практике принципы коммунистической [организации?] трудовой, трезвой и мирной жизнью, были все так или иначе ликвидированы.

Известно ли вам, что в 1930 году было специальное решение Президиума ВЦИК «О переселении толстовских коммун и артелей», согласно которому свыше 1000 душ крестьян с разных мест Советского Союза переселились на голое место на берегу реки Томи, Кузнецкого района, Кемеровской области, где без всякой помощи, за короткий срок создали хорошее коллективное хозяйство. Какая же судьба этих людей? Почти к каждому из взрослых мужчин был под тем или иным предлогом приклеен ярлык уголовного и страшного преступника и большая, слишком большая часть их погибла безвозвратно. Правда, родные этих людей имеют на руках бумажки, что их мужья и отцы и дети не были ни в чём виноваты. Бумажки есть, а людей нет.

Так что у нас, в России, искренние единомышленники Л. Толстого были и не в виде тех карикатурных интеллигентов, бьющих себя в грудь, говорящих, что я питаюсь рисовыми котлетками и занимаюсь самоусовершенствованием, а людей прямых, трудовых, разумных, трезвых и глубоко мирных. Сказать, в чем выразилось влияние идей Толстого во всем мире, задача, конечно, слишком огромная, и я не в силах ее касаться, но все же отмечу хотя бы одного лишь Ганди и мирные события в Индии.

Нисколько не умаляя самого Ганди, личность замечательную и вполне самостоятельную в своем мышлении, все же надо отметить, что идеи Толстого были известны ему и во многом увлекали его. По словам Ганди, книга Л. Толстого «Царство Божие среди вас есть», этот гимн свободному, человеческому, безвластному и безнасильственному обществу, была одной из более других оказавших влияние на его жизнь.

И кто знает, если бы рука несчастного убийцы не прервала жизнь Ганди, то, может быть, Индия стала бы той первой односторонне и искренне разоружившийся и тем порвавшей заколдованный смрадный круг гонки вооружений, ведущей к гибели человечества.

Конечно, это только «может быть», но то, что сейчас, в наше время, появляются такие люди, как Л. Толстой, как Ганди, – служит порукой тому, что в широчайших массах народов назревает почва для появления таких идей и таких людей.

И я твердо убежден, что только на этом пути может найти человечество путь к своему спасению и к жизни, исполненной человеческого достоинства.

Вот, Леонид Максимович, то, что мне хотелось сказать в связи с вашим «Словом о Толстом». Может быть, сказал очень много, а, может быть, слишком мало, вернее второе, потому что эта тема неисчерпаема и жизненно необходима, но мне надо кончать.

Хочется в заключении привести одно замечательное письмо Владимира Галактионовича Короленко к И.И. Горбунову-Посадову:

«Искренне уважаемый Иван Иванович, сегодня Ваши друзья празднуют Ваш сорокалетний юбилей. Позвольте мне присоединиться к числу Ваших друзей.

Я знаю, что многое разделяет меня от них, но одно нас соединяет – это религиозное отношение к жизни. Я, как и они, чувствую, что эта жизнь бесконечна, что она не нами началась и не нами кончится, что это именно бесконечность. Почувствовать эту бесконечность – это значит почувствовать религиозное отношение к жизни.

До сих пор знание и религия были две области от разных категорий, но я верю, что они станут одной. И это именно общее, что видится мне родственным между мной и Вами. Когда-то знания и вера станут единым, сольются в один поток, вера и разум. Тогда не будет противоречий неразумной веры и безверного разума. Я в это верю, я на это надеюсь, я на это уповаю. И надеюсь в этой вере с вами встретиться когда-нибудь. Может быть, еще не скоро. Может быть, нужно еще и знанию, и вере пройти много расстояния навстречу друг другу, но когда-нибудь это случится. И тогда вера и разум станут одно. А до тех пор да здравствует терпимость. Да скроется тьма, да здравствует солнце! Надеюсь, что это объединит нас всех. Пожелаю вам и всем, чтобы скорое наступило это время.

Любящий Вас *Вл. Короленко*. 28 сентября 1921г.»

Ещё я хочу вернуться к вашему выражению «мало или вовсе не читаемые тома», – подразумевается под этим всё в трудах Толстого, не относящееся к художественным произведениям, но мне также ваше мнение кажется по меньшей мере наивным. Да, эти произведения Толстого мало или вовсе не читаемы, но почему? Возьмите любой город, даже не любой, а каждый город нашей необъятной страны, зайдите в любой книжный магазин или в любую библиотеку и спросите Толстого, что-либо из его нехудожественных произведений, – нигде ничего нет. Так о чём же тут говорить.

Правда, у нас осуществлено полное издание всех произведений Толстого, это большое и нужное дело, но тираж его действительно «академический», а не для широкого народа.

Еще хочется сказать вот о чём, мне уже за 60, за свою жизнь я много перевидал, переслышал, пережил, передумал, и хотя я хотел бы считать себя единомышленником Л. Толстого, но это не значит, что я всё нашел и ничего не ищу, что я и сейчас не готов принять что-то лучшее, что больше бы освещало мне жизнь, наполняло её разумным содержанием, давало бы радость, бесстрашие, свободу и бодрость жизни. Одним словом, делало бы жизнь не тяжёлой бессмыслицей, а благом. Конечно, по поговорке «каждый свой товар хвалит», но [надо] применять евангельский совет ценить дерево по плодам, а людей по делам; я вижу, что Толстой до последних дней своих жил, мыслил, боролся, радовался и страдал, но пустоты душевной не чувствовал, а жил «вовсю», у него не было ни малейшей потребности скрашивать свою жизнь вином или же вовсе уходить от жизни. То же я знаю про многих и многих людей, близких по взглядам к Толстому, с которыми сталкивала меня жизнь, и это служит ещё одним доказательством истинности их пути. Потому что, в конце концов, для чего человек живет? В чем смысл жизни, если не в том, чтобы жить и чувствовать благо жизни.

Не могу кончить, не сказав еще об одной великой несправедливости к Толстому.

Православная церковь предала анафеме Л. Толстого, на это у неё хватило смелости. Что же изменилось теперь? Или, может быть, она раскаялась в этом, признала свою ошибку? Извинилась? Я что-то еще не слышал об этом. И вот представители этой организации,

всегда и везде, и во сем мире благословляющей «Христоролюбивое» воинство и всех, у кого в руках власть, сидят вместе с вами на советах мира. Что-то я не пойму ничего.

Я несколько не хочу затрагивать лично этих людей, я сам встречал среди православных людей достойных, которых я уважал, но как организация – они не имеют права говорить о мире.

А где голос Толстого?

Толстого, от которого никакие анафемы и толкователи не отнимут звание – величайшего борца за истинный мир.

Ну, простите, Леонид Максимович, кончаю.

Желаю вам всего доброго.

Б. Мазурин

20.01.1962г.

Тальжину.

Печатается по копии, снятой с оригинала автором.

Рукописный фонд музея новокузнецкой гимназии №96.

Текст подготовлен к печати Б.А. Гросбейном.

От составителей. *Итак – полемика малограмотного, но, видимо, начитанного и живо интересующегося всем происходящим в мире, «человека от земли», страдающего от того, что его переполняют мысли и чувства, но – «как тяжело быть немым» – не суметь их достойно выразить – вот такая полемика с маститым мастером слова, каким был Леонид Леонов, книгой которого «Русский лес» мы все, наверное, зачитывались.*

Но что за чудо? Этот «немой» тальжинский коммунар, по нашему разумению, «бой» в приведённой полемике всё-таки выиграл, потому что высказанные им мысли «в защиту» так называемых «малочитаемых» книг Толстого, как нельзя более актуальны сегодня – впрочем, они оставались таковыми в течение полувека с момента написания этого письма.

Как ни странно, прочитав сейчас письмо Мазурина, адресованное писателю Леонову, – письмо «в защиту» тех идей Толстого, что привели к его отлучению от церкви, – приходишь к мысли, что вслед за волной всемирного интереса к Ф.М. Достоевскому

поднимается мощная волна интереса, не столь к художественным произведениям великого русского писателя Толстого, сколь к его нравственно-философским размышлениям и поучениям. И чем более человечество устремляется в своё «кружение в пустоте», тем нужнее и благотворнее становятся те истины, что так искренне и мужественно изложил своим отнюдь не гладким слогом мудрый, «немой» тальжинский крестьянин Б.В. Мазурин.

Нина Никитина **НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВЕЧНОЙ** **ПОВСЕДНЕВНОСТИ**



Существует привычный и устоявшийся взгляд на Толстого. Лев Толстой – гениальный классик, строго взирающий со своей высоты на мелкосуетливое земное. Порой он больше знаком нам как знаток высокого, как художник, озабоченный вечными проблемами духа. Сиятельный образ невольно ослепляет нас, не позволяя рассмотреть в нем земное, своеобразно повторяющее божественное. Но Толстой един и целостен, и в самом мелком, и в самом грандиозном. Един во множестве, постоянен в изменчивости, бесконечен в ограниченности. Он сам – абсолютное движение! Толстой был убежден в том, что «истина в движении – только». Он постоянно искал необычное в обыденном, оригинальное в банальном, вечное в повседневном. Он был наделен вкусом ко всему реальному, повседневному, мимолетному, живому. Первой и последней любовью стала для него Ясная Поляна, превратившаяся в его Вселенную, вместившую в себя и лукавое повседневное.

Нами отобраны из вечной повседневности те сюжеты, которые, с нашей точки зрения, и сегодня способны возбудить живой, а не просто академический интерес. Во-вторых, потому, что нигде так ярко не проявляется характер человека, как в обыденной форме человеческого бытия. В-третьих, интенция повседневности наиболее четко просматривается в эффекте двоящихся смыслов «обыденное – необычное». В-четвертых, соприкосновение с великой персоналией эстетизирует данную проблему,

давая каждому из нас хотя бы «один час полной жизни», когда осознается и бедность, и любовь, тайное становится явным, конечное – бесконечным, невыразимое – отчетливым. Мы узнаем, как складывалась уникальная жизнь из сонма будничных реалий и из обыденных состояний. В заботах о здоровье, о чистоте в доме, о комфорте близких, о чувстве долга, о «привычном от вечности» протекала жизнь Льва Толстого, как порой проходит и наша жизнь «здесь и сейчас».

Со временем повседневность Толстого мифологизировалась, напоминая «два плеча одного коромысла». Вполне будничная жизнь, в общем-то, похожая на нашу с вами, оказалась несравненной, уникальной и впечатляющей по своим плодам. Казалось бы, каждый день был похож на другой: те же неизменные прогулки пешком или верхом на лошади, при любой погоде, подобные обязательной процедуре как завтрак, обед, ужин и всегда в одно и то же время; непрменная игра на фортепиано, в шахматы, в карты. При этом каждодневная работа без выходных дней, проходившая за письменным столом, из-за чего писателю пришлось называть себя «машиной для писания».

Попытаемся прочертить демаркационную линию между простым и великим, профанным и сакральным, рутинным и харизматическим, и убедиться в очевидном, – даже гению не удалось покинуть нашей общей «родины» под названием повседневность.

Суть нашего замысла заключается в осмыслении первой, «всехней» реальности, то есть нашей с вами обыденности, которая в особых случаях подвергается мутации. Так рождается совсем иная, вторая реальность, и в этом заключается исключительное право гения.

Толстой в контексте повседневности предстает не в каноническом облике, будто бы в домашнем халате, с неудобными вопросами. Как известно, «черти водятся в мелочах», казалось бы, никоим образом не совместимых с образом гения. Мелочи эти расширяют горизонты видимости, репрезентируя Толстого непривычно повседневным.

Есть писатели, которые гораздо меньше своих шедевров и есть те, кто несравнимо больше своих творений. Лев Толстой относится ко вторым. Его творчество давно стало достоянием мировой

культуры. И как всякое творчество оно не стареет, поэтому и воспринимается Толстой не только как классик, но и как живой современник.

Думается, что самым гениальным его творением стала его жизнь, чрезвычайно текучая, с прихотливо меняющейся стилистикой поведения, с частой сменой взглядов и настроений. Кризисы неотступно сопровождали его, завершившись вполне предсказуемым финалом – уходом из Ясной Поляны. Он объяснял изменчивость телесных и душевных движений тем, что «нет ничего stable в жизни», и потому невозможно приспособиться ко всем прихотям повседневности раз и навсегда. Ведь она подобна текущей воде. Семейное счастье, здоровье, финансы, усадебное хозяйство, увлечения постоянно подвержены эрозии времени. Толстовское жизнебытие было изменчивым как облака на небе. Писатель примерял себя к некоему канону, но заканчивалось это неудачей. Он легко сходил и расходился с людьми, внезапно мог изменить свои прежние взгляды, относился ко всем теориям нигилистически. Он изобретал собственные универсалии, «чтобы знать, что делать прежде, а что после».

Как удалось Толстому разгадать «секрет сороконожки»? И как он смог преодолеть комплекс «самого пустышного малого», который, как когда-то говорил о нем учитель, ничего «не может и не хочет»? Он сам много раз признавался в собственной никчемности, и это не являлось для него самоедством или преувеличением. Феномен его личности заключается в том, что он упорно сопротивлялся фатальным ужасам жизни, находя в себе адекватную силу для противостояния им. Свои экзистенции между городом и деревней, тишиной Ясной Поляны и шумом железной дороги, одиночеством и публичностью, вечностью и повседневностью Толстой преодолевал посредством писательства, а раздвоенность гармонизировал волей к жизни.

Нам чрезвычайно интересно знать, как Лев Николаевич стал великим человеком. Проведенная деконструкция образа Толстого позволяет трактовать его с позиции: «Не был. Есть. Был. Не есть». Толстой был убежден в том, что он уже был до того, как родился, что он – произведение всех своих предков, живших задолго до него. Недостающие знания о них он компенсировал богатством своего

воображения, дед, мать, отец, во многом, были им мифологизированы. Его жизнь протекала в прихотливой дуальности, ежедневное героизировалось, становясь «не будничным». Все в этой удивительной жизни не было случайностью, ведь случайность – псевдоним Бога. Толстой мог бы оказаться хозяином других имений – Никольского-Вяземского, Пирогова, Щербачевки, но стал владельцем именно Ясной Поляны. «Лучезарному» Льву наиболее соответствовала семантика Ясной Поляны, она стала адекватной формой его жизни. Только здесь он мог ритуализировать свой образ жизни, персонифицировать повседневность, бодро прогуливаясь по усадебным дорожкам – в драповом пальто, подпоясанном ремнем, в больших сапогах, в круглой мягкой шапочке, с тростью-стулом в руке.

Толстой не отличался богатырским здоровьем, но благодаря своей воле, благополучно преодолевал многие недуги, любя повторять, что самая страшная болезнь – вера в докторов. Верил в то, что поставить больного на ноги может только сиделка, потому что смысл лечения усматривал не в хирургических операциях, а в сестринском милосердии. И еще верил в свои духовные силы, в здоровый дух. Его воодушевляло, когда близкие и гости, видя Толстого, который в 67 лет крутил «солнце» на турнике, восторженно ахая, восклицали: «о-ля-ля!» Все это, включая способность крутить «солнышко» на гимнастике – проявление способности властвования над собою. Для него было важно не просто быть, а быть кем-то: например, стать дипломатом или писателем, взирающим на мир с высоты пирамид. В природе толстовской субъективизации заложена воля к реализации, к актуализации самости, к преодолению мечтательности. В этом заключалась особенность толстовской индивидуальности. Его жизнь явилась ярким отражением абсолютного первенства вечного в повседневном.

Известно, что один из способов озадачить сороконожку – спросить, с какой ноги она начинает ходить? Толстой в таких случаях отвечал: «Чтобы объяснить, что я хотел сказать в “Анне Карениной”, ее надо написать заново с первой до последней строки». Как умудриться сочинить выдуманного Ивана Ивановича, или Марью Петровну так, чтобы не было совестно? Разве возможно написать о дождике, о чувствах девицы, ее мечтах, да так, что и Тургеневу не снилось, и чтобы это было интересно?

Своими гениальными текстами он дал утвердительный ответ. Толстой черпал свои творческие интенции из банальной повседневности, соединяя божественное с человеческим, необычное с обыденным, прозу жизни с поэзией. О волевом «механизме» своего письма он поведал в дневниках, подробно описав все усилия, направленные на преодоление пороков, мешавших достижению успеха. Он завел «Правила для развития воли», «Франклиновский журнал». В них изо дня в день давал себе задания, с точным указанием сроков исполнения. Для развития слога Толстой стремился в совершенстве овладеть искусством перевода. С помощью таких «сизифовых» штудий – переводов с иностранного языка на русский, он попутно еще и развивал свою память.

Когда он писал, то сначала выходило «лениво, слабо и трусливо», а со временем – «бесстрашно». В дневниках фиксировались прототипы, зрительные образы, фабула, ритм, развязка. «Сороконожка» не объясняет ход своего движения.

Для «каторжного» труда был необходим соответствующий антураж – аскетичный письменный стол, маленький стульчик, плотно закрытые двери кабинета. А еще – утренний кофе, тишина, одиночество. Толстой творил, не ожидая вдохновения, не признавая выходных и праздничных дней. Его кабинет был крепостью, в которую никто не мог войти во время его работы, сравнимой с трудом Пенелопы. Здесь он пытался «перетолочь» повседневность в литературу, словно сестер Берс – Таню и Соню – в Наташу Ростову.

Он называл себя «литератором по способности и аристократом по рождению». Хаос личной жизни преодолевал благодаря писательству, кинувшись в него «сломя голову». Несмотря на то, что «литературная подкладка» была противна ему, он каждый день работал за отцовским письменным столом, подпитываясь «энергией заблуждения», преодолевая, таким образом, яснополянскую повседневность.

Тем не менее, Толстой не ограничивал себя исключительно писательством. Он успешно совмещал сонм профессий и должностей – помещика, учителя, офицера, мужа, отца, лесоведа, издателя... Короче, «ходил на голове». В повседневном хаосе добра и зла невозможно четко отделить одно от другого. Жизнь творилась ежесекундно, «кустарно» он убеждал всех в том, что истинны только

парадоксы. «Прямые выводы разума ошибочны, нелепые выводы опыта – безошибочны».

Кажется, нигде так ярко не проявляется характер человека, как в повседневной жизни, в сфере обыденного поведения. Гениальная личность неординарна во всем, в том числе и в текучей повседневности. Толстой был и домоседом, и страстным пилигримом, уединенным литератором и публичным экстравертом. Яснополянское жизнебытие помогло понять, что невозможно жить только философскими экзальтациями. Необходимо быть практическим человеком, для чего следует жить в усадьбе, защищающей от ненужных городских соблазнов. Если город создан для прожигания пропасти денег, появления долгов, то, к счастью, в усадьбе все обстоит иначе.

Постоянное пребывание в повседневности позволяло Толстому более прочно стоять на вполне реальной, родной, яснополянской земле. Он постоянно путешествовал в пространстве быстроменяющейся повседневности, запечатлевая ее в своих текстах – в 180 тысячах рукописных листов. Его вхождение в литературу было не совсем типичным. Бросив университет, он оказался в роли титулованного «недоросля», постоянно метавшегося между Ясной Поляной, Москвой и Петербургом. Формально он отставал от своих сверстников, сумевших достаточно быстро преуспеть и сделать карьеру. Он же в это время прожигал «пропасть денег», не забывая при этом о самом главном – о разработке концепции поведения.

«Утром долго не вставал, ужимался, как-то себя обманывал, читал романы, когда было другое дело; говорил себе: надо же написать кофею. С Колошиным не называю вещи по имени, хотя мы оба чувствуем, что приготовление к экзамену есть пуф, я ему этого ясно не высказал. Пуаре принял слишком фамильярно и дал над собой влияние: не знакомству, присутствию Колошина и grandseigneur'ству неуместному. Гимнастику делал торопясь. К Горчаковым не достучался от *fausse honte*. У Колошиных скверно вышел из гостиной, слишком торопился и хотел сказать что-нибудь любезное – не вышло. В манеже поддался *mauvaise humeur* и по случаю барыни забыл о себе. У Бегичева хотел себя выказать и, к стыду, хотел подражать Горчакову, *fausse honte*. Ухтомскому не напомнил о деньгах. Дома бросался от рояля к книге и от книги к

трубке и еде. О мужиках не подумал. Не помню, лгал ли? Должно быть». Ненасытная повседневность обрушивалась на него бурным потоком, и он спешил направить его в «Историю вчерашнего дня».

Ежедневно, с упорством, достойным восхищения, Толстой опровергал прозвище – «самого пустяшного малого». Он проживал «очень серьезную жизнь», упорядочивая и умопостигая ее и преодолевая хаотическую, иррациональную игру случая. Все дни проводил он в окружении кипы книг, нахмуренно изучал их и быстро делал пометки на полях. Только зимой, самой рабочей барской порой, равной летней, мужицкой. Творческие штудии вошли в плоть и кровь, став постоянной потребностью и привычкой. Вечерами делился своими литературными планами, впадал в грустное отчаяние, думая, что ничего не получится. Вдохновение заменял чтением, осознавая, что в литературе – все уже было. Две реальности благополучно уживались в нем. Писать – значило для него «думать за столом», а потом удивлялся, стыдился «такой глупости», называя ее «переливанием из пустого в порожнее». На самом деле, эта «глупость» была воплощением того, о чем когда-то так мечталось. Теперь же, когда мечта осуществилась, Толстой был уверен в том, что литературная жизнь – только одна из возможностей реализации его внутренних черт, и что подлинная основа характера раскрывается только в совокупности реализованных и нереализованных возможностей.

Чрезвычайно любопытна его история телесности, проявляемая в стремлении к чистоплотности, бесконечным тренировкам, танцевальным движениям. Ведь тело не отделимо от мысли. Своих близких писатель удивлял несказанной терпеливостью, большой бережливостью. Молодежь, как подмечал Д.П. Маковецкий, часто залушала его тихий голос. Он был неразборчив в еде, абсолютно непривередлив.

Повседневный опыт Ясной Поляны обладал яркими и неповторимыми чертами, проявлявшимися во всем, в том числе, и в толстовских диетах, в которых ему позволялось «кушать три раза в день, не употребляя при этом гороха, чечевицы, цветной капусты». В то же время разрешалось «пить молоко с кофе не менее четырех стаканов в день», а также «вино, которое можно было заменять портером». Врачами-диетологами было рекомендовано употреблять

писателю овощи, такие, как морковь, репа, сельдерей, брюссельская капуста, печеный картофель, кислая капуста, салат, предварительно ошпаренный кипятком. Также были показаны фрукты, среди которых значились печеные протертые яблоки, апельсины – «только сосать», желе, кремы и «дутые» пироги. Разрешалось есть всевозможные каши, а также яйца, сбитые со спаржей.

Толстой постоянно нес тяжелое бремя ответственности за свою харизму, которая невольно накладывала особое отношение к внешнему виду, стилю поведения, манере речи, смыслов общения, уровню расходов и т.д. Годами здесь выработывался особый вариант каждодневности – чрезвычайно персонифицированный гениальной личностью. Он мог удариться, например, в мистицизм, окружить себя Библией, Талмудом, Евангелием, чуть ли не на всех языках мира, исписывая при этом целую кипу бумаги. В итоге образовывался целый «сундук», наполненный мистической моралью и разнообразными «кривотолкованиями». Но он упрямо считал, что это и есть самое главное его дело.

Нередко Лев Николаевич испытывал, как он выражался, чувство «плохого повара», мечтавшего об обеде, когда случайно оказывался на богатом рынке. Мечтал об изысканных блюдах, приготовленных из купленных на рынке продуктов, но он «портит» этот воображаемый обед, пережарив, например, рябчиков. Однако от раскладывания провизии ему было «ужасно весело» – сразу же бродили в голове новые планы сочинений.

Толстому приходилось горбиться над верстаком, кряхтя от напряжения, чтобы правильно «всучивать щетинки, точать, выколачивать задник, прибавать подошву, набирать каблук», чтобы смастерить достойную обувь для Афанасия Фета.

Казалось бы, в Ясной Поляне происходило все также, как у других: хозяйственные заботы, чистота и порядок в доме, обеденные ритуалы, развлечения. Конечно, так, но не совсем. Сложные токи связывали обыденную повседневность с гениальными озарениями, невольно преобразовывая хаотичность усадебной жизни. Получалось будничное повседневное пространство с культом гостя, интенсивной перепиской со всем миром, имущественными разделами, «лирствованием» в родной усадьбе, «анковским»

пирогом, ставшим метафорой буржуазной жизни... Во всем этом и заключалась особенность яснополянской повседневности, ее неповторимый аромат.

Льва Николаевича упрекали в том, что его «по поступку» дальше, чем «влюбился» и «женился» не шел. Но разве не поступком является 48-летняя совместная жизнь, не допускавшая измен, несмотря на неоднократно лопавшие струны любви?! Если бы он дождал до золотой свадьбы, ему пришлось бы поменять кольцо, которое к этому времени потускнело и истончилось. Был ли он создан для семейного счастья или только для одинокого творчества? Кажется, находилось в яснополянском пространстве место и для того, и для другого.

Если тщеславие являлось неременной чертой писательской братии, то Толстой имел на это право больше других. Ему было приятно сознавать, что он – писатель-аристократ. Аристократизм ощущался всюду, несмотря на простецкую одежду, например, холщовую блузу, в которой он оставался русским баринем высоких кровей. Он не любил амикошества, бесцеремонности, фамильярности, что называется, «свиной» дружбы. Со всеми был на «вы», только два человека были удостоены чести, чтобы он называл их на «ты» – драматург Островский и актер Сулержицкий.

Яснополянская повседневность постоянно подвергалась толстовским абберациям, из-за чего становилась более «текучей», «изменчивой». Ведь он «всякую минуту был другим» и при этом оставался «все тем же». Постоянно бывал то «хорошим, то дурным», но непременно был верен тому, что «поэт сам горит и жжет других». Изо дня в день писатель рылся в книгах, письмах, бумагах, все приводил в порядок, потом пил ром с чаем, наслаждался тартинками и прочими бесхитростными домашними радостями, особенно, вышшим, божьим даром – музыкой.

Сколь изменчивым оказался Толстой в своей бесконечной повседневности? Всей своей жизнью он опровергал прозвище «самого пустяшного малого», «троглодита», и в итоге получил звание совсем иного рода – великого писателя земли русской и пророка нового человечества.

Гениально уловив мгновенность жизнебытия в многоцентричном мире, он открыл новые символы, одарил нас своими интуитивными открытиями. Толстой привык сопротивляться абсурдам

повседневности, противостоять «арзамасским ужасам» для того, чтобы найти свое достойное место в человеческом универсуме. В поиске абсолюта и в решении сакраментальных вопросов «что есть жизнь?», и «что есть вечность?» его не раз выручала литература. С прожитым веком уходили надежды на некое чудо – возможность осуществления всеобщей любви. Оставались неразгаданные вопросы и непроницаемый занавес, за который он не любил заглядывать. В прошлом он искал будущее.

Вечная повседневность провоцировала Толстого к поиску собственного «я», к победам творческого инстинкта. Всю жизнь он раздвигал границы повседневности для того, чтобы максимально самореализоваться в литературной деятельности, которая вся – плод необщительности. Он отдал ей свои «звездные часы», еще раз напомнив очевидное, что любой может сделать свою «историю», но только великий сможет ее описать.

Яснополянский мудрец оставил нам не только свои великие книги, но и свой секрет, как существовать в водовороте повседневности? Он одарил нас своим главным творением – достойно прожитой жизнью. И, если бы где-то там, где завершается земное, нас спросили бы, как мы понимаем нашу жизнь на земле, нам не осталось бы ничего иного, как рассказать о вечной повседневности Льва Толстого, протекавшей в постоянной борьбе со всем тем, что мешало ей стать совершенством. В повседневной жизни он никогда не был скучным, утомительным, педантичным, театральным. Он был и остается чародеем повседневности.

О Толстом не скажешь, что он мог ненавидеть повседневность больше, чем грех. Он относился к ней как к привычному от вечности, не освобождающему от себя. Ярким «путешествием вниз по тропинкам памяти» Толстого представляется его пребывание в Румынии с демонстрацией вездесущей повседневности, преодолеваемой силой воли его самости, утверждением «наиглубочайше личного здесь бытия». Проехав через Полтаву и Кишинев, он оказался в Бухаресте 12 марта 1854 года. Ему было 26 лет. Несмотря на то, что он был почти больным от усталости, здешний край показался ему «гораздо интереснее», чем он мог себе предполагать. «В деревне дичь страшная, а в городах цивилизация, по крайней мере, внешняя, такая, какую я воображал в Париже или Вене». В Бухаресте

он побывал в итальянской опере и французском театре. Здесь, после месячного перерыва, он снова стал вести дневник. Тут он «был счастлив все это время!» И это, несмотря на то, что «уже с неделю снова сомнительно был болен», и что «счастье избаловало» его. И он «не умел переносить счастье также, как и не умел переносить несчастье».

Спустя три месяца Толстой блистательно отрефлексовал свое «неблестящее» положение, вызванное ссорой с батарейным командиром, болезнью, помешавшей «вернуться на старую колею занятий». Живя в Бухаресте, он постоянно имел женщин, бесконечно лгал, тщеславился, а под огнем вел себя не так. После этого следовали соответствующие сентенции: он «убьет себя», если ничего не сделает для пользы людей. Здесь он много играл, проигрывал, занимал деньги, которых не было ни гроша. Его намерения серьезно лечиться сменялись желаниями «жить беззаботно и весело». Толстой еще «не нюхал турецкого пороха», но регулярно ездил к доктору, в связи с предстоящей операцией, которую он из-за малодушия регулярно откладывал. Постоянно упрекал себя в лени, в нерешительности, в страхах, которые, как он выражался, «стоили палок и плетей». Врач Даниелопулу резал в паху дважды под хлороформом, и Толстой слышал «звон инструментов, но не слышал боли». Возможно, у него было варикоцеле.

Повседневность подвергалась интенсивным трансформациям, различным инверсиям, размывая границы между частной и общественной сферами деятельности, смешивая обыденное с необычным. Толстой постоянно размышлял о самоусовершенствовании, что у него, порой, плохо получалось из-за смешения этого понятия с совершенством. В хозяйстве, в учении, в литературе он стремился достичь совершенства, забывая, что прежде надо исправить несовершенство. Он постоянно изучал диалектику своей души, отмечая либо неосновательность, либо тяжелый характер, либо привычку к праздности. Толстой очень много читал, «во время чая, обеда, десерта» то Лермонтова, то Гете, то Alphonse Karr'a, работал над повестью «Отрочество», «Записками Феерверкера».

Толстой постоянно стремился прояснить то место, которое должна занять повседневность в его жизни. Для осмысления специфики процесса субъективизации он прибегает к практике ведения Франклиновского журнала, в котором регулярно отмечает собственные

слабости, мешающие ему добиться славы, которая для него предпочтительнее добра.

«Что я такое? Один из 4-х сыновей отставного Подполковника, оставшийся с 7-летнего возраста без родителей под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования... без большого состояния, без всякого общественного положения... без правил... без покровителей, без умения жить в свете, без знания службы, без практических способностей; но – с огромным самолюбием... Почти невежда. Что я знаю, тому я выучился кое-как сам, урывками... Я невоздержан, нерешителен, непостоянен, глупо-тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр. Я не аккуратен и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодолимой привычкой. – Я умен, но ум... не был основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума светского, ни ума делового. Я честен, т.е. я люблю добро...» (47;8). Предельно откровенный автопортрет, фиксирующий внимание на феномене формирования идентичности, упорядочивании повседневности, подчиняемой собственной необычности.

Напряженная внутренняя работа, протекаемая в контексте бухарестской повседневности, посвящалась «чистке души», и носила имманентный характер. Ко всему, даже к пониманию драмы как жанра, Толстой шел «противоположным путем большинству», одаряющим его «новым поэтическим наслаждением». Во время пребывания в Бухаресте он избавился от «глупого и несправедливого взгляда, который имел на Валахов». Судьба этого народа казалась ему теперь «милой и печальной» (47;11). Между восхищенным прочтением Шиллера и подвергавшихся книжек, преодолением болезней, избавлением от пороков, как от прыщей с лица и тела, обедами с Горчаковым, писанием повестей, Толстой исходил всю Румынию, побывав под Слободзеей, Маро-Домнянско, Ольтенице в Валахии, Синешти, Леово, Курешти, Бузео, Рымник, Фокшаны, Монго, Берлад, Одобешти, Текучи, Аслуя, Яссы, Скуляны, Колораш. Таково хронологическое состояние Льва Толстого во время пребывания в Румынии, наполненного актуальными размышлениями по поводу самоидентификации. Встреча с этой страной помогла ему осознать, кто он есть, ввести себя в «форму» *rag excellence*

писателя, создать свой значимый мир в диалоге с тотальной повседневностью, отведя ей вторичную роль.

О Румынии, Бухаресте, Яссах у него «осталось самое поэтическое впечатление». «В Яссах – элегантное корсо, белые акации. После лагерной жизни, грязи было очень приятно. У извозчиков великолепные лошади, и они в то время все были русские скопцы». В старости Толстой любил вспоминать о том времени, когда он был молодым, ... и Румыния была молодой, и фазаны были молодые... Именно такой запомнилась писателю эта страна. Из памяти исчезли боль, страх, болезни, высвободив пространство для более значимой и прекрасной повседневности.

Ясная Поляна

Татьяна Никитина **ДЖОН РЁСКИН И ЛЕВ ТОЛСТОЙ:** **ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИАЛОГУ**

Толстой был воспитан на английской литературе, не черпая в ней своё вдохновение. Его дневник, пожалуй, самый лучший его автопортрет, пестрит именами Шекспира, Мильтона, Байрона, Свифта, Диккенса, Теккерея. Это не просто хорошо знакомые Толстому имена. Они – его верные друзья. Он часто цитирует их, ссылается на их авторитет, пересказывает их мысли устами своих героев. Но одно имя в английской литературе он выделял с особым пиететом. Это был его современник, родившийся всего на 9 лет раньше его и умерший за 10 лет до кончины своего яснополянского современника. Их земное бытие совпало на целых 62 года! Джон Рёскин был одним из замечательных людей XIX столетия.

Слияние двух гениальных имён нам представляется *не случайным*. В связке Толстой и Рёскин нет даже намёка на антитезу, союз «и» играет исключительно соединяющую роль, утверждая духовное родство и тождество двух замечательных людей, стоящих на пороге нового столетия.

Долог и сложен был жизненный путь Джона Рёскина, который во многом схож с опытом великого яснополянца. В *«век господства чистогана; в век господства машины над человеком»*

Джон Рёскин и Лев Толстой: приглашение к диалогу

оба сходились в едином кругообразном мироощущении, вбравшем поэтизацию патриархальной простоты, своеобразный культ «опрощения». Осмысляя свою жизнь, Толстой подкреплял истинность своих положений ссылкой на Рёскина: «Я совершил круг в своей жизни: откуда вышел, туда и возвращаюсь, чем начал, тем и кончаю. Я начал тем, что сознавал, что грешу; живя на плечах и из трудов народа и воображая, что мы можем его учить. Рёскин... говорит, что не верит в нравственность человека, не добывающего себе хлеб своими руками»¹. Многие, что пленило Толстого в Рёскине, живёт в его «изборниках», над которыми великий яснополянец работал на пороге нового столетия.

Обращение к наследию Рёскина было логичным и закономерным. Нужен был только случай. Он вскоре представился: работа над трактатом «Что такое искусство?». В этот период Толстой штудирует Рёскина, утонченного энциклопедиста, верного последователя прерафаэлитов, с которыми был в дружеских отношениях. Многие мысли великого англичанина послужили автору трактата поддержкой его эстетических воззрений. Вражду к декадансу Толстой, как известно, обосновывал в своей религиозно-философской концепции. И в этом он, в лице Рёскина, имел единомышленника. Толстой охотно цитировал его высказывания о «ложном» и «истинном» искусстве.

Искусство, народ, история, свобода, пути уничтожения социального зла – вот мучительные для обоих мыслителей темы их философских размышлений. С конца 80-х годов в толстовском дневнике мелькают записи о чтении книг Рёскина – «читал Рёскина и очень оценил»; «превосходные мысли Рёскина»; «читал Рёскина об искусстве, хорошо»... Рёскин близок Толстому исповедальностью своего тона, своей идеей индивидуалистического самовоспитания. Здесь смело можно говорить о братской близости двух религиозных художников.

В 90-е годы Толстой пришёл к мысли о необходимости донести мысли Рёскина до русского читателя, и вскоре, в 1898 году, на русском языке появился трактат Джона Рёскина «Воспитание. Книга. Женщина» с толстовским предисловием. Формирование своеобразной «полки» Рёскина в яснополянской библиотеке писателя ускорилось с намерением Толстого включить его

Татьяна Никитина

высказывания в знаменитые толстовские «изборники»: «Мысли мудрых людей», «На каждый день», «Круг чтения» и «Путь жизни».

Всего в яснополянской библиотеке Толстого сохранилось семь изданий сочинений Джона Рёскина на русском языке (не считая дубликатов) и шесть – на английском. Среди русских изданий уже упомянутая «Воспитание. Книга. Женщина», а также «Избранные мысли Джона Рёскина», кроме того, «Искусство и действительность», «Лекции об искусстве», «Последнему, что и первому. Очерки по рабочему вопросу», «Последнему, что и первому. Четыре очерка основных принципов политической экономии».

И русские, и англоязычные издания британского мыслителя испещрены многочисленными пометами Толстого. Можно предположить с большой долей уверенности, что творчество Рёскина во всех деталях было известно Толстому. Не случайно книги Рёскина в последние годы жизни писателя составляли, пожалуй, самое любимое его чтение.

Следует отметить, что в толстовских знаменитых «изборниках» высказывания Рёскина занимают *самое почётное место* среди ареала других выдающихся людей. Собственно, и сам писатель в 1906 году применительно к «Мыслям мудрых людей» отмечал это: «*Больше всего из Рёскина*»². То же самое подтверждает и бесхитростная статистика. В «Путь жизни» Толстой включил **13** фразем Рёскина; в первые два тома сборника «На каждый день» – **30**; в первую и вторую книги «Круга чтения» – **87**; в сборник «Мысли мудрых людей» внесено рекордное количество – **128** (!). В общей сложности Толстой использовал в своей работе **258** высказываний своего английского единомышленника. И это ещё не всё. Ведь общеизвестен факт, что в иных случаях Толстой не ставил под цитируемой максимой подписи, тем самым как бы полностью идентифицируя себя с автором.

Таким образом, Джон Рёскин оказался, пожалуй, *одним из самых близких единомышленников* Льва Толстого среди мыслителей мира, и потому самым охотно цитируемым. И поэтому мысли Рёскина живут в книгах Толстого какой-то особенно полноценной жизнью.

Но что же всё-таки заставляло Толстого так неуклонно и целеустремлённо следить за наследием выдающегося английского мастера? Что заставляло его читать книги о нём – «День рождения Рёскина», «Рёскин и Библия» на английском языке? Что же так тщательно он подчёркивал своим карандашом в книгах Рёскина, которые появлялись в его яснополянской библиотеке?

Попробуем проанализировать *«избранность»* рёскинских сентенций, отобранных самим Толстым, поразмышляем над тем, что же в них созвучно мыслям великого яснополянца, а что, возможно, вселяло сомнение. Любопытен и выразителен такой факт: из 160 рёскинских максим Толстой выделил 90, большинство из которых в той же редакции *«перекочевали»* на страницы его антологий. 90 подчёркнутых цитат! Безусловно, красноречивое число, лишний раз убеждающее нас в том, что Толстой упивался мыслями Рёскина, которые были для него словно бальзам. Он чувствовал в словах англичанина страстность и остроту, отточенность, иронию и блеск. Он ощущал в них, возможно, особый драматизм. Ведь слова Рёскина посрамляют могущественных и несут всем поверженным надежду и душевную отраду.

Нам представляется более чем уместным привести несколько самых характерных рёскинских изречений, отмеченных Толстым.

«Никогда не ищите удовольствий, но будьте всегда готовы находить во всём удовольствие. Если ваши руки заняты, а сердце свободно, то самая ничтожная вещь доставит вам... удовольствие, и вы найдёте долю остроумия во всём, что услышите. Но если вы обратите удовольствие в цель вашей жизни, то настанет день, когда самые комические сцены не вызовут у вас истинного смеха». Не правда ли, изречение *«звучит по-толстовски»*? Схожесть в мироощущении очевидна у обоих религиозных писателей. С трепетным пиететом Толстой переносит без каких-либо изменений эту максиму в свою антологию «Мысли мудрых людей».

Анализируя следующую сентенцию, поражаешься редкостным совпадением взглядов Рёскина с воззрениями Толстого и ещё раз убеждаешься, почему именно он привлёк внимание яснополянца: «Мы охотно говорим о книге: “Как же хороша! В ней именно то, что мы думали!”», тогда как нам следовало бы

говорить другое: “Как это удивительно! Я никогда не думал так прежде, а между тем, это совершенно верно, и если тут есть кое-что не совсем для меня ещё ясное, то я надеюсь со временем понять и это”. Ведь вы обращаетесь к автору за его пониманием, а не для того, чтобы встретить своё» [Толстой 1928-1953: 40, 140].

Пафос преодоления, жажда движения заставляла самого Толстого не раз «взбираться по голым скалам», и фраза Рёскина, высказанная им по этому поводу, казалась ему чрезвычайно симпатичной: «Никогда путь к доброму знанию не пролегает по шелковистой мураве, усеянной лилиями; всегда человеку приходится взбираться по голым скалам» [40, 213].

Изречений Рёскина, в буквальном смысле «рифмующихся» с толстовскими мыслями, не так уж мало. Одна из них, лаконичная по форме и безупречная по смыслу, была процитирована Толстым в его своде мыслей: «Результаты ваших дел оценят другие; ваши намерения знаете вы одни; нам же важно знать, было ли сердце ваше чисто и правдиво» [40, 172].

Толстого, в мыслях британского философа, конечно же, привлекал его мощный анализ, свойство его критического ума. Но не только это. Для Толстого, приверженца «умного сердца», добрая душа Рёскина, дающая возможность проникать вглубь рассматриваемых явлений, значила гораздо больше, чем его рассудочный ум.

Парадигма мира для обоих мыслителей заключалась в дуалистическом соединении божественного с человеческим. В их понятие о мире входило осмысление и человеческого феномена как божественного начала. Человек, в их понимании – это соединение духа с природой, где идея нравственности является основополагающей.

Рёскин, как и Толстой, не мог не предчувствовать грядущих экологических катастроф, связанных с грубым вторжением человека в мудрую субстанцию природы. Он гневно писал: «Когда же, наконец, будет считаться победой не опустошение полей, а возделывание бесплодных земель, не разрушение сёл, а постройка их» [40, 445]. И ему, словно Эхо, вторил Толстой: «Разрушаем миллионы цветов, а жизнь одного репья дороже многих дворцов»³.

Поражает удивительное тождество мыслей двух великих людей. Для Толстого мысли Рёскина оказались в наибольшей степени созвучными своим. Сила их притяжения заключалась в духовном родстве. Что же, всё-таки, привлекало Толстого в высказываниях Рёскина? Он увидел в них не стилистические упражнения, а практические советы, как жить лучше. Его не могли не привлечь синтез деловитости и прекрасного, пафос утверждения, простота стиля и идей. В англоязычных изданиях Рёскина Толстой также настойчиво подчёркивал созвучные ему темы: искусство, нравственность, война, спасение земли, труд, добро... Но проблемы эти не группируются в какие-то определённые блоки, а находятся как бы в свободном полёте.

Итак, из только что отмеченных слагаемых, выстраивается Рёскиным достаточно стройная картина мира, столь понятная Толстому. Между этико-философской концепцией яснополянского мыслителя и размышлениями британского пророка – адекватность, близость несомненная. Поражает даже схожесть в стилистике, дидактизме, ритме максим обоих мыслителей. Не случайно, многое, аналогичное «Избранным мыслям» Рёскина, включается затем в толстовские сборники «Круг чтения», «Мысли мудрых людей» и другие издания.

Лев Толстой страстно хотел, чтобы мысли Рёскина «проникали в большую публику», так как он относится к редким людям, способным «думать сердцем», и потому думает и говорит то, что «сам видит и чувствует, и что будут думать и говорить все в будущем». Вот такую важную «сейсмографическую» роль Толстой отводил Рёскину.

Для позднего Толстого, как известно, неизбежен был, в частности, резко отрицательный взгляд на элитарное искусство, и столь же неизбежен взгляд на искусство народное, как на истинное. Как близки в этом отношении мысли Рёскина мыслям Толстого. Основная идея многолетних эстетических размышлений Рёскина, в сущности, та же, что и у Толстого. Рёскин был, пожалуй, первым европейцем 19-го столетия, который открыто и мужественно заявил: «Искусство – показатель нравственности», «искусство страны, какое бы оно ни было, служит критерием её этического состояния». Толстой высоко ценил Рёскина за его

идею «христианского искусства», за идею главенства нравственной силы в искусстве.

Многие мысли Рёскина Толстой использовал для выражения своих эстетических взглядов. Свою вражду к декадентской культуре Толстой охотно обосновывал религиозно-этическими аргументами, доводя их порой до абсурда. И здесь он в лице Рёскина имел своего надёжного единомышленника, охотно, как мы знаем, цитируя его изречения о «ложном» и «истинном».

Для обоих творцов крайне важна была и искренняя, бескорыстная самоотдача мастера в искусстве. В первом выпуске «Избранных мыслей» Рёскина Толстой особо выделяет фразу: «В литературе, в искусстве, в религии всё, делаемое за деньги, отравлено»⁴. Рёскин называл себя тори, консерватором и обличал многие пороки с позиций крестьянина, как и сам Толстой, считавший себя «адвокатом 100-миллионного крестьянства». Поэтому власть денег для них обоих – величайшее зло, источник революционных выступлений, которые всегда насильственны, а потому и иррациональны.

Закономерно, что читая, например, произведение Рёскина «Искусство и действительность», Толстой не мог не выделить мысль об *искренности* – неслучайном и важном признаке подлинности искусства. Ведь и для Толстого проблема искренности автора, творца была одной из самых важнейших в искусстве.

Красота, по мнению Рёскина, нравственна и жизнерадостна. Рёскинский нравственный идеал жизнерадостной красоты отвечал самым заветным нравственным представлениям Толстого, создателя ликующей от счастья Наташи Ростовской, и соответствовал сути «нравственного закона», в основе которого преклонение перед чистотой сердца и свободой души, ибо благородное сердце человека – источник искренности, радости и доброты. Мир «*благородных чувств*» с точки зрения этих великих людей противопоставлялся «*здоровому смыслу*» утилитаризма.

Итак, красота – нравственна. Так категорично заявлял об этом Рёскин. Именно поэтому он не уставал учить людей наблюдать и понимать природу, этот высший образец истинной красоты, красоты нравственной и воспитующей. Вспомним в этой связи страстное и непреходящее желание Толстого «*перелить в другого*

свой взгляд при виде природы», вспомним его многие, наполненные философским смыслом пейзажи. И, по сути, на ту же тему Толстой включил мысль Рёскина в «Круг чтения»: «Свой талант нельзя продавать. Продавая его, вы одновременно становитесь повинны... и в проституции. Вы можете продавать свой труд, но не свою душу» [40, 606].

Но вот любопытная деталь: при постоянном обращении к чтению Рёскина, настойчивом его цитировании, в диалогах, чему свидетельство – записи Маковицкого, в своём знаменитом трактате об искусстве, Толстой *ни разу* не упомянул имени Рёскина. Что это? Несогласие с теми или иными позициями? Или неизбежный эффект *взаимоотталкивания* однородных «*полюсов*»? Современники, естественно, не могли пройти мимо этого парадокса. Своему английскому переводчику и биографу Э. Мооду Толстой на этот счёт ответил так: «Не сделал этого потому, во-первых, что Рёскин приписывает особенное нравственное значение красоте в искусстве, и, во-вторых, что все его сочинения, богатые глубиной мысли, не связаны одной руководящей идеей»⁵.

Думается, однако, этим парадоксом проблема не могла быть разрешена. Ведь что касается примата нравственности в искусстве, то оба художника были в этом вопросе максималистами. Скорее, пожалуй, ответ можно найти в более широком аспекте расхождений двух великих людей. Принимая многие идеи Рёскина, Толстой, тем не менее, критически оценивал ортодоксальные элементы его системы. В одном из писем тому же Э. Мооду, писатель отмечал, в частности, постоянную зависимость мышления Рёскина от некоторых догматов церковно-христианского мировоззрения. А этого Толстой никак не мог принять. Но при этом, он сам же делал вполне искренне такую оговорку: «Не думайте, чтобы я денигрировал деятельность этого великого человека, совершенно верно называемого пророком. Я всегда восхищаюсь и восхищался им, но я указываю на пятна, которые есть и в солнце»⁶.

Но были ведь не только «пятна» на Рёскине. Было и «*солнечное сияние*», заключённое в силе его любви к добру, к идее христианства. Тяготение к буквалистскому миру души, страсть к деревенской простоте, ненависть к цивилизации с её непредсказуемыми

технократическими процессами – всё это присутствовало в Рёскине и притягивало к нему Толстого. Многие мысли Рёскина о Боге, душе, цивилизации заставляли Толстого поражаться интуитивной зоркости и проницательности великого британца, заставляли восторгаться его утончённой духовной организацией, особым чутьём, смогшим в чём-то предвосхитить социально-экономическое развитие последующего времени.

Итак, оба великих гуманиста XIX века в главном всегда оставались едины. Не случайно Джон Рёскин в одном из своих писем отмечал, что никто в мире так не понимает его, как Толстой. Оба они остро ощущали трагизм тех противоречий, который нёс особый фаталистический XIX век: угнетение, урбанизацию, экологические катастрофы, и оба мужественно боролись за душу человека.

Рёскин умер в 1900 году, в новом столетии. Он, как и Толстой, любил природу, обожал горы. А ещё, как истинный шотландец, любил море, которое было не мыслимо без образа корабля, символа красоты и интеллекта человека. Да, и сам он, был подобен красивому кораблю, смело и победно идущему навстречу опасностям в огромном, открытом житейском море.

Таким был Джон Рёскин – «образованнейший и утончённейший человек своего времени», – как сказал о нём великий русский писатель, и который был одним «из замечательнейших людей не только Англии и нашего времени, но и всех стран и времён». И таким видел его, открывая для себя и русского читателя, Лев Толстой. Это был его духовный сподвижник, которого яснополянский мыслитель ставил в один ряд с Кантом и Вольтером, а о его великом авторитете как-то шутливо заметил: «С Рёскиным спорить трудно... у него одного больше ума, чем у всего английского парламента».

А незадолго до смерти, 28 августа 1908 года, Толстой сказал: «Теперь нет таких писателей, которые стояли бы головой выше всех (Рёскин), как было в конце прошлого столетия...».

К этой замечательной фразе великого яснополянца, кажется, добавить больше нечего, кроме, пожалуй, одного – имени самого Толстого.

Ясная Поляна

Сибирский музей



Егор Ревенко
В ПРОДОЛЖЕНИЕ «ДОБРОГО
ВСПОМИНА...»
К портрету Д.Т. Ярославцева и
Г.С. Блынского

В двух наших предыдущих рубриках подробно рассказано, с какими трудностями столкнулись инициаторы создания в Сибири музея друзей и последователей Л.Н. Толстого, равно и те, кто в недавнем прошлом приложил немало сил к обновлению экспозиций в омском и Новокузнецком музеях Ф.М. Достоевского.

Весьма непросто, а порой и драматично, складывалась и судьба тех, кто стоял у истоков сибирского музейного дела, о чём можем судить хотя бы по недавно вышедшей в Омске книжке Александра Лейфера «На добрый воспомин...», посвященной биографии А.Ф. Палашенкова (см. рецензию в «ГС» №4, с. 204-206).

«Трудно представить гигантскую работу, – пишет рецензент, – которая была стержнем жизни Палашенкова. Он вмещал в себе одного археолога, этнографа, музейщика», был «радетелем за сохранение связи времён и связи людей во времени».

Как бы в продолжение упомянутых материалов обратимся к весьма примечательным вехам биографий Дмитрия Тимофеевича Ярославцева¹ и Георгия Степановича Блынского – основателей первого в Кузбассе музея (ныне Новокузнецкого городского).

* * *

Имя Дмитрия Тимофеевича Ярославцева сегодня из старожилов края мало кто помнит. А вот для Кузнецка 20-х годов это была известная личность. Краевед. Геолог. Проводник ряда геологических экспедиций. Фольклорист. Золотоискатель. Основатель краеведческого музея. Наконец, – литератор, представлявший Кузбасс на первом сибирском съезде писателей в 1926г., причём от Кузнецка – в единственном числе.

Наиболее ранние сведения о Ярославцеве относятся ещё к дореволюционной поре. В опубликованных издательством

Знай мы, что человеку свойственно помнить, мы бы знали, что ему свойственно делать.

Джордж Савил Галифакс

«Кузнецкая крепость» выдержках из воспоминаний старожила Кузнецка Георгия Куртукова находим строки, касающиеся кузнецкого Народного дома – удивительного памятника деревянной архитектуры, выстроенного на рубеже веков в стиле «модерн» и сожженного дождем ночью в 1979г. явно злонамеренной рукой, чтобы тогдашнее начальство не утруждало себя реставрацией этого памятника. Так вот, – около Народного дома в начале века местным забавником Оськой Зубком была выстроена карусель, куда в праздники, на родительский день или на Пасху, стекался кузнецкий люд. Это место, судя по воспоминаниям Куртукова, как магнит притягивало и Ярославцева.

«Ярославцев, – вспоминал Куртуков, слова которого, за небрежностью записи, мы немного олитературируем, – всегда приходил сюда с каким-то аппаратом в ящике, который носил в своей сумке. Поставит аппарат на стол, по сторонам – четыре табурета, и за пять копеек с каждого давал послушать. От каждой стенки аппарата выходило по два проводка, на концах проводков – наконечники, которые вставлялись в уши. И вот четыре взрослых человека сидят вокруг стола и хохочут, слушая аппарат. Всегда в этом месте вокруг стола и аппарата Ярославцева толпился народ, ожидая очереди послушать. Я всё это много раз видел, но ни разу не слушал, т.к. не было денег, потому что я был тогда ещё мальчишкой. Тот же Ярославцев в конце Сергеева Лога у Чёртова мостика за крепостью на водопаде держал мельницу, но мололи на ней только весной»².

Как видим, основатель первого кузбасского музея – личность весьма разносторонняя, что было достаточно необычно для простого кузнецкого общества. Откуда вёл он свои «корни» – до сих пор не установлено. Впрочем, в документах ещё XIX века, относящихся к Западной Сибири, иногда мелькала фамилия М. Ярославцева – пристава (управляющего) Царёво-Николаевского прииска Алтайского горного округа.³ Однако никаких прямых доказательств родственной связи «горного генерала» с Д.Т. Ярославцевым пока не обнаружено.

Далее в биографии Ярославцева наблюдается небольшой пробел. Неизвестно, как он жил до гражданской войны. Именно поэтому мы так бережно относимся сегодня к каждой строчке

из упомянутых воспоминаний – ведь ими, собственно, и ограничивается всё наше знание о большей части жизни этого необыкновенного человека, которая приходится именно на дореволюционную пору.

Но вот времена круто изменились. После относительно спокойного «белого» правления в Кузнецк в декабре 1919г. пришли партизаны Рогова. Ярославцев был тогда именно в Кузнецке. Роговщина ему не просто не понравилась. Ещё бы – в городе вырезали половину взрослых жителей!⁴ Об ужасах того месяца с брезгливостью писал тот же Куртуков. Часть роговцев вскоре примкнула к Красной Армии, в 20-30-е годы многие из них занимали ответственные должности и получали от власти подарки к 10-летию революции.

Ярославцев был честным человеком. И уроков роговщины он – непосредственный свидетель резни! – не забыл. Ярославцев не побоялся афишировать свои воспоминания. Он был знаком с известными журналистами и писателями – В. Зазубриным, М. Кравковым, А. Кручиной. Они прислушивались к мнению Ярославцева, пропагандировали его успехи на стезе культуры. Журналист М. Кравков⁵ в 1927г. так пересказывал воспоминания Ярославцева о роговщине:

«Покойный Ярославцев рассказывал мне сцены кузнецкого избиения, свидетельствующие о беспримерной волевой депрессии, охватившей тогда городское население. Люди сделались, как бараны, и безвольно и покорно подчинялись бойне.

– Иду я, – рассказывал Ярославцев, – мимо двора какого-то склада. Ворота настежь, на снегу лужа крови и трупы. И в очереди, в хвосте стоят на дворе семь или восемь человек – все голые и ждут! По одному подходят к трём-четырёх роговцам. Подошедшего хватают, порют нагайками, а потом зарубают. И тихо, знаете, всё это происходило, и человек начинал кричать только тогда, когда его уже били или принимались рубить».

Рассказ Ярославцева – своеобразное возмездие роговцам. Именно благодаря ему упомянутые литераторы, рискуя своим благополучием, решились на публикацию правдивой картины «партизанщины», какую в те поры не очень могло бы приветствовать партийное и советское начальство. Личные знакомые

Ярославцева, весьма ценившие его, приблизительно в одно и то же время опубликовали в прессе очерки с резким неприятным «роговщины» как явления. Не побоялся это сделать сотрудник «Советской Сибири» Андрей Кручина в 1923г., уделив в своём эссе «В глухом углу, в Кузнецке» особое внимание истории гражданской войны – со слов Ярославцева, конечно, которого также там поминает.⁶ А писатель В. Зазубрин, расточавший по адресу Ярославцева много лестных слов в 1926 году, в очерке «Неезжеными дорогами»⁷ расправляется с роговцами на удивление смело, показывая на их примере, насколько низко может пасть человек, о чём читатель может судить хотя бы по приведённому им фрагменту письма партизана Ф. Волкова в Новониколаевский музей:

«Когда-то товарищ Волков Филипп Андреевич был в партизанах со своей женой Антониной Амельяновой. Приехали мы из тайги с партизанами с отрядом обои с женой и с девочкой пяти лет. Выехал с тайги с партизанскими отрядами, безусловно, которые были мои враги, сердце моё не могло вытерпеть и зачал я их тем оборотом, как они меня казнили, зачал я их пилить пилою около тюремного замка, который я спалил своим рукам. Жена моя Волкова пилила со мной за её кровь, за её отсекённую грудь. Жена у меня без титьки теперь. Это было в девятнадцатом году двадцать третьего ноября. Вот ту самую пилу, которой я, значит, пилил колчаковских буржуев Миляева и Петрова, отдаю на историческую память Николаевскому музею. Пять рублей на покупку новой пилы от товарища Зазубрина получил, в чём и подписуюсь. Матрос дальнего плавания Балтийского флота ВОЛКОВ».

Вот с такими «героями» Ярославцеву приходилось жить в одном городе. От провинциальной рутин и мерзости жизни только одно спасение – творчество. Культура. Ярославцев – основатель частного музея. После его смерти коллекция стала основой для создания городского музея. Экспонаты – числом до тысячи – располагались в двухэтажном доме Ярославцева на верхнем этаже. Двухэтажек в Кузнецке двадцатых годов было немного, да и населения-то всего около трёх тысяч. Притом сказать точно, где же находился дом Ярославцева, затруднительно.

Журналист «Советской Сибири» Андрей Кручина, побывавший в доме Ярославцева в 1923 году, перечисляет некоторые экспонаты: «шаманский бубен шорских племён, пистоль, ядро пушки допетровского периода, черепки, камни с углублениями, заменявшие посуду, добытые из раскопанного кургана, образцы древесных пород Кузнецкого края... гербарии... кремневые ружья... станок для ловли колонков, изобретение инородцев-промышленников... образцы свинцовых руд, тельбесского железняка... Хлориты, медный колчедан, киноварь, железная руда разных качеств... мрамор розовый, белый, полосатый...».⁸

Условия для хранения экспонатов были, конечно, не ахти. Помещений не хватало. Одна музейная комната – ввиду бедственного положения хозяина – сдавалась внаём квартирантам; «музейная» площадь со скоплением различных предметов облагалась местными финорганами налогом. Забота о хлебе насущном заставляла Ярославцева заниматься починкой чайников, кастрюль, часов, граммофонов – мастерская была тут же, в жилом доме.

Кручина не скупится на похвалы Ярославцеву:

«Ярославцев в высшей степени интересный человек...

Доброволец-исследователь края – тов. Ярославцев – большой знаток богатств Кузнецкого округа.

Его музей – огромная ценность для Кузнецка. Тов. Ярославцев широко открывает двери своей сокровищницы для всех желающих осмотреть коллекции. Мало того. Он сопровождает осмотр коллекций своими простыми, толковыми и всегда интересными объяснениями.

– Вот только стар становлюсь, – жалуется он, улыбаясь. – По горам трудно лазить становится... Но ничего. Ещё поработаю.

Местные власти как-то равнодушно относятся к работам тов. Ярославцева. Считают его чудачком-оригиналом...».⁹

Собирал Ярославцев материал для музея, работая проводником геологических экспедиций, занимаясь золотоискательством. Коренное население прекрасно знало краеведа, скупающего тряпье у шорок и записывающего у местных сказителей поверья и предания.

Шорский фольклор для Ярославцева – объект исследований, автоматическим переложением и публикацией легенд он не ограничивался. Краеведам отлично известно, например, сказание о богатыре Шуне, опубликованное этнографом Василием Вербицким и прокомментированное молодым Г.Н. Потаниным ещё в 1858г. Так вот, Ярославцев, как и Григорий Потанин, ищет действительную историческую подоплёку легенд о Шуне, но в научной интерпретации с Потаниным расходится.

«Моё личное мнение, – писал Ярославцев в примечаниях к своему очерку “По Горной Шории”, – таково, что Шуна при переселении на Восток также достиг Качи, но, вероятно, не ужившись тут, двинулся вверх по Енисею и обогнул Кузнецкий Алатау с восточной стороны. Но, встретившись с киргизами и ойротами, повернул волнистыми степями вправо и поселился в верховьях Томи и Шоры, откуда и произошло нынешнее название – шорцы».¹⁰

Не останавливаясь подробно на до сих пор до конца не прояснённом вопросе о заселении наших краёв шорцами или телеутами, скажем лишь, что мысли Ярославцева были настолько свежи и оригинальны, что ими заинтересовался даже такой видный в 30-е годы исследователь, как В.И. Шемелёв; в его личном фонде в новосибирском госархиве мы смогли обнаружить черновую записку-конспект с выдержками из упомянутой публикации Ярославцева.¹¹

«Д. Ярославцев, – пишет Шемелёв в примечаниях к своей «Истории Кузбасса», – допускает появление шорцев на Томи в годы вторжения Ермака в Сибирь, считая, что они не имеют ничего общего с древней медно-бронзовой культурой края (что верно) и останками старинных укреплений – «городков» (что верно). Но он устанавливает, что шорцы проникли на Томь не с низовой реки, а из-за хребта Алатау, то есть со стороны Хакасии. Однако проделать за такой короткий срок этот длинный круговой путь для целого народа было едва ли возможно. К тому же т. Ярославцев совершенно игнорирует первобытную металлургию шорцев, а для того, чтобы они могли освоить местную железную базу, также нужен был какой-то продолжительный срок».¹²

Шемелева живо интересует мнение Ярославцева. Не вникая в тонкости полемики, можно лишь констатировать, что она велась на равных. С Ярославцевым можно и поспорить, и согласиться с ним, и похвалить за очевидные достоинства. В примечаниях к «Истории Кузбасса», например, Шемелёв не забывает отметить заслуги Ярославцева по сбору шорских «старинных орудий труда», которые в 1926 году были представлены на Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Москве.¹³

Всё, сказанное выше, характеризует Ярославцева как полифоничного, но отнюдь не поверхностного человека. Он был исследователем Божьей милостью, причём сочетал в себе редкое качество не только культурно мыслить, но и прекрасно писать. Его путевой очерк «По Горной Шории» с «литературной» точки зрения совершенно безупречен. Автор рассказывает о своём путешествии 1923г. Работа – значительная по объёму и непревзойдённая, пожалуй, до сих пор в описаниях шорской природы и местного быта – впитала в себя, между прочим, и несколько легенд, не потерявших своей привлекательности даже в переводе на русский.

Ярославцев подмечает малейшие сколько-нибудь примечательные детали быта коренного населения. Вот «байга» – праздник. Свадебный обряд (Nota Bene! У казахов этим же словом обозначают торжество, сопровождающееся, например, состязанием джигитов)¹⁴. Все собираются на окраине улуса, поют песню:

*Выезжаю на большую тропу,
Рысью ехать хочу.
Заеду в большой улус –
Девуц посмотрю.
Сижу верхом на коне.
Нагайкой погоняю.
Хорошую невесту увижу –
Свататься буду.
Чёрные твои глаза.
Как смородина. –
Была бы ты моя жена,
Красное твоё лицо,*

*Как кровь –
Была бы ты моя милая.*¹⁵

Мимоходом упоминается шаман и «фетиши: шкурки, крылышки и ещё такие вещи, значение коих может знать только тот, кто их повесил в избе»... А вот умирающий православный священник из шорцев:

« – Кончено дело, – прошептал он с грудным хрипом и уткнул голову с чёрными косичками на костлявые руки...».¹⁶

Ярославцев ещё не ведаёт, что после публикации очерка ему самому судьба отмерит только год...

Проза Ярославцева – весьма честная. В ней нет ни «образа рабочего», ни рассуждений в духе бряцающего «социалистического реализма». Не в последнюю очередь их нет потому, что Ярославцев – человек иной, допереворотной, эпохи, ещё не воспринявший «эпос гражданской войны» и прочих «великих свершений». Это был человек, на котором держалась местная культура, тогда как последующее творчество очень многих «культуртрегеров» печально демонстрировало лишь её упадок.

Как уже сказано, Ярославцева, как человека пишущего, в марте 1926 года отправляют в Новосибирск на первый сибирский съезд писателей, причём с правом решающего голоса. Из текста протокола узнаём, что в прениях по докладу «Писатель, литература и революция» Ярославцев выступил первым с любопытной репликой: «Мы в глуши пока между двух стульев. Ничего не знаем, как и куда идти», на что докладчик В. Забурин в заключительном слове парировал: «Ярославцеву я отвечу: Вы – рабочий, ваш стул рядом со стулом рабочего. Но если у вас в Кузнецке вообще нет писателей, то ускорять их ряды, конечно, не надо. Они родятся в своё время».

Занимался Ярославцев и литературным краеведением. Он педантично пересказывал своим знакомым литераторам бывшие в ходу легенды о длительном бытовании Достоевского в Кузнецке. Сведения были фантастичны. Кто говорил о двухмесячном пребывании Достоевского в Кузнецке, кто – о пятилетнем, показывали и камеру в кузнецкой крепостной тюрьме,

где якобы отбывал срок Достоевский.¹⁷ Сам Ярославцев, похоже, ничего не утверждал. Он лишь добросовестно и скрупулёзно передавал предания старожилов, которые, за давностью венчания Достоевского, не могли быть верными. Сейчас исследователями ставится вопрос о возможном наложении двух или трёх весьма точных, по сути, рассказов кузнецких старожилов Ярославцеву, относящихся к разным людям, сосланным или жившим в Кузнецке, но ошибочно выдаваемых за факты биографии Достоевского.

Так или иначе, если бы не усилия Ярославцева по публикации даже не совсем правдивых рассказов старожилов, в сибирской печати в 1920-1930-е годы не развернулась бы известная дискуссия о Достоевском, которая, в конце концов, подвела исследователей к более или менее объективной оценке кузнецко-семипалатинских событий 1855-1859гг., касающихся великого писателя.

Таковы, в общих чертах, наши представления о роли Ярославцева в культуре региона. Остаётся добавить, что умер он трагически. Смерть не щадит никого. Досадный случай – поранил во время слесарных работ руку, царапина повлекла за собой заражение крови.¹⁸ После смерти Ярославцева встал вопрос: что же делать с его музеем? Друг Ярославцева – Г.С. Блынский (по определению М. Кравкова – «добродушный гигант», «якорь спасения в пустыне Кузнецка»)¹⁹ – в 1927 году пожертвовал под музей собственный дом. Из частного музей превратился в государственный, стал называться музеем имени 10-й годовщины Октября, хотя следовало бы ему присвоить имя основателя. Не поздно это сделать и сегодня!

Штата государственных служащих музеев на первых порах не имел и обслуживался краеведами-энтузиастами. Экспонаты из коллекции Ярославцева, как объяснила нам бывший директор Е.М. Суценко, хранятся здесь по сей день.

* * *

Итак, – Дмитрий Ярославцев в 1927г. скончался и его друг Георгий Степанович Блынский пожертвовал под музей двухэтажный дом. Располагался он «под горой, увенчанной сожжённой при Рогове церковью»²⁰.

И тут возникает несколько вопросов.

Упомянутый журналист Андрей Кручина в 1923 году писал, что Ярославцев проживает в двухэтажном доме, сдаёт комнаты внаём, и музей облагается финорганами налогом. Так как же получилось, что музей пришлось из дома Ярославцева переместить в дом Блынского?

Может быть, речь шла об одном и том же доме? Но кому он принадлежал? Ярославцеву или Блынскому? Если Блынскому – почему Ярославцев сдаёт «чужие» комнаты?

Так или иначе, существовали некие причины, которые подвинули Георгия Степановича отказаться от своей собственности.

Недавно в фонде Новокузнецкого горкома партии мы натолкнулись на документы, проливающие свет на эту загадочную историю.

Начнём с того, что на заседании агитколлекции кузнецкого райкома ВКП(б) 2 августа 1927г. постановили «приступить к оборудованию городского музея, закончив эту работу к 10-летию октябрьской революции..., проверить имеющуюся изъятую старую литературу на предмет использования последней и передачи более ценной в музей, проработать вопрос о перенесении городской библиотеки в одно здание с музеем»²¹.

О какой «изъятая литература» идёт речь?

У кого и почему «изъятая»?

Остаётся только догадываться...

А экспонаты Ярославцева?

Они тоже – «изъятые»?

Владельца в живых нет, но ведь коллекция Ярославцева при его жизни не принадлежала государству: музей был частным, причём местные органы были настроены не очень дружелюбно и принуждали его платить за «избыточную» площадь налог. Так как же произошла пресловутая «национализация» уникального собрания?

Однако ясно одно: дом Блынского ко времени упомянутого постановления уже приспособляется под нужды музея. Собственность и Ярославцева (коллекция), и Блынского (дом) переходит в распоряжение государства.

Но вот ещё один документ. 10 февраля 1927г. вьедливое бюро райкома заседает вновь. Его члены проявляют пристальный интерес к личности Блынского и намекают, что свой двухэтажный дом он нажил нечестным трудом.

Очевидно, чтобы утихомирить райкомовцев, Блынский и решился на пожертвование: уж лучше отдать дом под музей близкого друга, чем дожидаться, пока алчная до чужого добра вчерашняя голытьба отберёт дом под какой-нибудь хоровой кружок. В протоколе записано, что членам бюро «пришлось ознакомиться с работой заведующего кузнецким районом лесозаготовок Блынского» и приведены тексты наиболее примечательных выступлений. Цитируем:

Шановалов: Дело Блынского подозрительное... Надо полагать, что Блынский в данном случае при заготовках (леса) одновременно производит большие заготовки себе лично для сбыта.

Молчанов: Блынский самовольно продавал лес райисполкому и Новостройке...

Ожевский: Дело ненормально обстоит с работой Блынского, что показывает его роскошная личная жизнь и его хозяйственная обстановка: двухэтажный дом, конный завод, пасека и т.д. Всё это им приобретено в короткое время за 1-3 года. Придётся добиться тщательной и срочной ревизии...

Дементьев: Ревизию нужно одновременно сделать по линии АИКа и лесничества...»²².

Напомним: это была пора, когда в особенной моде было «спецеество». Специалистов травили, а Блынский к тому же работал не где-либо, а в Автономной колонии «Кузбасс» (сокращенно АИК) – «концессии» иностранцев.²³ В те поры власть уже готовится к судебному процессу над «вождями» АИКа, которую постепенно реорганизуют в обычное советское предприятие. Видных специалистов компрометируют – и Блынский не исключение.

Но обвинения выглядят неубедительно. К тому же известно, что «подкоп» под Блынского вели с помощью ОГПУ. Так, 16 октября 1926г. ОГПУ шлёт в Правление АИКа «совершенно секретное» письмо:

«По имеющимся в Окротделе ОГПУ сведениям, завлесазаготовками АИК Блынский из имеющихся подотчётных сумм на заготовку порядочное количество денег выдал своим «дружкам» в качестве задатка, которые вывозку леса затягивают, несмотря на то, что Блынский каждую неделю ездит к ним с предупреждением о плавке леса, но всё безрезультатно. Кроме того, за неимением достаточного количества денег (так как раздал таковые дружкам), у Блынского есть задержка в выплате заработной платы рабочим. О чём сообщаем для сведения и принятия соответствующих мер. О принятых Вами мерах и подтверждении вышеизложенного просьба сообщить в окротдел ОГПУ».²⁴

Но доказательств вины Блынского, тем не менее, не находят и критикуют, стало быть, «за глаза». Ничего криминального в его действиях нет – иначе бы судили.

Дом, однако же, отобрали. Вернее – заставили «пожертвовать».

Как бы то ни было, Г.С. Блынского можно по праву назвать, наряду с Д.Т. Ярославцевым, основателем городского музея. Его роль была настолько приметной, что в краеведческом обиходе прочно прижилась легенда: дескать, не кто иной, как Блынский стал первым директором музея. Газета «Кузбасс» 23 декабря 1997г. так и написала: был «первым официальным директором музея до 1932г.». Эта информация, конечно, ошибочна, ибо из найденных недавно документов явствует, что «по состоянию на 1931г. в музее уже третий год директорствовал Н.П. Кайдалов» (ему пришлось оправдываться в комиссии по чистке, поскольку утаил своё дореволюционное прошлое, то есть то, что когда-то служил приставом в Томске; из его объяснительных видно – директором музея в конце 20-х был именно он).²⁵

Не будучи «официальным директором», Г.С. Блынский, тем не менее, «занимался созданием краеведческого музея» – об этом он сам пишет в очерке «Бой с орлами», который мы перепечатываем ниже.

Георгий Степанович прожил долгую жизнь и скончался в 1953г. О том, что значило его имя для Кузбасса, рассказывал в газете «Кузнецкий рабочий» литератор Игорь Агафонов:

«Родился Георгий Блынский в Кузнецке 6 мая 1889 года. Детство и юность его прошли на золотом прииске в Балыксу...»

В сентябре 1920 года Блынского назначили заведующим Абашевским рудником... Его с полным правом можно считать основателем шахты «Абашевская»...

Доверительные отношения у Блынского складывались с дружелюбными и гостеприимными шорцами. Затаив дыхание, слушал он у костра ночами их мудрые и колоритные сказки, записывал некоторые в тетрадку.

После знакомства с Ярославцевым и его самодеятельным музеем увлечение Георгия Степановича обрело новый смысл. Он с радостью пополнял коллекцию друга, приступил к её систематизации, образовал четыре раздела – геологический, зоологический, археологический, этнографический...

В 1932 году Георгий Степанович занимался инвентаризацией лесов Горной Шории, будучи начальником треста «Юж-кузбасслес»...

Блынский первым в Кузбассе начал внедрять механическую трелевку леса нефтяными движками... Да мало ли новшеств на его счету!...

В 1936 году за Блынского основательно взялась прокуратура. Его обвиняли в том, что он строит многие объекты без проектов... Хотя всё им построенное работало безукоризненно, а на проектировании сэкономлены миллионы и миллионы рублей...

С 1 января 1947 года трест «Юж-кузбасслес», который возглавлял Г.С. Блынский, в числе других лесных хозяйств угольной промышленности передали в Министерство внутренних дел. Ему предложили остаться, но работать в системе МВД он отказался. Не хотел быть начальником над заключёнными.

В 1948 году руководил трестом «Кузбассшахтожилстрой», с 1950 года – трестом «Кемтопстройлес» комбината «Кузбассшахтострой»...

Георгий Блынский исходил Горную Шорию вдоль и поперёк... Смерть не однажды подстерегала его на глухих тропах. Он испытал «медвежью болезнь». Отбивался ножом от орлов

на кедре, куда залез достать птенцов для музея. Проваливался в полыньи в 50-градусные морозы. Тонул на лесосплавах...».²⁶

Ещё один талант Георгия Степановича – он, как и Ярославцев, был одарённым литератором. После его смерти один из журналов опубликовал его быль «Бой с орлами», которую мы полностью публикуем на страницах этого номера²⁷. Копию с журнального варианта предоставила для публикации его внучка, Вера Борисовна Блынская.

Поистине, поговорку о том, что «природа отдыхает на потомках», отнюдь нельзя считать эталоном. Внучка замечательного человека, о котором сказано выше, генно «впитала» не только трудолюбие и глубокую порядочность деда, но и его одарённость и окрылённость в поисках своих корней.

Вера Борисовна, высоко интеллектуальный человек, сразу же «загорелась» идеей собрать воспоминания о своём знаменитом деде. Сейчас её мать, в весьма преклонном возрасте, записывает всё, что удаётся вспомнить об отце – Вера Борисовна зорко следит, чтобы «работа шла».

И – «работа идёт». Мать Веры Борисовны, Ольга Лукинична, вспоминает маленькие детали большой жизни своего свёкра, Георгия Степановича. Это то, что не могли не запомнить дети. То, что, видимо, обсуждалось в доме. Чего только не случалось с неугомонным Блынским! Что запомнилось – Блынский дружил с шорцами. Леса – он любил. И шорцы – любили...

Интересно, что все задумки Блынского никогда не оставались «прожектами» – он умел их довести до конца. Что тому причиной, – задумываемся мы, – может быть, счастливое «смещение кровей». Ведь родина Георгия Степановича на границе Польши и России, и в нём сочетались польские и русские гены. Когда-то ему предлагали повышение и должность в министерстве. Отказался – сослался на инструкции: для поляков путь наверх не очень поощрялся.

В быту Георгий Степанович был добр и гостеприимен – полон дом родственников и гостей. По дому так и звучали его команды: «Панька, бегом!» Это – жене Параскеве Семёновне. «Борька (сын) – бегом!». «Оля (сноха) – иди ко мне!». Г.С. очень её любил за хозяйственность – особенно за то, что вечером всем мыла обувь. И домочадцы охотно выполняли все поручения. Примечательно, что в

семье жила не только сноха Оля, – это естественно, ведь она жена сына Бориса, – но ещё и учительница, Устинья Семёновна Туманова, к которой, по словам снохи, очень был внимателен Георгий Степанович. Она – пенсионерка, муж умер, детей не было. При появлении дома, первым его вопросом был: «Учительницу кормили? Никто не обижал?».

Устинья Семёновна, сестра супруги Георгия Степановича, была замужем за надзирателем кузнецкой тюрьмы. Когда Блынские сходились вечерами за столом, каждый рассказывал о своих трудностях, о работе, о различных занятых случаях. Надзиратель же – о том, как жестоко обходятся с заключёнными в тюрьме: «И жена не могла вынести, что возможно так издеваться над людьми, и разошлась с мужем, и осталась до конца жизни в нашем доме».

Этот гостеприимный дом предоставил кров также и племяннику супруги, Марку Хлыновскому, когда тот обзавёлся семьёй и ему негде было жить. Так что в семье неугомонного выдумщика, смельчака и развесёлого гармониста Блынского дом был – полна коробушка.

«Умер Георгий Степанович, – пишет его сноха²⁸, – 26 сентября 1953 года. Случилось это на курорте Белокуриха, причём в самый последний день его пребывания там – закончилась путёвка. Мирно сидел на скамеечке, беседовал с главным врачом – и вдруг конец... В день похорон приезжало много шорцев проститься с их верным другом и другом Горной Шории. Вся улица Песочная на левом берегу была запружена повозками и телегами, кто на чём приехал, а многие – на ишаках, в цветной одежде, читали свои заповеди, но держались вместе со всем народом. Похоронен Георгий Степанович на Кузнецком кладбище...».

В тетрадке, где записаны воспоминания снохи, находим также список детей от первого брака: Блынский Александр Георгиевич (сын, г. Барнаул, начальник районной милиции), Блынская Нона Георгиевна (дочь, г. Сталинск, экономист), Блынская Надежда Георгиевна (дочь, г. Сталинск, учительница), Блынский Геннадий Георгиевич (сын, г. Кисловодск, горняк), Блынский Борис Георгиевич (сын, г. Новокузнецк, металлург).

Вера Борисовна принесла нам семейные альбомы фотографий, где мы нашли впечатляющие снимки из жизни фактического основателя

новокузнецкого краеведческого музея. И – не только: фотографию Георгия Степановича уже в гробу, в окружении его многочисленной дружной семьи и друзей. Видно, его очень любили и почитали.

К тому же внучка его, Вера Борисовна, – нежная, субтильная блондинка с лучистыми глазами, – обладает поэтическим даром. Она принесла нам «на посмотр» несколько тетрадей стихов, написанных за последние годы. Это, если можно так выразиться, – «величальные стихи». Они посвящены дорогим и близким людям, в них обозначены впечатления от поездок в Германию, в Париж, и все они пронизаны мягким юмором и доброжелательностью, а, порой, и «острыми словами» – каждому по заслугам.

Дар оставаться в наш жестокий век «тургеневской барышней» присущ правнучке Георгия Степановича, Александре Блынской. Рисование для неё не просто увлечение, это – призвание. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на её иллюстрации к старинным романам. Она – продолжательница достойного рода и носительница его традиций, о чём, похоже, не забывает никогда.

Отрадно, что «золотой фонд» интеллигентности не стирают ни время, ни исторические катаклизмы, и сегодня нас окружают ещё потомки былых носителей драгоценных генов культуры, любознательности, поискового азарта и деловых свершений.

Да сохраняются они на века, да передадутся из поколения в поколение, дабы из рода в род продолжались бесценные традиции культуры.

Георгий Блынский **БОЙ С ОРЛАМИ**

Быль

Случай, о котором я хочу рассказать, произошёл в сибирской тайге несколько лет назад. В то время я занимался созданием краеведческого музея в городе Сталинске. Особенно много хлопот доставляли сборы экспонатов для отдела биологии и зоологии. Большую часть этих экспонатов приходилось добывать своими руками в тайге.

Тот, кто бывал в краеведческом музее Сталинска, может быть, обращал внимание на чучело орлёнка. Я хочу рассказать, с

каким трудом и риском для жизни удалось мне добыть эту молодую, гордую и сильную птицу.

... Узнав от охотника-зырянина Ивана Власова о том, что в Чумышской тайге водятся степные орлы, устраивающие свои гнёзда на вершинах больших кедров, я попросил его достать орлиных цыплят.

– Показать гнездо – покажу, но доставать орлят отказываюсь, – сказал Власов. – Орлиха убьёт. Лучше пойду против трёх медведей, чем полезу за орлятами.

Но мне хотелось во что бы то ни стало изготовить чучело орлят для будущего музея. Взяв отпуск, я собрал всё необходимое: ружья, ножи, даже пистолет, и мы с Власовым отправились к Баудинскому ключу, где водились орлы.

Когда мы спустились в долину реки, Власов показал рукой на один из огромных кедров:

– Смотри, Георгий Степанович, вон орлиное гнездо.

В воздухе парили два орла. Подойдя к кедру, мы вспугнули целую стаю ворон. Вороны – постоянные спутники орлов. Как гиены и шакалы поедают остатки пищи львов и тигров, так и вороны питаются остатками пищи орлов.

Вскоре мы увидели ещё один ветвистый кедр, на вершине которого также было орлиное гнездо. Под этим кедром мы расположились на ночлег.

Орлы парили на различной высоте. Их уже было не меньше десяти. Власов, раскладывая костёр, говорил:

– Орёл – божественная птица. Это царь над всеми птицами. Он обладает такой силой, что может сразу убить. Ты, однако, сильный: на мизинце два пуда поднимаешь. Но и ты остерегайся. Если хочешь лезть за орлятами, сначала изучи повадки орлов.

Облюбовав два гнезда, мы начали следить и изучать, когда и на какое время орлы отлучаются за добычей. Через трое суток установили, что орлы-родители улетают за добычей рано утром, часов в семь, и отсутствуют не меньше часа двадцати минут. В течение двух дней я тренировался взбираться на кедр. Первая попытка достичь вершины продолжалась около часа, но постепенно время, затрачиваемое на эту операцию,

уменьшилось до тридцати пяти минут. Теперь можно успеть в отсутствие орлов добраться до гнезда и снять птенцов.

Охота, которую я затеял, таила в себе большие опасности: кедры были огромной высоты, гнездо находилось на самой вершине. Я ещё раз предложил Власову, как опытному охотнику, отправиться за орлятами за большое вознаграждение. И снова он наотрез отказался...

– Я умирать не собираюсь. Тебе охота – что ж! Вольному воля...

Смеркалось. Закат горел яркими красками, предвещая на завтра ветреную погоду. Я долго не мог заснуть: думал о завтрашней схватке с орлами. А что, если орлы захватят меня у гнезда? Тогда смерть! Орёл спикирует с высоты, ударит грудью или когтями. Такого удара человеку не выдержать не только на дереве, но и на земле...

На другой день, едва дождавшись утренней зари, мы отправились к намеченному кедру. Договорились, что Власов будет внимательно следить за кедром и в случае необходимости отстреливаться. Орлы ещё были в гнезде. Минут через двадцать один из них поднялся и, описав круг, улетел на юго-запад. Вскоре за ним последовал и второй.

Добравшись до вершины громадного кедра, я осмотрел гнездо. Снизу оно было обмазано глиной. Я обнаружил в обмазке несколько мелких гнёзд «каменного стрижа». Стрижи жили и выводили здесь птенцов, надеясь таким образом обезопасить себя от нападения пернатых хищников.

Вниз я старался не смотреть. Высота вызывала головокружение. Кругом до самого горизонта шумело зелёное море, переливаясь всеми оттенками смешанного леса.

Я обвил левой рукой сук и крепко ухватился за пояс. Попробовал свою устойчивость. Казалось, всё было в порядке. Но беспокойство не проходило. Его усиливало карканье ворон, писк орлят и крики стрижей, слетавшихся на защиту своих гнёзд.

Как только я перекинул руку через край гнезда, орлёнок сразу ухватил клювом мой палец и когтями вцепился в кисть руки. Я его вытащил. Кровь струилась из ран, но я не ощущал боли.

Изрядно повозившись, я засунул упряма в рюкзак. Второй орлёнок оказался ещё более свирепым. Клювом он схватил мои пальцы, содрал с них кожу, а когтями с такой силой схватил кисть руки, что я усомнился в успехе дела... С большим трудом я впихнул его в рюкзак, но орлёнок не разжимал клюва. Да, лучше на трёх медведей идти, чем за орлятами!..

Мелькнула мысль о прилёте орлов. Я глянул вверх. В небе носились только вороны да обеспокоенные стрижи. Размышлять было некогда. Я начал давить орлёнка, и мне с трудом удалось вырвать руку. Она сильно кровоточила. Задёрнув шнурок рюкзака, немедля начал спускаться.

Вдруг меня, как вихрем, рвануло слева направо. Я глянул – орёл! Он шёл вверх из пике, держа в когтях крупного пёстро-го ягнёнка. Поднявшись метров на пятьдесят, орёл выпустил из когтей добычу, повернул голову налево, опрокинулся через крыло и с яростным криком, полусогнув крылья, пошёл прямо на меня. Я обхватил руками толстые сучья, а голову спрятал в ветвях.

Орёл спикировал мгновенно и ударил меня в правое плечо. От сильного толчка я не мог удержаться. Правая рука сорвалась, и я мотнулся, повернувшись к стволу боком. Только хорошая опора под ногами удержала меня от падения. Орёл пропорол когтями куртку. Я глянул в небо. Орёл повторял свой маневр.

Шипя, словно задыхаясь, он с новой силой обрушился на меня. От удара в спину я едва удержался. Орёл рванул когтями рюкзак, но безуспешно и снова взмыл в небо. После третьего удара орла я почувствовал боль в плече, разорванная рубашка прилипла к ранам.

Орёл делал заходы так быстро, что я не мог сообразить, какие меры предпринять. Лишь на четвёртом заходе я вспомнил про нож. Это был отличный охотничий нож, с которым не страшно было идти и на медведя. Как только орёл стал приближаться, я прижался к стволу, выставив вперёд своё оружие. Орёл налетел прямо на лезвие. Нож полетел вниз... От сильного удара у меня сорвалась и левая рука, я опрокинулся назад и на момент потерял сознание. Спасло лишь то, что сапоги

мои были закреплены в сучьях, как в стремянах. Через минуту я выпрямился, спрятал голову меж ветвей и робко посмотрел в небо. Орёл шёл в пике, но без прежнего азарта. Видимо, он был ранен. Вскоре появился второй орёл. Он тоже стал пикировать и нападать, но не задевал меня, а проносился на метр-два выше головы. Второй орёл был меньше первого. Значит, первый был самкой: у хищников самка крупнее самца и активнее...

От сильного напряжения у меня затекли руки, я стал их растирать. Отдохнув минут пять, начал спускаться. Самец продолжал пикировать, а самка с жалобными криками села в гнездо.

Спустившись на землю, я свалился на бок. Иван быстро и ловко снял рюкзак, помог мне лечь на плащ, промыл раны спиртом, смазал йодом, забинтовал руки и плечо.

– Я видел, как ты достал орлят, – начал рассказывать Иван, – и как появился орёл. Мне стало страшно, очень боялся за тебя. Но ты почему-то ни разу не выстрелил...

Только при этих словах я вспомнил про пистолет. Вот оно как бывает! Ведь не то что на кедре, но и спустившись вниз, я не вспомнил про своё оружие...

– А ты почему не стрелял? – спросил я.

– Стрелял шесть раз, когда орёл входил в пике.

– Я не слышал ни одного выстрела.

– Это бывает. Всё забываешь, ничего не слышишь, когда смерть крутится над тобой.

После пережитого какой чудесной казалась царившая в лесу тишина! Радовало всё: дымок костра, журчащий ручей, лёгкий ветерок. И тогда я спросил себя: стоило ли подвергаться опасности ради того, чтобы в будущем краеведческом музее были чучела орлят? Спросил и ответил: да, стоило! Орлы были отсутствовавшим звеном в цепочке экспонатов, по которым нашим наследникам предстояло изучать природу родного Кузбасса.

А насчёт опасности скажу: жизнь прекрасна только для сильных волей и крепких духом.

VIII международный симпозиум «Европейская цивилизация: единство - своеобразие - открытость



Виктория Кинг
СЛОВО О СИМПОЗИУМЕ

Однажды в разговоре по телефону Мэри Кушникова, один из составителей альманаха «Голоса Сибири», сообщила о предстоящем VIII симпозиуме «Европейская цивилизация: единство – своеобразие – открытость», который должен был состояться в Румынии, и спросила, не согласилась бы я поехать в Бухарест в качестве представителя альманаха и члена редколлегии, чтобы осветить его работу, а заодно представить там недавно изданный первый том книги «“Кузнецкий венец” Фёдора Достоевского в его романах, письмах и библиографических источниках минувшего века».

Не могу сказать, что я упорно отнекивалась, нет. Встретиться с известнейшими исследователями творчества Достоевского было, конечно, интересно. К тому ж люблю Европу, но в Румынии никогда не была. Я знала, что страна эта необычна, хотя бы тем, что её жители считают себя потомками римских легионеров и в центре Бухареста, как и в Риме, стоит скульптура Римской волчицы. Нарушить свой обычный распорядок и уехать на десять дней – пожалуй, возможно; встречи с новыми людьми, неизвестной страной – источник свежих впечатлений. И вот через несколько недель – дела улажены, и я благополучно перелетела через океан.

Парижское небо было чистым и свежим. В аэропорту Шарля де Голля уютно устроилась за столиком маленького кафе и заказала чашку кофе. Я ждала рейс на Бухарест. Медленно отпивая глоток за глотком, старалась придти в себя после многочасового, изматывающего перелета из Америки. Вскоре к столику, спросив разрешения на английском, подсели трое мужчин среднего возраста и стали что-то возбужденно обсуждать на неизвестном мне языке. Мелодика, певучесть языка увлекали и казались знакомыми. «По-моему, один из славянских», – подумала я. Наконец, не выдержала и спросила, на каком языке они разговаривают.

– На румынском! Мы – румыны, – гордо ответил один из них. Усталости – как не бывало.

– Неужели! – воскликнула я. – А я лечу в Бухарест на международный симпозиум.

– А у вас там есть друзья?

Рано или поздно любопытство становится грехом; вот почему дьявол всегда на стороне ученых.

Анатоль Франс

– Нет. Друзей у меня пока там нет.

– Значит, будут, румыны очень хороший народ, добрый, – уверенно сказал второй мужчина, протянул мне свою визитную карточку и представился: – Я вице-президент автомобильного завода, если вас вдруг никто не встретит или возникнут проблемы, то звоните, поможем. Симпозиум – это хорошо... и вообще, у нас очень красивая страна, вам понравится!

Краем глаза я заметила, как рядом, за другим столом, приземлилась стайка молодых девчонок. Они щебетали то на румынском, то на английском, то на французском.

– Да, видите, какая молодежь пошла. Спокойно на трех языках общаются, а по сумкам и пакетам видно, что в Париж ездили на шопинг, – невзначай обронил один из моих собеседников.

Далее наш разговор свернул на мировую политику: бесконечные конфликты, президенты, Европейское сообщество. Доброжелательность, остроумие, дружелюбие трех румын как бы предвосхитили визит в прекрасную и еще неизвестную для меня страну.

Не заметили, как объявили посадку на мой рейс. Мы тепло, по-дружески, распрощались и через несколько часов я очутилась в столице Румынии.

В аэропорту Бухареста меня встретила Ксения Красовская, преподаватель русского языка и литературы Бухарестского университета. Худенькая приятная женщина, с распущенными, вьющимися волосами и удивительно яркими, пытливыми глазами. С ней было легко и просто. Мы ехали довольно долго, и беседовали о Румынии, липованах-старообрядцах. Она говорила и про только что выпущенную ею книгу о творчестве Марины Цветаевой.

По обочинам дороги уже не было строений и лишь где-то вдалеке виднелись одинокие, скучающие фонари. Да, мы направлялись совершенно в противоположную от Бухареста сторону. Было уже к ночи, но Ксения предложила посетить гостеприимный дом Елены Логиновской¹ и Альберта Ковача².

Дом Ковачей встретил тем уютом, от которого становится тепло на душе. Дом интеллигентов и ученых, где книжные полки – везде. Домашняя библиотека «прорастала» и в коридоры, и в гостиную, не говоря уже о кабинете, где корешки книг стройными рядами закрывали стены от пола до потолка. В тяжелых рамах – картины

известных румынских художников, великолепная коллекция кофейных джезв, старый рояль с раскрытыми нотами на попире...

Альберт Ковач с первой минуты показался мне Дон Кихотом. Черты его благородного лица, борода клинышком, легкая блуждающая улыбка и добрые глаза покорили мгновенно. А Елена Васильевна с царственной осанкой, изящными манерами, радушием и русским гостеприимством напоминала фею из доброй, детской сказки.

Для меня любые встречи с новыми людьми – это открытие вселенной. Важно, чтобы душа, соприкасаясь с другой, почувствовала утонченные вибрации близкого по мировоззрению и мироощущению человека. Как часто за лоском светского общения мы забываем о духовных связях. В наш компьютерный век мы разучились чувствовать флюиды интеллектуального возбуждения собеседника...

Постепенно я стала выходить из того неприятного состояния, которое американцы называют джет-лагом, подташнивающе-шатающийся послеполетный синдром перестал меня мучить, и я увлеклась разговором, палитра коего расцветивалась яркими вспышками воспоминаний моих новых знакомых.

Альберт хорошо знал академика Лихачева; знаменитый пианист Башкиров играл на рояле в квартире Ковачей, и с Рихтером они были близко знакомы. Регулярно каждый месяц здесь собираются известные прозаики, поэты, литературоведы, журналисты и художники.

Дом, в который стекаются те, кому близко слово «творчество» и кому дорога свобода самовыражения.

Зять Ковачей – самый известный из современных румынских поэтов, Мирча Динэску, первый провозгласил по телевидению о победе революции. Сейчас он бизнесмен, меньше пишет стихов, но издает популярный сатирический журнал, создал благотворительный фонд и помогает молодым дарованиям.

Отец Альберта – венгерский крестьянин – пытался после первой мировой войны создать большое хозяйство, но разорился и с семьей детьми ушёл в батраки к помещику. Альберт знает, как привить почку «культурного» винограда на лозу дикого, он не забыл, чему его учил отец в детстве.

На столе сверкали лафитнички с вином из виноградников Мирчи и ваза с нежной румынской брынзой.

А с Еленой Васильевной мы оказались землячками. Её детство прошло на Урале, в Свердловской области, которую до сих пор не переименовали. Отец – геолог, мама – актриса:

– А знаете, моей маме недавно исполнилось бы сто лет... да... Я нашла её рассказы и хочу их напечатать. Мама была очень талантливым человеком, – с улыбкой говорит Логиновская. И я понимаю, что в этой семье чтут родовые корни и традиции.

Только далеко за полночь я очутилась в небольшом номере гостиницы «Орхидея».

И... начались мои безумные ночи в Румынии.

Я специально прилетела за несколько дней до открытия симпозиума, чтобы адаптироваться к смене временных поясов и немного отдохнуть от перелётов перед его началом. Но – не тут то было! Уснуть невозможно. Напротив, через дорогу от гостиницы, ночной клуб. До 4 утра гремит музыка, ди-джеи вопят в микрофон, надрываясь изо всех сил. Истошные крики разносятся по всей округе – такое ощущение, что люди ринулись в атаку с шашкой наголо и призывают следовать за ними в последний бой. Когда возникала пауза, я облегчённо вздыхала, и даже думала – а не пойти ли мне, из любопытства, посмотреть на такое светопреставление.

В гостинице ко мне относятся очень хорошо, объясняюсь на английском, и девочки меня понимают, а если нет – помогает язык жестов. Люди во всех странах похожи, и при желании могут понять друг друга.

1 октября съезжаются остальные участники симпозиума. Ксения знакомит меня с предварительными материалами и рассказывает о планах. Стараюсь себя занять – пишу очередную главу романа, до рези в глазах от недосыпания. Лучи закатного солнца скользят по комнате, пуская зайчики, я очарована их красотой. В сухих октябрьских сумерках зажглись фонари, машины с шумом проносятся по дороге, звенит трамвай.

Очередная ночь опускается на Бухарест. Выглядываю из окна третьего этажа. Вид странный. За пустырьём, поросшим травой и низкими кустами, расположилось кафе «Фас Фуда», окруженное забором. По пустырю бежит пёс – простая румынская дворняжка.

А где-то далеко за океаном в это же время мой «американский» Рекс сидит на крыше своего собачьего домика и молча разглядывает вызревающие желтые плоды лимонного дерева, он любит играть с упавшим лимоном, и, если надкусит, то морщится, как человек, сконфуженно приоткрывает пасть – опять лимон попался, даже не яблоко!

Вот так, вижу румынскую дворняжку и думаю об американской. Да и какая разница, где им жить – главное, чтобы домашние их любили. Если бы я знала в тот момент, сколько разговоров о собаках будет в последующие дни!...

* * *

2 октября – день открытия VIII международного симпозиума «Европейская цивилизация: единство – своеобразие – открытость», ежегодно проводимого Румынским Обществом Достоевского и Фондом Культуры «Восток-Запад».

В планах работы сессий – не только доклады, но и микрокинофестиваль современного Российского документального кино.

Церемония открытия проходила в переполненном зале Румынского Института Культуры, и началась со вступительных слов руководства института и Посла России в Румынии Александра Анатольевича Чурилина.

Публика с большим вниманием выслушала «ритуальные» речи и замерла в ожидании. По залу ещё идёт шепоток, но чувствуется, что напряжение усиливается. Сотни глаз устремлены к вспыхнувшему экрану. В «Русском выборе» Н. Михалкова чередуются кадры старых кинодокументов и фотографий. Фильм о белом движении, об эмиграции, о военных, среди которых Деникин, Врангель и Кутепов. Обильные комментарии режиссёра накладываются на воспоминания потомков, в том числе дочери Деникина Марины Грэй.

Но по-настоящему захватил меня следующий фильм, – «Капустин Яр» по сценарию Светланы Василенко. Он не навязывает зрителю новомодные «русские идеи», а правдиво рассказывает о постсоветском «межвременье». Ещё колеблются тени былого величия державы в Капустинском Яре, местечке, где была запущена первая космическая ракета. Убогий, слабоумный мальчик тащит

кусок металлолома через поле, через осень, как символ – всё в этом мире проходит. И через черно-белые кадры прорывается иногда цвет: когда запускается новая ракета, или ещё в сцене с застольем старух, вспоминающих прошлое. Таков он, всегдашний «выбор» народа: нищие, зато с ракетами и бомбами.

И – страшный лик реальности, в смехе окружающих над больным мальчиком, и его ответной, наивной улыбке...

И спросит дед сироту:

– А что там наверху?

И ответит убогий:

– Солнце... луна...

– А кто еще?

– Бог...

Сердобольная соседка попросит мальчика похоронить кролика, и он схоронит, прикроет камышом и положит надгробные камушки – в память об ушедшей жизни, которую надлежит уважать...

Фильм прозвучал тревожным колоколом: нравственные принципы попираются десятилетиями, милосердия и сострадания – не дожидаться. И в замершем зале Института Культуры Румынии воцарилась абсолютная тишина, и каждый думал: «Кто мы? Для чего живем? Где вера, и во что?»

Следующий фильм – из телевизионной серии «Торжок и его обитатели» (2005). Он был представлен молодым сценаристом Марией Сапрыкиной, лауреатом премии за лучший короткометражный фильм на фестивале документальных фильмов «Cinema du reel» (Париж, 2004).

Мы увидели только один фильм из целой серии; причём, по признанию Марии Сапрыкиной – не из самых удачных. Он рассказывает о любви русской девушки к чеченцу, солдату, служащему на Крайнем Севере. Любовь, воспарившая над межнациональной рознью, над обыденностью и серостью жизни, показана во всей её искренности и чистоте.

Мария Сапрыкина прибегает к сопоставлениям. Идут рассуждения о стихотворении «Я помню чудное мгновение», о любви А.С. Пушкина к Керн, которую толстая тётка почему-то называет «проституткой». И о том, что молодожены приносят цветы на могилу Керн, но типичная обительница городка строго запрещает своим

детям ходить туда, и вместо этого направляет их... к памятнику Ленина.

Аудитория смеялась от души. Обычная провинциалка «без комплексов» простодушно высказывает то подспудное, что гнездится в подсознании у многих о героине фильма. Нет, никто вслух своего мнения не высказывал, но ядовитые смешки за спиной, участливые взгляды – весьма красноречивы...

А героиня, не взирая ни на что, каждый день пишет письма любимому, и гордо ходит по замкнутому кругу из дома на почту и обратно. Сможет ли ее любовь победить? Ответа нет. Отец солдата цинично утверждает: «Как любит, так и разлюбит», чеченцы всё равно вернутся в Чечню, в разгромленное село Симашки, видео-ролик о котором весь клан смотрит почти каждый день.

Мысль, что любовь вечно жива и для неё не существует ни преград, ни смены столетий, – она стоит над всем сущим, – ещё раз подтверждается и кинолентой Татианы Донской о Москве 1941-42гг. Это не просто документальный фильм, а художественно-документальная повесть о любви, вере и выживании в первый военный год. Письма-размышления, которые никогда не будут отправлены на фронт любимому, своеобразный дневник молодой женщины – стержень «Станции Счастливая».

Молодая кинематографистка удачно использует символику и те детали, которые подчеркивают её основную идею: война разрушает гармонию в жизни не только всей страны, но и одной отдельно взятой женщины. Оживает старая пожелтевшая фотография – из тех, мирных, лет: уют дома, потягивающаяся кошка Дуська. И вдруг – звуки расстроенного пианино, вытащенные из него полусломанные игрушки, которые когда-то кукловод водил на верёвочках. Игрушки больше не нужны, привычный уклад бытования людей рушится.

Жаркое лето. Ещё дымится одинокая чашка чая на фоне открытого окна. Со стола катится яблоко. Мимолетные воспоминания о мире; под струёй воды визжат дети, их радость беспредельна, они не знают, что завтра всё изменится.

Поезд мчит к станции «Счастливая». Ах, как хочется быть в первом вагоне! И... страшные кадры кинохроники военных лет. Трупы, остовы печных труб. Стон над убиенными. Чёрная гарь

трагедии накрывает страну, стариков, детей, каждого человека; будущее – во мраке.

Идут эшелоны с солдатами, ополченцы копают оборонительные сооружения возле Москвы. Будни войны. Вертится беспощадно колесо швейной машинки, строчки сшивают куски материала: всё для фронта, все для Победы, но былой жизни по лекалу уже не скроить; стучат под колесами военных эшелонов рельсы, и уже никогда не будет остановки на той заветной станции.

Следующий фильм представлен сценаристом Алексеем Сашиным («В поисках Чехова», режиссура Алика Карпова, 2003). Он рассказывает о мучительных попытках студента-актёра «врасти в плоть» чеховского персонажа, которого «он не чувствует». На обнаженной сцене пустого театра режиссёр никак не может добиться от актёра чеховских интонаций, глубины чувств героя драмы. Это фильм не просто о поиске Чехова, о путешествии по музеям и трудностях понимания идей великого драматурга и писателя; в кипении современной жизни, водовороте гламура происходит поиск духовности и философско-чувственный ориентир зачастую пытаются найти именно в классике.

Все работы молодых авторов были отобраны для симпозиума профессором ВГИКа и Высших Курсов режиссёров и сценаристов Натальей Рязанцевой.

Кулуарные дебаты о концепциях и выразительных средствах кинематографа продолжились вечером в Институте Культуры. К тому времени я уже успела побеседовать с Ниной Никитиной из Ясной Поляны о её докладе «Толстой и повседневность»³, а Наталья Шварц (петербургский музей Достоевского), находившаяся под впечатлением фильма Т. Донской, делилась со мной воспоминаниями о своей бабушке, которая в Блокаду Ленинграда работала в госпитале. Ещё в детстве Наталья слышала от неё, как обмороженных солдат перед ампутацией конечностей опускали в горячую ванную, чтобы отодрать примерзшую одежду, и вот, спустя столько лет, довелось увидеть это воочию в документальной хронике.

Итак, первый аккорд симпозиума был взят на высокой ноте. Второй рабочий день, 3 октября, начался в знаменитом Зеркальном зале Дома Садовяну с *Оды к Радости* из девятой симфонии Бетховена. В унисон с торжественной музыкой прозвучали слова

Альберта Ковача, что счастье – это комфорт, а подлинное счастье – это Богом дарованная радость, радость творчества.

Альберт Ковач – известнейший ученый-славист, литературный критик. Он занимается активной общественной деятельностью, возглавляя Фонд культуры «Восток-Запад». Приветствуя участников симпозиума, Елена Васильевна Логиновская с горечью отметила, как много препон, при всем энтузиазме организаторов, возникло из-за разных бюрократических неувязок. Например, Игорь Волгин так и не сумел приехать в Бухарест из-за задержек с получением визы.

В этот день почти все доклады первого заседания читались на румынском, но они поначалу не переводились, хотя в зале находились и переводчики. К сожалению, это отстранило от дискуссий ряд участников, но не повлияло на общую атмосферу. Румынские исследователи старались пересказать свои идеи на русском. С полными переводами выступлений Ливии Которча⁴ (Ясский Университет), Корнелии Кырстя⁵ (Университет Крайовы), Мирославы Метляевой⁶ (Молдавия) и других мне удалось ознакомиться позже.

Глубоко впечатлил доклад Н. Шварц о 500-летию рода Достоевского. Никто из русских писателей не имеет определенной даты начала «династии», нет её фиксации.

– В случае же с родом Достоевских мы можем назвать даже день. Это 6 октября 1506 года, когда князь Пинский дарует село боярину Ртищеву. Считается, что означенный Ртищев и является «родоначальником» ветви Достоевских. Игорь Волгин, президент Российского фонда великого писателя, считает историю рода Достоевских неотъемлемой частью истории России, – добавляет Наталья и поясняет, что в роду у Достоевских были и священники, и люди светских профессий, гений «подпитывался» духовным потенциалом семнадцати поколений!

Тематика докладов отражала основную идею симпозиума – оригинальность, открытость, единство европейской цивилизации, глубокое взаимопроникновение культур. Высказывалась и озабоченность по поводу кризисных процессов: на смену основополагающим духовным ориентирам – правде, красоте, доброте – приходят другие, подчиняющие себе гигантский информационный поток: деньги, карьера, прагматизм, погоня за удачей. Альберт Ковач к тому же подчёркивает: «В настоящий исторический момент

взаимосвязи между цивилизациями, как и между конфессиями, осложняются межгосударственными политико-экономическими отношениями, угрожающими самим судьбам человечества».

После обеда часть докладчиков уехала, и я смогла обговорить планы на будущее с Мирославой Метляевой и Ливией Которча. В ту ночь мне было опять не до сна, пронзительная музыка ночного клуба захлестывала окрестности, и в ней тонул ночной город.

В шторме мыслей выстреливали цитаты из докладов. «Хлебников и Гоголь, как разрыв и продолжение традиций... Футуризм – рывок к холодному трезвому взгляду на повседневность... Гоголь с его сочностью красок...» Почему я никогда не думала об этом? Почему они для меня всегда существовали в разных измерениях? А Ливия Которча убедительно доказывает и их общность. Оказывается, сам Хлебников говорил, что он двойник Гоголя.

А образ дома у Элиаде в работе Анастасии Романовой?⁷ И вообще, что такое – дом писателя, поэта? Только ли достаточно комфортная для него зона, или обиталище, где единственно возможно общение с собственным талантом? Очаг, где теплится и возгорается огонь вдохновения? И кто был тот старый профессор, который в запасниках библиотек России отыскал книги о Румынии, датируемые 16-17 веками? Кажется, его имя Лагош Димену?...

В плане работы семинаров – удивительное тематическое разнообразие. Привлекло название доклада доцента МГУ Александра Криницына «Психология вины у Достоевского и Кьеркегора», вызвавшего всеобщий интерес и получившего высокую оценку участников симпозиума. Ох, уж этот экзистенциализм, как он на меня когда-то повлиял, в какую мощную депрессию ввел! Пока однажды не поняла, что любое отчаяние, любой символ смерти только подчеркивают сакральность и величие жизни.

В 4 часа 45 минут утра музыка смолкла и я оглохла от тишины и интенсивности размышлений. Знала, конечно, что у литературоведов, как и у писателей, свои тусовки, но втянуться в их дискуссии, увлечься своеобразным способом мышления, становилось приятнее с каждой минутой.

Утром 4 октября выехали в Четате, что означает «Крепость». Следующие сессии симпозиума будут проходить в летней резиденции Мирчи Динеску⁸, в Центре поэзии. В автобусе мы с Ксенией

Красовской оказались на задних сидениях, я слушала её рассказы о липованах, об их обрядах, о новой книге, посвящённой старообрядцам. На первой же остановке в небольшом кафе я поближе познакомилась с Августином Фрацилэ, поэтом и бардом, и его женой Родикой.

По салону автобуса был пущен поэтический сборник Мирчи Динеску в переводе Е. Логиновской. Шелест страниц и тихие голоса, декламирующие стихи, прервались возгласом:

– Подъезжаем к городку цыган!

При одном слове «цыгане» возникает ассоциация со степями Бессарабии, табором, огненными плясками, звенящими монистами. Но в Бузеску мы увидели улицы дворцов. Да, да – это были настоящие, мрамором отделанные дворцы-хоромы. Построенные по однажды выбранному архитектурному решению, они напоминали гигантских близнецов. Кто-то вскользь заметил: несмотря на огромное количество комнат и помещений во дворцах, во многих семьях так и осталась привычка ночевать всем вместе в одной спальне.

Но какое великолепие чугуннойковки на воротах и оградах и многочисленных ажурных башенках на крышах – они соседствуют с печными и каминными трубами. На мой вопрос, почему же так много башенок, Ксения ответила, что каждая из них представляет килограмм золота, и сколько в семье этого драгоценного металла, столько и башенок будет на крыше.

Поразило меня и то, что в Румынии есть император и цыганский король. Живут на параллельных улицах в одном городе – такое вот двоевластие, и спор между ними никак не решается уже несколько лет.

Через несколько часов мы остановились у винодельни Мирчи Динеску. Несколько зданий и среди них – большой винный погреб, где производят красные и белые вина.

Там мы с Мирчей и познакомились. На вид он – крепкий, сбитый молодой мужчина. На улице накрыты столы, сам поэт нарезал хлеб и с радушием хлопотал около участников симпозиума. Очень немногословный, он больше слушал, мало говорил. Многие из нас уже познакомились с его стихами. Было трудно поверить, что рядом с нами – живая легенда, знаменитость, когда-то

опальный, но ныне признанный поэт, бизнесмен и общественный деятель, регулярно выступающий по телевидению, выпускающий журналы.

Мирча убеждён, что поэт может выжить в любой реальности. Талант творить, талант созидать невозможно уничтожить никаким политико-экономическим строем.

Здесь, на осенней траве, за уставленными снедью столами, мы видели того, чья жизнь и творчество совпали с радикальными социальными потрясениями, и они были эмоционально, гражданственно отражены в его стихах. Одно название сборника – «Пьянка с Марксом» – говорило об оригинальности его таланта.

Я старалась разглядеть его получше. Заметила, какие у него сильные руки и пронзительный, пытливый, цепкий взгляд. Рядом хлопотала его жена – очаровательная Маша, дочь Альберта и Елены Васильевны, переводчик с нескольких языков.

Елена Логиновская рассказала об одном случае.

Однажды Мирча шёл по проспекту, и нищий попросил у него милостыню. Поэт вывернул карманы, и, отдав всё, что в них было, двинулся дальше. Сопровождавший его секуррист (румынский кагэбэшник) не удержался:

– Ты хоть знаешь, кто тебе помог? Сам Мирча Динеску!

– Мирча... Динеску, – оглядываясь, повторил тот. – Как? Поэт?! Сам Динеску!

Мирча услышал этот диалог, обернулся, и в смятении нырнул в первый же проулок.

Я так благодарна ему, что он делился с нами хлебом и постоянно одаривал гостеприимством и заботой во все последующие дни симпозиума, причём с неизменной простотой и искренностью. А мне так и не удалось с ним поговорить. Кроме «спасибо» я ничего ему не смогла сказать.

Такое же удивительное впечатление создалось у меня после общения с семейством Ковачей. Я познакомилась с семьёй, где друг друга беспредельно любили и уважали. Настоящий «интернационал»: Ковач – венгр, Логиновская – русская, зять – румын. Я видела, с какой материнской любовью смотрела на дочь Елена Васильевна, как Альберт по-отечески хлопал по плечу зятя.

Потом, спустя несколько дней, я спрошу у Логиновской о ее семье и она скажет:

– Да, мы нестандартные. Мы «опасная» семья, ибо тверды в убеждениях и идеалах, и больше всего ценим дух свободомыслия.

На винодельне Мирчи за дегустированием молодых и старых вин участники симпозиума разговорились и познакомились поближе.

Наконец, приехали в Четате. Погода стояла солнечная.

Над воротами резиденции вывеска – «Парк Ангелов». В просторном, с высокими потолками, доме – около пятнадцати комнат, и наверху огромная мансарда с коллекцией керамики и картин. Всем своим друзьям-художникам Мирча отводит место – их творениями занята значительная часть дома и «парка». Весьма экспрессивны современные инсталляции. Вот три «возка» – старый трактор, сани и пролетка стоят рядышком напротив центрального входа, как напоминание о быстротечности жизни.

Дом расположился на высоком берегу Дуная. На другой стороне видны строения – это уже Болгария, дальше – Сербия.

Не искупаться ли? Кто-то набрался храбрости и бросился в реку. Вода ласково-прохладная, течение не очень быстрое, так что можно не двигаться – воды сами несут тебя под ясным и чистым небом Румынии.

Вечером Августин пел под гитару свои песни – некоторые положены на стихи Мирчи. Расположившись под кроной огромного вяза, два поэта в оба голоса возносили хвалу любви, слова печали и радости, им подпевала Елена Логиновская, что-то тихонько мурлыкала себе под нос Альберт.

В свете фонарей медленно кружились первые осенние листья. Я давно не видела настоящей осени. У нас в Калифорнии есть сезон дождей, когда лишь кое-где можно увидеть багрянец и желтизну на деревьях, но листопада не бывает. А тут осень как бы сошла с картин Левитана.

Постепенно вокруг нас стали появляться собаки и крохотные щенята. Мы их кормили с ладоней, трепали за уши. Я насчитала девять малышей и шесть или семь взрослых.

Ближе к ночи я и Кристия «Пупу», – так мы называли тоненькую женщину, жену телеоператора Нони Кристия, – с жаром обсуждали

тему молодого поколения. Именно с жаром – притом, что я не знала румынского, а она, хоть и владела блестяще французским, но понимала по-английски только несколько слов, а с русским у неё обстояло дело и того хуже.

Но мы прекрасно поняли друг друга. Молодежь открывает напоказ всё больше плоти, от оголённых плеч до пупа, но каждый старается упрятать подальше от посторонних глаз смятение души, избежать вопроса, а есть ли вообще идеалы? Боятся «высоких» разговоров, бегут от реальности в электронные игры, прячутся в виртуальном пространстве от самих себя. Много ломается в современном мире: и восприятие времени, и восприятие людей.

Но вот мы уже смеёмся – нашим родителям тоже было о чём посокрушаться, ведь мы росли во времена хиппи и музыки «Битлз». Отцы и дети – неисчерпаемый конфликт. На том и разошлись... по своим кельям.

В самом деле, комната на втором этаже, где я нашла узкую кровать, из лозы сплетённый маленький столик и пару стульев с вешалкой, чем-то напоминала келью. Высокие стены и – огромное окно с видом на Дунай.

Распахнула створки, закрепила их крючками и в полудрёме прислушивалась к голосам природы, шорохам и звукам дома. Вспомнилась песня «Чубчик Кучерявый», которую пел Саша Ворона. Он удивил меня знанием русского фольклора. Хорошо поставленный голос. Спел нам более тридцати песен, Ксения ему «вторила». Большинство песен я услышала впервые.

Утром пятого октября, спустившись к завтраку, я внимательно пригляделась к убранству просторной столовой и гостиной. Небольшое фойе упиралось в двери еще одного зала, где стоял рояль. По краям двери – два стилизованных ангела. Сначала мне показалось, что это они от страха за людские судьбы втянули головы в плечи. Но нет, – они были без голов. На полу по углам, притуленные к стенам, стояли отдельно ангельские крылья.

В гостиной – старый рояль с открытыми ногами Дебюсси и бетховенскими сонатами. Очень много старой утвари и керамических, напоминающих амфоры, больших и маленьких, ваз, по подоконникам – плоски, фигурки. И уголок для отдыха из плетёных кресел.

В столовой – «рыцарский», длинный и узкий, из некрашеного дерева, стол, почти упирающийся в две створки резных, деревянных врат на стене, а по углам – опять крылья. И, в самом деле – Парк ангелов, где они могут «припарковаться», сбросить старые и изломанные от борьбы крылья, поскорбеть в тиши о заблудших душах.

В десять утра под вязами Альберт, как председатель симпозиума, открыл выездное заседание и вынес на голосование первый вопрос: принять присутствующих у наших ног собак полноправными участниками, но без права выступать в дебатах. «Прошу голосовать!» – прозвучало под наш заразительный, просто пионерский, смех. Вот так собачье племя, с малышкой, лёжа на солнышке, или скрываясь от яркого солнца под столами, сопя и почесывая за ушами, осталось послушать доклад о Хэмингуэе, с которым выступил Леонид Паршин, равно и сообщение Саши Ворона о Белом движении.

Дебаты были жаркими, где-то к середине Паршин уже пытался вызвать на «дуэль» Ковача. Альберт махнул рукой и бодро ответил, что он с мальчишками не стреляется. Корнелия и Наташа в один голос заявляли, что, не зависимо от того, встречался ли Хэмингуэй с агентами, или нет, он великий писатель и роман «По ком звонит колокол» – одно из лучших произведений XX века.

После вопроса Елены Логиновской, откуда возникло название «Белое движение», все призадумались, потом высказывались различные предположения. В полемике затронули и тему о дневниках писателей, их письмах. Какова в них доля правды? Паршин утверждал: они писали и знали, что их будут анализировать, – значит, только 10 процентов в них искренности, на что Ковач заметил:

– У Достоевского четыре тома писем, и я считаю, что там 90 процентов Правды.

После выступления обоих Крестя о Русском Париже и Русском Бухаресте, Елена Логиновская, подводя итог, всех «примирила»:

– Литература и взгляд художника сильнее, глубже, чем взгляд человека.

С этого дня появилась у всех привычка уходить на «променад-беседы». То, о чем не успевали поспорить или поговорить на сессиях, переносилось на прогулки. Частенько по двое, трое разбредались по усадьбе или ходили по берегу, тут и там можно было услышать имена Шопенгауэра и Канта, Достоевского и Кустурицы (доклад о нём был прочитан кинокритиком Дульгеру⁹).

На одной из прогулок с Альбертом я много услышала о его юношеских годах и учёбе в гимназии. Его родители были крестьянами, даже, скорее, фермерами, людьми образованными. Мать Альберта хотела, чтобы он стал священником и он действительно учился на теологическом факультете, и одновременно – на факультете венгерского языка и литературы. Альберт рассказывал также о трудностях, с какими сталкивалась интеллигенция при Чаушеску и после революции.

Однажды Альберт взял и прочитал всё собрание сочинений Федора Достоевского. Влюбился в писателя, в его произведения. И хотя первые работы Альберта и Елены Логиновской посвящены Белинскому, вскоре Достоевский занял основное место в их творчестве.

Вечером мы смотрели на мансарде, в импровизированном «кинотеатре», новый фильм Т. Донской «Девушки из Сталинграда». Героиня картины, восьмидесятилетняя Зинаида Сенина, эмоционально рассказывает о выживании трех сестёр в условиях войны. Гражданское население не было эвакуировано из Сталинграда, а это не менее миллиона человек!

Татиана Донская находит яркие и глубокие образы-символы. Голову гуся отрубают на огромном чурбаке. Красная стекающая кровь. Белый пух, летящий в небо. На «эшафотах времени» – боль воспоминаний. Девять месяцев Донская собирала материал и её героиня проехала со съёмочной группой более тысячи километров по тем местам, через которые три маленькие девочки и больная мать прошли когда-то пешком. Дети схоронили мать уже в фашистском лагере, но сами выжили...

Потрясающая сцена у памятника погибшим и замученным – старая женщина плачет, говорит своей умершей матери слово «прости», рассказывает о жизни одной сестры и смерти другой.

На наш вопрос, как случилось, что героиня могла так искренне «сопереживать» перед объективом, Донская ответила, что камера

была спрятала и Сенина её не видела. На экране показана Правда...

Ночью – сильная гроза. Казалось – молнии полыхали прямо у открытого окна. Гром безжалостно сотрясал небеса, ужас сковал всё мое существо, детские страхи парализовали меня, я спряталась с головой под одеяло. Створки постукивали от каждого порыва ветра, и, зажмурив глаза, я ждала, когда же, наконец, всё это кончится.

На утренних чтениях Логиновская рассказывала об образе Рая в литературе. Сложный вопрос. Что для творческого человека рай, как не интенсивность переживаний, «пропускание» через душу каждого момента действительности? Обсуждение докладов прерывалось «баталиями» между Ковачем и Логиновской, они умели спорить, и каждый доказывал свою точку зрения. Неожиданно я поняла, кого они мне напоминали: Мережковского и Гиппиус. Когда-то читала в воспоминаниях, что Зинаида Гиппиус никогда не уступала мужу в дискуссиях, после которых, конечно, наступало примирение. Альберт, к слову сказать, после заседаний мог подойти к Елене Васильевне и тихо предложить:

– Лёля, – так он её ласково называл, – ты устала, тебе надо отдохнуть, – или заботливо спрашивал, приняла ли она лекарство. Разница в подходах, концепциях, не отражалась на теплоте взаимоотношений.

После обеда – экскурсия в музей небольшого городка Калафат. В городе всего 20 тысяч населения, музей расположен в красивом дворце. Посетили и Румынскую церковь, построенную в 1740-х годах. Служба закончилась, но для нас священник специально открыл двери храма. Он расписан великолепными фресками по всему полю стен и потолков. Там же нам показали старые церковные книги, написанные по-румынски, но кириллицей – латиницу ввели только к концу 60-годов восемнадцатого века.

Прошли через сквер – и оказались у памятника погибшим советским воинам, совсем близко отсюда – греко-православная церковь. В ней служба тоже закончилась, но у хора была репетиция – отчётливо раздавалась здравица в честь участников симпозиума. Под куполом полупустой церкви разливалась прекрасная мелодия. Разве можно такое забыть? Я думала о гармонии, вечности веры и человеческой души.

Батюшка рассказывал, что все оригинальные росписи храма сохранились, время пощадило их. Он подвел нас к святыне прихода – плащанице, вышитой золотом и серебром более трехсот лет назад.

К вечеру дождь прекратился, закат солнца был удивительно мягким и красивым. Мы вернулись в Четате, в цитадель ангелов. Уже в глубоких сумерках я подсела к роялю, играла фрагменты «Лунной сонаты» Бетховена и «Лунного света» Дебюсси. Краем глаза заметила, что в темном небе зависла огромная луна. После грозы наступило полнолуние. Я вспомнила детские годы и рассказы Мэри Кушниковой о Румынии. В тот момент я наслаждалась всем: и звуками рояля, и лунной дорожкой, что бежала по волнам великого Дуная. Какая-то необыкновенная, затаянная тишина и покой разливались повсюду, и этому ощущению не мешала ни музыка, ни приглушенные разговоры...

Быть в Румынии и обойтись без мистики? Это невозможно. Совершенно естественно, что мы незаметно свернули на тему Дракулы. Леонид Паршин рассказал, как однажды он приехал в Румынию и попал в замок Дракулы. Кажется, он в тот вечер должен был уезжать обратно в Москву, а сувениров для друзей купить не успел. И решил, что отколупает пять камушков от ограды замка, вряд ли это нанесет существенный урон памятнику, но зато какими необыкновенными будут подарки! Привез эти камушки, раздарил, и... тут же начались неприятности за неприятностями. Задумался, почему же так происходит. Поговорил с друзьями, – всех пятерых постигают неудачи. Посоветовались. Пришли к выводу, что их преследует Дракула, и выбросили камни. Не прошло и нескольких дней, как жизнь у всех наладилась, вошла в прежнее русло.

Мы слушали Паршина так же внимательно, как в детстве у костра – «страшилки» о кладбищенских монстрах и мертвецах. В ту ночь мне снились кошмары. В полудрёме, в полосе лунного света, в центре комнаты плясали бесы; бледные личины с искривленными ртами безмолвно рычали с потолка. Оцепеневшее тело не слушалось, ко всему прочему в жуткой тишине завопил женский голос. Я не могла подняться, молилась и лихорадочно вспоминала, когда должны петь первые петухи. О, как он мне

был дорог, первый молодой петушок, пропевший на рассвете свой гимн солнцу! Утром я узнала, что кошмары приснились не только мне, но и Паршину с Марией Сапрыкиной.

И вот наступил последний день симпозиума. Подведение итогов напомнило о скором расставании. Работники поместья суетились и готовились к прощальному ужину. Ноня Крестя и Татиана снимали интервью со всеми участниками. Даже Ковач не был таким строгим, как обычно, и разрешил нам сбежать с итоговых обсуждений посмотреть, как жарят на вертеле поросенка.

За ужином было высказано много благодарностей организаторам такого замечательного форума и тем, кто за нами ухаживал, – служащим и управляющему «Дома поэзии».

Помню момент, когда Управляющий поместьем, к концу приёма, подсел к Ноне и запел с ним румынскую народную, искрометную песню. Его взгляд встретился с моим и вдруг я почувствовала, что он делится со мной памятью предков, памятью своей юности, показывает, что он – неотрывная часть этой земли. Печаль сердца сопровождала медленную мелодию следующей песни, и было понятно, что безответная любовь ранит – независимо от языка, на котором ты говоришь.

Напоследок меня буквально завалили множеством книг и статей.

В последний день мы с Ксенией Красовской пришли к «музею деревни» в Бухаресте, одному из уникальнейших музеев мира. Там я купила вышитую вручную длинную женскую рубаху, а Ксения подарила мне красивую деревянную тарелку с резными краями, на её дне написано: «Румыния». Я была очень тронута и сразу подумала – буду класть хлеб на это блюдо. Вот и сейчас, заканчивая писать, я беру с него тост.

Нет, не хлебом единым мы живем, а мечтой и встречами с прекрасными людьми, дающими возможность прикоснуться к их душам, идеям. «Ода к радости» Бетховена начинала симпозиум. И моя радость от встречи с Румынией, творческой элитой этой страны, останется в сердце надолго...

*Январь 2007г.
г. Санта-Мария,
США*

Рита Джулиани
**РУССКИЙ ВОПРОС В КОНЦЕ XX ВЕКА
 ГЛАЗАМИ ФИЛОЛОГОВ¹**

У нас, русских, – две родины:
 наша Русь и Европа...

Ф.М. Достоевский

Я не историк, не исследователь русской мысли, не политолог и не социолог, просто я, как и многие, люблю русскую культуру и литературу. Но поскольку после распада Советского Союза сегодня «русский вопрос» встал остро как никогда, позволю себе выступить в необычном амплуа. Вопрос этот – в лучших российских традициях – привлекает внимание не только узкого круга «специалистов», но и большого отряда интеллигентов – филологов, историков культуры и литературоведов. Словно всех и каждого постепенно охватывает насущное толстовское «не могу молчать!».

В начале 90-х гг. итальянский литературовед и культуролог Витторио Страда предложил выделять в истории русской культуры четыре периода: Первая, допетровская, Россия; Вторая Россия, от Петра Великого до Октябрьской Революции, так называемый «петербургский период русской истории»; Третья, советская, Россия, и Четвертая Россия, зарождающаяся на развалинах коммунизма. Третью Россию, Россию советскую, Страда называет «не-Россией» или особой Россией, Россией «*sui generis*» (Strada 1991: 40). «Не-Россией» потому, что, став частью СССР, она умерла как Россия, «утратив национальное и культурное своеобразие» (там же: 51) под воздействием Октябрьской революции, этого «холодного инкубатора тоталитаризма и денационализации» (там же: 50), который, как отмечает Страда, «правильнее было бы называть великой «октябрьской инволюцией» (там же).

По прошествии семи советских десятилетий, Россия вновь столкнулась с исторической проблемой отношений с Европой, с Востоком и с Америкой, одержавшей победу в холодной войне и утвердившей бесспорный приоритет своей культуры в современном глобальном мире. Вследствие этого в России обострилась проблема национального самосознания, которое и отдельный

человек и целый народ создает и укрепляет через сравнение себя с другими.

Примечательно, что еще на заре «Четвертой России» своё мнение по поводу «русского вопроса» в более или менее открытой форме высказали наиболее авторитетные русские филологи.

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев всегда подчеркивал тесную связь, существовавшую между культурой Древней Руси и культурой Византии, культурой Юго-Западных славян и культурой Западной Европы. Выступая в 1989г. на открытии конференции византинистов с докладом об «Историческом самосознании и культуре России», Лихачев в завершённой четкой форме сформулировал свою позицию, являющуюся продолжением и логическим завершением идей и взглядов, излагавшихся в работах по древнерусской литературе. До этого Лихачев выделял пять направлений культурного влияния, которые испытали на себе Восточные славяне, удельный вес которых был отнюдь не одинаков: Византия, Болгария, Скандинавия, финны и степные народы (Лихачев 1979: 6-13; 1987: 38-39). В своем докладе Лихачев заново определяет корни «русскости», отдавая предпочтение одному-единственному вектору культурного влияния: с Севера на Юг. По его мнению, направление это имело столь исключительное значение, что он даже предложил специальный термин «Скандославия», куда более точный, чем «Евразия» (Лихачев 2000: 21). Север и Юг Европы, Скандинавия и Византия – вот главные точки отсчета древнерусской культуры. Лихачев писал: «Обычно русскую культуру характеризуют как промежуточную между Европой и Азией, между Западом и Востоком, но это пограничное положение видится, только если смотреть на Русь с Запада. На самом же деле влияние азиатских кочевых народов было в оседлой Руси ничтожно. Византийская культура дала Руси ее духовно-христианский характер, а Скандинавия в основном военнотружинное устройство» (Лихачев 2000: 22).

Прочерченная Лихачевым ось оставляет в стороне не только Западную Европу, сколько азиатский, тюркский компонент русской культуры, столь любимый сторонниками евразийства.

Никого не оставят равнодушными полные драматизма историко-философские размышления о «русском вопросе», которые Юрий

Михайлович Лотман доверил своей последней книге «Культура и взрыв» (1992). Выдающемуся ученому, в то время уже тяжело больному, не довелось самостоятельно подготовить эту работу, на страницах которой отчетливо звучит тема раздумий о смерти: Лотман диктовал текст по памяти (Егоров 1999: 233-236). В этой книге Лотман возвращается к одной из своих излюбленных тем: к бинарному устройству русской культуры. Убедительно доказав на последних страницах книги актуальность и драматизм этой темы, Лотман обращается к России с горестным призывом: или Россия выберет Европу, или историческая катастрофа неизбежна: «Коренное изменение в отношениях Восточной и Западной Европы, происходящее на наших глазах, дает, может быть, возможность перейти на общеевропейскую тернарную систему и отказаться от идеала разрушать «старый мир до основания, а затем» на его развалинах строить новый. Пропустить эту возможность было бы исторической катастрофой» (Лотман 2000: 148).

В этом тихом крике громко звучит гражданский пафос автора, историк культуры и гражданин разделяются и выступают отдельно друг от друга. Лотман-историк четко анализирует явления, интерпретируя их в свете апокалипсического рождения нового и в свете дуальных моделей, которые необходимо преодолеть, чтобы раз и навсегда присоединиться к тернарному устройству европейской культуры. В то же время Лотман-человек оказывается крепко связанным с бинарной ментальностью и с апокалипсическим сценарием развития событий; он открыто говорит о катастрофе и оставляет современной российской истории только две возможности. Лотман много писал о механизмах русской культуры; еще одна его статья, посвященная той же теме, – «Механизм смуты» – в 1995г., уже после смерти автора, появится на страницах петербургского журнала «Всемирное Слово» (Лотман 1995: 5-9). В ней Лотман пишет о том, что в сегодняшнем кризисе русской культуры слышны отголоски кризиса бинарной системы, начавшегося в Смутное время и приобретшего сегодня неслыханную остроту, повторяя мысли, сформулированные на заключительных страницах «Культуры и взрыва»: «В настоящее время переживаемый Россией кризис, с одной стороны – все тот же кризис, который с разных формах, но с единой сутью

повторялся весь период между Петром и нашей современностью. С другой стороны, мы переживаем принципиально новую ситуацию, ибо сейчас вопрос о переходе к общеевропейской тернарной структуре приобрел гамлетовский характер “быть или не быть”» (Лотман 1995: 9).

Ту же убежденность в том, что сегодня история поставила Россию перед неотложным выбором, высказывал в те же годы Александр Солженицын, опубликовавший в 1994г. статью под названием «“Русский вопрос” к концу XX века». Гражданская деятельность Солженицына является настолько обширной и многолетней, что рассказать о ней в нескольких строках невозможно. Впрочем, голос писателя-мыслителя пользуется огромным авторитетом, и его хорошо знает общественное мнение не только в России, но и во всем мире. В этом кратком обзоре мы упомянем его потому, что обеспокоенность Солженицына судьбой России удивительно близка гражданской позиции Лотмана. В одни и те же дни два мыслителя, два интеллигента драматически переживают первые годы перехода от коммунистического режима, опасаясь гибели России. Оставаясь на различных идеологических позициях, Лотман и Солженицын, характеризуя драматизм данного исторического момента, повторяют слова Гамлета. Солженицын в «“Русском вопросе” к концу XX века» спрашивает себя: «“Русский вопрос” к концу XX века стоит очень недвусмысленно: *быть* нашему народу или *не быть*» (Солженицын 1994: 69) и заявляет, что Россия должна заново обрести себя и перестать жертвовать собой в чужих интересах, растрачивая экономические, человеческие и духовные силы. Писатель страшится катастрофы, предотвратить которую можно, только если русский народ построит нравственную Россию: «Мы должны стоять Россию *нравственную* – или уж никакую, тогда и всё равно» (*там же*: 70; курсивы – Солженицына).

Свидетельством всеобщего интереса к «русскому вопросу» и его особой актуальности в начале 90-х гг. можно считать дальнейшее расширение и без того обширной сферы научных интересов выдающегося исследователя древнерусской литературы и истории Якова Соломоновича Лурье, чье внимание ограничивалось до этого времени первой половиной XX века (достаточно упомянуть его

работы о Булгакове, Ильфе и Петрове и др.). Лурье сразу переходит к сути вопроса и в 1992г. пишет работу под названием «Национализм и русская историография XXв.»; затем, двумя годами спустя, публикует статью об эволюции взглядов Солженицына на историю («А. Солженицын – эволюция его исторических взглядов»).

Многие другие видные мыслители и интеллигенты приняли участие в дискуссии о «русском вопросе» в неявной, косвенной форме, что, впрочем, нисколько не умаляет содержательности и остроты их выступлений.

Гражданский пафос Сергея Аверинцева, перу которого принадлежит ряд острых журналистских статей, явственно слышен и на страницах его научных работ. В своей книге «Поэты» (1996) он не подходит к вопросу напрямую и всё же косвенно отвечает на него в статье «Две тысячи лет с Вергилием»: «Стихи Вергилия были записной тетрадью европейского человечества в течение двадцати веков и остаются ею поныне. Если в своё время они говорили Данте о наследии Рима, об утопии справедливой вселенской монархии, (...) нам они говорят о человеке, преодолевающем себя в искусстве истории, отрекающемся от своеволия, о конце и новом начале. Они обращаются к нам, и мы их слышим» (Аверинцев 1996: 42). Как и многие другие филологи, Аверинцев признается, что во мраке Третьей России он был счастлив благодаря тому, что мог изучать тексты, мог общаться с искусством (там же: 14). Зараженный «тоской по мировой культуре», как удачно окрестил эту болезнь Мандельштам, Аверинцев проповедует всемирное значение литературы, общего наследия России и Европы, в прошлом делавшего братьями и по сей день превращающих в братьев людей по обе стороны Немана.

Еще большая вольность звучит в словах Ефима Эткинда в предисловии к читателю, предвещающем книгу «Божественный глагол» (1999), рассказывающую о восприятии Пушкина в России и во Франции и о связях Пушкина с французской поэзией. В этой «Книге жизни», как торжественно именует ее сам автор (Эткинд 1999: 14), ученый, наконец-то снова получивший возможность печататься в России, вспоминает притеснения и лишения, которые довелось пережить ему и другим интеллигентам-филологам, и то, как советская цензура позволяла себе править

его статьи, посвященные «русскому вопросу» у Пушкина (там же: 14). Пушкинская поэзия дала Эткинду силы пережить предательство, триумф несправедливости и изгнание. Во всех жизненных перипетиях его, как и многих, спасала «тоска по мировой культуре».

В 2000г. Михаил Леонович Гаспаров символически подвел итоги жизни, отданной на службу филологии. Наряду со статьями и заметками по стиховедению, в «Записках и выписках» (М., 2000) Гаспаров изложил свои наблюдения, касающиеся истории, этики и культуры. В статье «Филология как нравственность» он говорит об этической и воспитательной ценности филологии: «Филология изучает эгоцентризм чужих культур, и это велит ей не поддаваться своему собственному: думать не о том, как создавались будто бы для нас культуры прошлого, а о том, как мы сами должны создавать новую культуру» (Гаспаров 2000: 100). В статье «Прошлое для будущего», впервые появившейся на страницах журнала «Наше наследие», ученый разоблачает стремление возвеличивать всё старое и заявляет, что культура должна двигаться вперед, и что России ещё предстоит достигнуть важной цели – «вкуса». «Хочется верить, что культура будущего возродит важность понятия “вкус” и выработает средства для его развития применительно к душевному складу каждого человека» (Гаспаров 2000: 105). Гаспаров выявляет механизмы русской культуры, развивающейся то вширь, то вглубь: после развития вширь, которое культура пережила в советское время, сегодня мы стоим на пороге нового этапа, на котором, как в начале XIX и XX вв., культура будет развиваться вглубь (там же: 106). В статье «Интеллигенция и революция», родившейся из ответа на вопросы журнала «Знамя», Гаспаров отказывается признать за культурой раз и навсегда отведенное место и заявляет: «Культура – это всё, что есть в обществе» (там же: 87). Он решительно и с большим юмором отвергает представление об особой русской судьбе, признаваясь, что не понимает, в чём же заключается «русская идея»: «“Русская идея” в смысле “опыт истории России” мне здесь мало известна (расколом я не занимался), а “русскую идею” в смысле “грядущее призвание России” я пойму только тогда, когда мне объяснят, что такое “шведская идея” или “этрасская идея”» (там же: 86).

В отличие от Лихачева, Лотмана и других выдающихся филологов, многие в России видят решение «русского вопроса» в т.н. «исходе к Востоку», как говорил Пётр Савицкий, озаглавивший так сборник статей, опубликованный в 1921г. и условно ознаменовавший рождение евразийства. Название «Евразия» предложил в 1858г. немецкий географ Г. Ройше, обозначивший этим словом взятые вместе Европу и Азию. Позднее, в начале XX в., британский географ сэра Гарльфорд Макиндер применит этот термин к геополитике, затем, после Октябрьской революции, его подхватит евразийское движение, основанное в 1921г. в Софии. Сторонники евразийства видели в Евразии не только смещение Европы и Азии, но и самостоятельное географическое единство, отдельный континент со своим культурным своеобразием. После распада СССР вновь вошла в моду евразийская идеология, подчеркивающая азиатские корни и азиатское призвание России и выступающая против «озападнивания» (хотя по этому вопросу среди евразийцев не существует однозначного мнения). Писатель и эссеист Асар Эппель в статье «Se la Russia volta le spalle all'Europa» (Если Россия повернется спиной к Европе) резко критикует проявления враждебного отношения к Европе, свойственного современному российскому обществу, и спрашивает с горькой улыбкой, возможно ли ещё, говоря о России, рассуждать о «Евразии» или лучше переименовать Россию в «Азиопию» (Erpel' 1999: 38) – уничижительный ироничный неологизм, появившийся недавно в русском языке.

Сегодня, в начале XXIв., многих выдающихся представителей русской культуры больше нет с нами: ушли Ю.М. Лотман, Д.С. Лихачев, Е.Г. Эткинд, С.С. Аверинцев, Я.С. Лурье, М.Л. Гаспаров. «Русский вопрос» остался и, судя по всему, приобрел ещё большую остроту.

После распада СССР и особенно в последние годы, ознаменовавшие тревожный зачин XXI века, вряд ли можно говорить о единой западной модели (Haller 2004). Не следует путать европейскую и американскую модель, различающиеся между собой во многих отношениях – политическом, экономическом, социальном. Традиционная дилемма «Азия или Европа?» теперь

усложнилась из-за решительного вмешательства нового фактора – Америки, когда-то называемой Н. Бердяевым «крайним Западом». Дилемма эта касается не только России, но для России она имеет особое значение. Независимо от того, какую политическую, экономическую и социальную модель выберет для себя «Четвёртая Россия», культурная ориентация на Европу кажется окончательной и бесповоротной, согласно с традицией, родившейся еще в XVII веке, еще до Петра Великого.

Конечно, историю можно переписать, от неё можно отречься, но её не стереть. Термин «нация» происходит от латинского «natio», которое, задолго до современного значения, в Средние века обозначало профессиональные корпорации. Все, кто имел отношение к университету, преподаватели и студенты, составляли одну из таких «наций», «нацию» знания. Как члены этой «нации», вернее, того, что осталось от неё в наши дни, мы, филологи, не подвергаем сомнению крепость тысячелетних уз, связывающих Россию с Европой и превративших Россию, с её своеобразным «гением», в европейскую страну. Отдельные моменты этой истории имеют, на наш взгляд, особое символическое значение. Константин-Кирилл, Апостол славян, был похоронен в Риме в 869г. Иосиф Бродский, ушедший в 1996г., похоронен в Венеции. Эти две даты можно рассматривать как конечные точки воображаемого моста, соединившего Россию с Европой, моста, пролеты которого длиннее столетий. Не перечить слова любви, восхищения и страсти, которые за все долгие годы русской истории прозвучали в адрес европейской культуры. Нередко эта любовь сопровождалась искренним энтузиазмом и восторгом, упомянем двух писателей: Константина Батюшкова, вступившего в «Арзамас» под псевдонимом «Ахилл, сын Пелеев» и назвавшего свои размышления о европейской литературе «Чужое: мое сокровище» (1817г.), и Леонида Андреева, который в своих дневниковых записях, сделанных в 1914г., после начала Первой мировой войны, писал, что в войне таится заряд, который приведет к падению дома Романовых, европейской революции и «к созданию европейских соединенных штатов», неотъемлемой частью которых должна стать Россия (Андреев 1985: 21-22). Неужели всё это в прошлом, а нам остаётся лишь с грустью вспоминать о былом?

Не напрасно, наверное, Милан Кундера, родившийся в самом сердце Европы, писал, что тот «европеец», кто тоскует по Европе (Kundera 1994: 179).

В 1922г. в «Душе Петербурга» Н.П. Анциферов назвал памятник Петру Первому, Медного всадника, петербургским гением места (Анциферов 1991: 35), понимая под этим душу, символ, воплощение города. Используя этот образ в трактовке Анциферова, можно сказать, что сегодня Медный Всадник является символом целой России, взмывшей в прыжке. «Куда ты скачешь, гордый конь?» Сегодня, когда от распада СССР нас отделяет больше десятилетия, когда Россия, несмотря на многочисленные трудности и на ползучую «бархатную реставрацию», начала движение по пути демократизации, вековая русская традиция позволяет надеяться на утешительное разрешение вопроса, поставленного Пушкиным: путь России ведёт туда, куда простерта длань Медного всадника, – то есть в Европу.

Рим, Италия

Илья Левяш **РУССКОЕ СЛОВО В ЕВРОПЕЙСКИХ РЕАЛИЯХ XXI ВЕКА**

I. Русское Слово как самоценность европейской культуры.

Слово – изначальный и полисемантический символ библейской и античной традиций – колыбели европейской культуры. Вселенная Слова и его эволюция выражена в древнегреческом эквиваленте Logos – первоначально как речи, языка, позже – мысли, понятия, разума, мирового закона и его смысла. И.-Г. Гердер отмечал, что слово «логос» может переводиться по-разному: мысль, слово, воля, действие, любовь [см.: Гете, с. 455]. Библейский Иоанн призывает «любить не словом и языком, но делом и истиною» [Иоанн 3: 18], соединять означаемую жизнь с означающим и адекватным ей Словом.

Согласно позднеантичной мифологии, бог Меркурий не мог вступить в брак с Софией-Мудростью. Сопровождаемый Добродетелью,

он отправляется к Апполону, который советует ему заключить брачный союз с Филологией – дочерью Фронесис-Размышления. «Греческий “логос” означал не только “слово”, но и все, что выражается в слове... “Филология” означала в те времена просто любовь к науке, любовь к знанию, мышлению, размышлению». Недаром она дочь Фронесис-Размышления [см.: Лосев 1992, с. 153, 161].

Такой союз – плод длительной и напряженной культуротворческой деятельности. «Сверхфилолог» Ф. Ницше, как называл мыслителя Вл. Соловьев, писал об устойчивой иллюзии воспринимать слово как нечто само собой разумеющееся, в котором «бытие хочет стать словом». В действительности «сначала образы... Затем слова, отнесенные к образам. Наконец, понятия, возможные лишь, когда существуют слова, – соединение многих образов в нечто невидимое, но слышимое (слово)». И лишь в конечном счете «мы мыслим *только в форме речи*» [1994, с. 233, 241].

Такова вербальная универсалия всех культур. Великие среди них те, которые воплотили в Слове глубину и масштаб экзистенции создавших их народов, сплести воедино общечеловеческие и национальные ценности и смыслы. В этом ансамбле культур, прежде всего европейских, классическое русское Слово заняло достойное и незаменимое место. По словам Н. Гоголя, «дивисься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок, все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и право, иное название еще драгоценнее самой вещи... Сам необыкновенный язык наш есть еще тайна... Язык, который сам по себе уже поэт» [Цит. по: Ильин 1992, с. 95].

К разгадке тайны совершенства русского Слова возможно приблизиться все по меньшей мере по трем позициям, пронизанным тем, что «в русском народе... сильное предрасположение к амбивалентности» [Фрейд 1991, с. 395].

Во-первых, это кардинальные особенности культурной эволюции России в общеевропейской системе координат: «запоздания» в определении их базовых смыслов и вместе с тем предвосхищения ориентиров их обновления. Ab ovo (лат. первичное яйцо) классического русского Слова – творчество А. Пушкина – одновременно от «мира сего», России Александра I и декабристов, и вместе с тем – во многом мира *иного* для России. По Н. Бердяеву,

то был короткий период Ренессанса, который не стал эпохой в эволюции русского духа. Не была классической в России и эпоха Просвещения, хотя Пушкин и призывал «встать в просвещение с веком наравне». Великая русская литература, освоив достижения века Разума, была по преимуществу его глубокой рефлексией, провозвестником культурного декаданса.

«Человеческая культура, – писал Бердяев, – на вершине своей имеет непреодолимый уклон... к декадансу... Так было в великой античной культуре..., так и в культуре нового мира... наступает эпоха поздней культуры упадка, самой утонченной и прекрасной культуры. Это – красота отцветания, красота осени, красота, знающая величайшие противоположности,... но приобретшая мудрое знание не только одного своего, но и противоположного себе. Эпохи культурного утончения и культурной упадочности бывают также эпохами обострения сознания... Декаданс культуры дает огромный опыт и приоткрывает неведомое» [Т. 2, с. 415–416]. «Мы, – писал Л. Шестов, – дети угасающей цивилизации, мы, старики от рождения,... так же молоды, как и первый человек» [1991, с. 76].

Искомое «неведомое» – идеальная обетованная земля, которая, как писал Гоголь о Пушкине: «...не только самая правда, но еще как бы лучше ее» [Гоголь Н.В. Полн. собр. соч., Т. VIII, М.-Л., 1952, с. 384]. «Скала веков» – это одно из имен Христа. Б. Пастернак определил точку отсчета русской классики: «Скала – и Пушкин» [1976, с. 189] в его служении истине, добру и красоте, но в «стране рабов, стране господ». «В мой жестокий век восславил я свободу», – писал Пушкин, но «Служить царям? Служить народу? Бог с ними».

Свободное русское Слово – продукт и одновременно фермент культуры, которая творится не благодаря, а *вопреки* «оскопленным формам» (Розанов). З. Фрейд, объясняя «бесконечно притягательную силу» русской культуры, уподоблял ее *кенарю* в клетке. В фрейдистском ключе, он не может достигнуть своей цели – канарейки, и поэтому «...поет еще прекраснее и неутомимее. Пение превращается в самоцель, в искусство, в утешение; любовное томление отделилось от недостижимой самки, и пение озарилось всем блеском либидо» [Виттельс 1991, с. 137]. В терминах психоанализа, это *сублимация*. По откровению И. Тургенева: «Во дни

сомнений, во дни тягостных раздумий ты один мне порука и опора, о великий и могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома».

Во-вторых, русское Слово – это уникальное единство рационального и иррационального, рефлексии становления Космоса из первозданного Хаоса. Ф. Тютчев полагал, что «умом Россию не понять». В. Набокову, яркому представителю формалистической ветви русского Слова, казалось, что «...все великие достижения литературы – это феномен языка, а не идей» [1988, с. 10]. Напротив, по Достоевскому, «этот вечный русский позыв иметь идею – вот что прекрасно» [Т.11, с. 290]. Однако такая идея – не механическая проекция западноевропейского культа Логоса как *pus*, рационального интеллекта. С точки зрения Бердяева, русская культура соподчиняет его «чему-то жизненно-существенному» [Т. 1, 300], пребывает «исключительно в Космосе, в душе мира» [Т. 2, 484]. «То знание ценно, – писал В. Розанов, – которое острой иглой прочертило по душе. Вялые знания – бесценны» [1970, с. 220].

Русское Слово – одновременно *сфинкс* и *феникс*. «Загадочность» России – это извечная проблема не только для «инославных», но и самих русских. М. Волошин писал: «Кто ты, Россия? Мираж? Наваждение? / Была ли ты? Есть или нет? / Омут... Стремнина... Головокружение... / Бездна... Безумие... Бред / Все неразумно, необычайно... / Взмахи побед и разрух... / Мысль замирает пред вещью тайной / и ужасается дух» [1977, с. 256]. И тем не менее: «Времен исполнилась мера. / Отчего ж такая вера / переполняет меня? / Для разума нет исхода, / но дух ему вопреки / и в безднах чует ростки / неведомого всхода» [Волошин 1993, с. 107].

Все творчество Ф. Достоевского – разрешение этих коллизий. «Великая мысль – это чаще всего чувство, которое слишком иногда подолгу остается без определения... это всегда было то, из чего истекала живая жизнь, то есть не умственная и не сочиненная... высшая идея, из которой она истекает, решительно необходима...» [Т.10, с. 178]. По Бердяеву, «Достоевский – великий мыслитель... Он – величайший русский метафизик. И все наши метафизические идеи

идут от Достоевского. Он живет в атмосфере страстных, огненных идей. Он заражает этими идеями, вовлекает в их круг. Идеи Достоевского – духовный хлеб насущный. Без них нельзя жить. Нельзя жить, не решив вопроса о Боге и диаволе, о бессмертии, о свободе, о зле, о судьбе человека и человечества. Это – не роскошь, это – насущное... У него идеи живут. Метафизика Достоевского – не абстрактная, а конкретная метафизика». В ней «...скрывалась иная гениальная идеология, глубокая метафизика жизни и метафизика человека» [Т.2, с. 144, 174]. Секрет гения Достоевского в том, что он пошел от Логоса рационального «понимания» к герменевтическому постижению Хаоса и его преобразению в Космос «для человека и в человеке» (И. Ильин).

Наконец, *в-третьих*, русское Слово воплотило в себе идущий от Аристотеля пафос культуры как уникального *формотворчества*. Оно сродни труду гениального ваятеля и высекает шедевры из общечеловеческого универсума. Обращаясь к Пушкину, М. Цветаева писала, что «Поэт» – это «безмерность в мире мер», и она достигается протеевым трудом. «Я знаю, что Венера – дело рук, / ремесленник – я знаю ремесло» [Т.1, с. 180]. Отсюда её решимость не только «...брать – последнюю ноту, / ...петь – последнюю жизнь» [Т. 1, с. 225], но и «жить так, как пишу: образцово и сжато, – / как Бог повелел...» [Т.1, с. 114].

У творчества такого напряжения и смысла заведомо «лица необщее выраженье». Русское Слово поставило под сомнение европейское Просвещение как царство «абсолютного духа», или законченный гуманистический Проект. По Достоевскому, «Все вещи и все в мире для человека не окончены, а между тем значение всех вещей мира в человеке же заключаются» [Т.15, с. 417]. Но это уже не абстрактный человек эпохи восходящего Просвещения. Каинова вина незавершенного Модерна стала воплощением глубокой и «преждевременной мысли» П. Абеляра (XI в.) о том, что «человечность без людей – то же, что и “лошадность” – без лошадей». «Вот... преобладающая мысль нашего века, – писал К. Леонтьев. – ...Верят в *человечество*, в *человека* не верят больше. Достоевский, по-видимому, один из немногих мыслителей, не утративших веру в *самого человека*» [Цит. по: Достоевский... 1991, с. 46]. В творчестве русского гения постигается и

преображается «...особая порода душ, близкая Достоевскому... Он пишет не о них, но *из* них, растворяясь... в этом живом горении духа. Он страдает не за них, а *ими*, *в них* и через них – *за весь свой народ, за все человечество*» [Ильин 1991, с. 167, 168].

Этот «секрет» русского Екклесиаста хрестоматийно известен, и влияние его *универсального* творчества – воплощение библейской максимы: «Свободный дух дышит, где хочет» или гоголевского прозрения: «Вдруг стало видимо далеко во все концы света». Для Б. Пастернака литература – это «образ мира, в слове явленный» [1976, с. 38], «целый мир... в границах строфы» [с. 389]. Он стремился «во всем... дойти до самой сути..., / до сущности протекших дней, / до их причины, / до оснований, до корней, / до сердцевины» [с. 354]. Поэт – одновременно и «вечности заложник», и «у времени в плену» [с. 376]. В его потоке «умирает рок, / и правдой входит в наш мирок / миров разногласица» [с. 294].

Это правда восхождения человека от профанного быта к сакральному бытию, восхождения по-русски. Как тонко заметил Е. Боратынский: «Есть бытие... Но именем каким его назвать?». Притяжение русского духа к шекспировской рефлексии *разлома* между закатом Возрождения и зарей Просвещения широко представлено в русской литературе. Исходный пункт русской духовности – решение, казалось бы, узнаваемого в западных культурных символах вопроса о *смысле бытия* человека в мире. По Достоевскому, «Тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить» [Т. 14, с. 232]. Он акцентирует преимущество этого поиска, подчеркивая острую актуальность гамлетовского вопроса. «Помните у Гамлета: “Быть или не быть?” Современная тема-с. Современная! Вопросы и ответы» [Т.8, с. 305]. Для него «Шекспир – поэт отчаяния», и весь контекст писателя – свидетельство того, что не отчаянием единым жив человек.

Гамлетовский вопрос непреходящ, однако «...новый, ужасный свет, озаривший... вдруг, разом, целую перспективу совершенно неведомых доселе и даже несколько не подозреваемых обстоятельств...» [Т.1, с. 199] провоцирует неизвестную Шекспиру проблему разлада между *существованием* и *сущностью* человека.

В образе Гамлета совершенная сущность человека *статична*, уже дана, и проблема – в *восстановлении* её внешнего существования, возвращении к собственной абсолютной сущности. У Достоевского же эта сущность – несовершенная, *динамическая* ценность всех ценностей. И Рубикон, пройденный мыслителем, в том, что *искомая* ценность не вовне, а в самом человеке. Он иронизировал по поводу сентенции: «Все от среды, а сам человек есть ничто» [Т. 6, с. 283] и констатировал: «Жизнь везде жизнь, в нас самих, а не во внешнем» [Цит. по: НГ. 23.06.2005]. «Если хочешь победить весь мир, победи себя», – подчеркивал Достоевский [Т.10, с. 100].

Вслед за русским Екклесиастом В. Розанов ставит парадоксальный вопрос: «Что такое литературная душа? Это Гамлет... холод и пустота» [1970, с. 361]. Человек, разъясняет он, не родовой субъект внешнего бытия, которым озабочен вопрошающий Гамлет («Быть или не быть», по сути, *в мире*). Он – и не социологический агент общественных коммуникаций, и не функционально стандартизованный «ролевик». «Не хочу ли я играть роль? – вопрошает Розанов. – Ни малейшего желанья» [1970, с. 210]. «Нам плакать не об *обстоятельствах* своей жизни, а о *себе*» [Там же, с. 23]. Поэтому А. Чехову Гамлет также интересен, но «не трогает за душу» [Т.8, с. 130]. Его, мастера бытописания, прежде всего интересует бытие человеческой души и способность выразить его не в самоцельной риторике, а в точном и проникновенном слове о сути бытия. Эта труднейшая задача всегда была открытой для Б. Пастернака. Не лишено скепсиса его замечание: «О! Весь Шекспир, быть может только в том, / что запросто болтает с тенью Гамлет». Для него «речь половодья – бред бытия» [1976, с. 335], и он не стремится «...ломиться в двери пошлых аксиом, / где лгут слова и красноречье храмлет» [с. 248]. Идеал Пастернака – «взамен камор – хоромы, / и на чердаке – чертог» [1976, с. 248, 335].

Интерпретацию гамлетовской темы по-русски резюмировал Н. Бердяев. «Духовно ложно считать, что источник зла вне меня, а сам я сосуд добра» [Бердяев Т.1, с. 440]. Существенное отличие в том, что датский принц вопрошал о своем *внешнем* мире, бытии в цивилизации, а русский человек – о своем греховном

внутреннем мире, и его очищении и просветлении в бытии культуры.

Достоевскому принадлежат эвристические концепты различения человека в цивилизации и культуре, – *общечеловек* и *всечеловек*. Общечеловек – это анонимный ролевик безличностных цивилизационных отношений и структур, всечеловек – личность, которая сочетает в себе «самость» и, подобно Пушкину, «всемирную отзывчивость». Поэтому «стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть и значит только... стать братом всех людей, всечеловеком» [Достоевский Т. 26, с. 147-148].

Русское Слово так проникновенно выразило всечеловеческую потребность в духовном исходе потому, что оно стало энциклопедией смыслов и символов уникального мира среди миров – постижения России как *Отечества / Родины* через Слово и благодаря ему. Б. Пастернак «...молча узнавал России / неповторимые черты» [1976, с. 333]. Для него символическое «поле во ржи и пшенице... зовет к молодьбе», и «страница», которую «...твой предок вписал о тебе, / ...это и есть его слово» [1976, с. 368]. «Ты без него ничто. / Он, как свое изделие, / кладет под долото / твои мечты и цели» [с. 32], «...и тут кончается искусство / и дышит почва и судьба» [с. 304]. Пастернак страстно хотел «родным» войти «в родной язык» [с. 293]. Добрый знак в том, что после десятилетий остракизма он вернулся, чтобы сказать современникам: «И русская судьба безбрежней, / чем может грезиться во сне, / и вечно остается прежней / при небывалой новизне» [с. 347].

В таком ключе парадигмой русского Слова становится символический образ «*большой дороги*» по Достоевскому. «В большой дороге заключена идея; а в подорожной какая идея?... На большой дороге есть высшая мысль» [Т. 10, с. 481, 491]. Она требует, пишет М. Цветаева, преодоления «... косности русской» и апеллирует к Пушкину: «Пушкинский гений? / Пушкинский мускул / на кашалотье / туше судьбы – / Мускул полета, / бега, / борьбы» [1990, с. 156]. Это борьба за *обновление* России. «Да не поклонимся словам! / Русь – прадедам, Россия – нам!» [Цветаева Т.1, с. 292].

Смыслообразующие по содержанию и совершенные по форме тексты – творения мыслителей, которым доступно «...постижение сущности, проникновение в мудрость и *водительское служение*...» [Ильин 1991, с. 20]. В этом секрет того, «поэт в России больше, чем поэт» (Е. Евтушенко). Если выразить их уникальность *знаковым* понятием, то Русское слово – это магический кристалл, и сквозь него просматривается двуединый образ *Древа и Ризомы* – смыслообразующей «скалы ценностей» и вместе с тем – архипелага ее ипостасей. Древо-Ризома – не канувший в Лету времени реликт, а в своих прикровенных, а нередко и откровенных, формах – *perpetuum mobile*, пульсирующий Солярис русской идеи, значимый для мировой культуры. «Это естественно и закономерно, – писал И. Ильин, – только через *национальное* служение дух может достигнуть *сверхнациональной* значительности и *многонационального* признания» [1991, с. 138].

II. Русское Слово: от русификации к тоталитарному «новоязу»

Потребность в сакральном отношении к культурному наследию и вместе с тем – в его творческом обновлении сформировалась и вызрела в напряженном дискурсе творцов русского Слова не только друг с другом. Когда Н. Гоголь оказался в ловушке между введенным им в семиосферу русского Слова образом России, как «птицы-тройки», и её «Мёртвыми душами», он сжег рукопись второй части этой русской «Человеческой комедии». Но Достоевский прервал смысловое безмолвие. Он усмотрел в знаменитой гоголевской метафоре двусмысленный символ. «Тройка у него изображает Россию. И летит, и *сторонятся в почтительном недоумении народы*. Не в ужасе ли, не в недоумении ли сторонятся, напротив, народы? И дивятся другие народы... Если в эту тройку впряжен Чичиков, Собакевич, Ноздрев,... то при каком хотите ямщике ни до чего хорошего не доедете. Не починить ли тройку? А для этого что – вникнуть и осмотреть... вникнем и мы в нашу тройку...» [Т. 15, с. 351].

Русское слово – это «честное зеркало» *покаянной* правды о России как двуликом Янусе, извечной российской коллизии между сверх-культурой и недо-культурой (Н. Бердяев). На уровне

недо-культуры это готовность повернуться к Европе «своею азиатской рожей» (А. Блок) и в особенности – «русский бунт, бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). И Ф. Тютчев предупреждал: «О, бурь заснувших не буди, / под ними хаос шевелится».

Начиная с Пушкина, творцы русской культуры верили в её духовный мессианизм и способствовали культуротворческому процессу «сосредоточения» России. Но они нашли достойные скрижалей слова осуждения и пророчества миссионерской роли Российского государства, которое упорно *рассредоточивалось* в экспансии «третьего Рима».

По Л. Толстому, в отношениях с Польшей «силы были слишком несоразмерны, и революция опять была задавлена. Опять бессмысленно повинующиеся десятки тысяч русских людей были пригнаны в Польшу и под началом... высшего распорядителя Николая I, сами не зная, зачем они это делают, пропитав землю кровью своей и своих братьев поляков, задавили их и отдали во власть слабых и ничтожных людей, не желающих ни свободы, ни подавления поляков...» [Т.14, с. 232].

В. Розанов остро реагировал на кавказский вектор российских великодержавных интересов. «Русские – общечеловеки. А когда дело дошло до Армении, – один министр иностранных дел сказал: “Нам (России) нужна Армения, а вовсе не нужно армян”» [1970, с. 487]. Христианский характер Армении все же ограждал её от крайностей, но в непокорных мусульманских окраинах империя не стеснялась. Многие в современной чеченской драме объясняют повесть Л. Толстого «Хаджи-Мурат»: «Фонтан был загажен, очевидно, нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть... Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских солдат людьми» [Цит. по: НГ-Ex libris. 25.10.2001]. М. Волошин писал, что «за полтора года – / с Екатерины – / мы вытоптали / мусульманский рай, / свели леса, размыкали руины, / разграбили и разорили край... / Простор столетий / был для жизни тесен, / покуда мы – Россия – не пришли» [НГ. 11.05.2001].

По аналогии с библейским пророчеством «Мене, текел, упарсин», В. Соловьев в чеканных строках предупреждал о возмездии

за зло и грех имперского экспансионизма: «Судьбою павшей Византии / мы научиться не хотим. / И все твердят льстецы в России: / мы – третий Рим, мы – третий Рим! / Пусть так! Орудий Божьей кары / запас еще не истощен. / Готовит новые удары / рой пробудившихся племен... И третий Рим лежит во прахе, / а уж четвертому не быть».

Русские мыслители не довольствовались ролью Кассандры и устанавливали четкую *субординацию ценностей*. «Я не думаю о царствах, – писал В. Розанов, – ...душа больше царства. Она вечна и божественна. А царства “так себе”». Империя для него – это «папство и грех». «Всемирность решительно чепуха, всемирность – зло. Это помесь властолюбия одних и рабства других». К иной миссии призваны русские – «к идеям и чувствам, молитве и музыке, но не к господству» [1970, с. 406, 473, 510].

Однако «нет пророка в своем отечестве», и имперский официоз П. Столыпин был непреклонен: «В России господствующий язык – русский» [1991, с. 28]. Исключения не делали и для аннексированной Польши. Даже белый генерал А. Деникин, сам полуполяк (мать – полька, отец – подавитель польского восстания 1963г.) писал: «Надо признаться, что обострению польско-русских отношений много способствовала нелепая, тяжелая и обидная для поляков русификация, проводившаяся Петербургом» [Цит. по: Dusza..., с. 123-124]. К сожалению, такая установка получила и духовную санкцию. «Наш долг – писать русским, – писал Гоголь, – ...Господствующим для россиян, чехов, украинцев и сербов должен стать один и единый святой язык, язык Пушкина, как Евангелие является священным для всех христиан, католиков, лютеран... Мы разные, малороссы и россияне, нам нужна одна... нетленная поэзия правды, добра, красоты» [Цит. по: Вересаев 1990, с. 529].

Такая мутация культурной миссии русского языка в императивный «долг» обернулась бумерангом и во многом инициировала распад Российской империи. Ленин признавал бесперспективность русификации и выступал против идеи государственного языка. Он подчеркивал, что «потребности экономического оборота сами собой *определят* тот язык данной

страны, зная который большинству *выгодно* в интересах торговых сношений. И это определение будет тем тверже, что его примет добровольно население разных наций тем быстрее и шире, чем последовательнее будет демократизм» [ПСС, Т.23, с. 114].

Однако сталинский тоталитаризм полностью реанимировал дореволюционную практику русификации, но уже в её профанном варианте – редукции русского Слова к советско-коммунистическому «новоязу». У него нашлись свои апологеты. В. Маяковский, «революцией мобилизованный и призванный», писал о «месте поэта в рабочем строю», и, как его «агитатор и главарь», хотел, «чтоб к штыку приравняли перо». Ю. Олеся признавал, что не может «быть инженером стихий», но хотел «быть инженером человеческого материала... Да здравствует реконструкция человеческого материала, всеобъемлющая инженерия нового мира!» [1983, с. 277].

К чести большинства мастеров русского Слова, они сознавали катастрофизм ситуации. По словам Б. Пастернака, в семиотическое пространство вторглась бездна «...немыслимых слов с окончанием на *изм*, / нерусских на слух и неслыханных в жизни / А разве слова на казенном карнизе / казармы... – свои?!» [1976, с. 462]. Задолго до Дж. Оруэлла он понял, что эта «казарма» – «государства истукан, / свободы вечное преддверье! / От римских цирков к римской церкви, / и мы живем по той же мерке, / мы, люди» [1976, с. 462-463]. А. Ахматова сетовала: «Я сижу, как кукушка в часах. / Посижу – и кукою. / Знаешь, долю такую / лишь врагу пожелать я могу». Для экспансивной М. Цветаевой «Некогда – *быть*, / некуда деться» [Т.1, с. 272]. Обоим тоталитарным режимам Европы адресованы её гневные строки: «О, черна гора, / затмившая – весь свет! / Пора – пора – пора / Творцу вернуть билет. / Отказываюсь – быть. / В Бедламе нелюдей / отказываюсь – жить. / С волками площадей / отказываюсь – выть» [Т.1, с. 335]. И она – великая русская сивилла – предупреждала: «Ваши рабства и ваши главенства – / погляди, погляди, как валятся!» [1988, Т.1, с. 389]. На исходе XX в. это пророчество свершилось. Как заметил Б.Пастернак, «Телегою проекта нас переехал новый человек».

III. Русское Слово между Сциллой глобализации и Харибдой постмодерна.

Уникальность современной ситуации в том, что русское Слово оказалось между Сциллой неведомого ранее процесса глобализации мира, в особенности интеграции Европы, и Харибдой претенциозного *постмодерна*. Дальнейшая модернизация и унификация мира и его регионов (прежде всего Европы) развертывается в условиях культурного декаданса и связанного с ним распада «метаповествований», великих смыслов и их языковых форм. Еще Ницше констатировал «...*космополитизм* языков, литератур, газет, форм, вкусов, даже пейзажа. Темп этого потока – *presstissimo*; впечатления смыывают одно другое... человек отучается от активности, все сводится к реагированию на внешние раздражения... Противоположность между внешней подвижностью и...*утомлением в глубине*» [1994, с. 71-72].

«Утомление» от «цветущей сложности» культур влечет за собой эффект опрощения их лингвистического многоцветья. Сейчас в мире примерно шесть тысяч языков, но, по прогнозам, к середине века останется всего 600. Но главное – поступательная редукция их смыслов и пугающее неведение тех сакральных и знаковых имен, с которыми связано постижение этих смыслов и ценностей.

«Впереди планеты всей» – новый Вавилон, или американский мультикультурализм и его, говоря языком постмодерна, «ризомные» последствия. По свидетельству российского академика Вяч. Иванова, «Америка – очень плохой пример... Я уже пятнадцать лет читаю там лекции, на протяжении всего времени обостряется проблема молодежи, которая не читает книг... В Америке никакой предварительной подготовки. Я читаю курс “Тысяча лет русской культуры”, в этом году на одной из первых лекций упомянул Льва Толстого, и меня спросили, о ком я говорю. Можно было сказать, что это русский писатель, но им точно так же ничего не говорит имя Байрона. Ситуация очень опасная» [МН. 13-19.08. 2006].

Увы, отмеченные симптомы декаданса заметны и в деградации русского Слова... в самой России. Не секрет, что в её советской

предыстории все *значительное* (от Булгакова и Замятина, Ахматовой и Цветаевой до Солженицына и Бродского) оказалось «диссидентским», но не достигло уникального величия своих предтеч.

Ныне на литературном мейнстриме – иные имена, которые нет смысла величать с большой буквы. Так, «...популярный ныне писатель В. Сорокин задает со страниц газеты полный искреннего недоумения вопрос: “А что, собственно, плохого в матерных словах?”... Он задает этот вопрос... на базе серьезных философских размышлений: “Я много думал о том, что культура, *христианская* культура разделила человека на верх и низ. Вот сейчас по комнате бегают собаки. У неё нет такого разделения. Она может полизать себе лапу, потом попу, потом член. А потом облизать меня. Она не делит вещи на стыдные и нестыдные. Мне кажется, что подобная стыдливость сильно нас ограничивает. А уж литературу просто обкрадывает”» [Нуйкин 2005]. Но, по словам издателя русской литературы в Германии В. Вебера, немецкому читателю «хочется не Сорокина, не антологии Виктора Ерофеева... После таких книг эти читатели долго не спрашивают русских книжек» [НГ-Ex libris. 2-8.02.2005].

Русское Слово проходит испытание на жизненную силу под натиском верного Санчо Пансы постмодерна – коммерциализированного масскульта, или вездесущего феномена «людоедки Элочки». Можно снисходительно относиться к её убогому слогану. Однако на заседании «круглого стола» в Институте языкознания РАН на тему: «Русский язык в эфире: проблемы и пути их решения» отмечалось, что «сейчас телезрители слушают песни в две ноты и три слова и считают, что это и есть наша культура. Вот в чем беда! Идёт серьезная передача по искусству, и ведущий говорит: “Да-да, прав был поэт, когда сказал: служенье муз не терпит суетНИ”. Говорят: “Звучала опера «Тоска»”. Нельзя оставаться равнодушным, когда в российском парламенте “искали консенсус – нашли секвестр, пытались объявить импичмент – объявили дефолт”, или “меня кандидировал имя рек, он решит, как меня раскандировать”» и т.п. перлы [НГ, 14.01.2000, с. 16]. «Мы, – констатировал поэт

Р. Рождественский, – говорящие на трёх языках и не знающие своего». Социум, «культивирующий» такой язык, создает пропасть отчуждения между народом и его культурой, превращает его в маргинальное народонаселение.

На специальном заседании Российского совета по развитию образования были представлены результаты, которые показали российские учащиеся в последних международных образовательных исследованиях: PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся, 2003 год) и TIMMS (Мониторинговое исследование качества математического и естественнонаучного образования). За последние три года в «самой читающей стране» произошло резкое снижение результатов по чтению. Навыками грамотности чтения обладает только 36% 15-летних учащихся России. Между тем в развитых странах общее число учащихся, демонстрирующих грамотное чтение на базовом уровне, составляет от 65% до 80%. Ещё один показатель – компетентность в решении проблем. Почти четвертая часть (23%) российских учащихся не достигает установленной нижней границы по этому показателю – то есть не могут систематически подходить к решению проблемы; создавать собственное решение; понятно и ясно представлять собственное решение в словесной или иной форме (у лидеров этот показатель – 5-10%). В результате в области компетентности в решении проблем учащиеся России заняли 25-30-е места среди 40 стран [См.: Ваганов // НГ. 7.02.2005].

Такая ситуация приводит к обеднению русской семиосферы и вызывает тенденцию к «выпрямлению спирали», утверждению некоего цивилизационного стандарта, способного обеспечить хотя бы внешнюю, не глубокую, но претендующую на универсализм, вербальную коммуникацию. В этом по сути унифицирующая функция и назначение глобальной цивилизационной экспансии *английского* языка. Нетрудно представить последствия его признания в качестве всемирного. Он уже не будет языком Шекспира и Теккерея, Джойса и Фолкнера. Это экспансия некоего эсперанто – в лучшем случае на магистерском уровне, а в целом – засилие *vulgus*.

В этой связи российский культуролог М. Эпштейн задаётся вопросом: «Как лексически обновляется русский язык в последнее

время?... Варваризм – иностранное заимствование в языке (от греч. и лат. *barbarus* – чужеземец). Парадокс в том, что окультурация русского языка... оказывается в лингвистическом смысле и его варваризацией. Этим зеркально отражается положение русского языка как периферийного и “варварского”... В подавляющем большинстве “новые слова” поражают своей неживостью, механичностью, отсутствием малейшей языковой фантазии и творческой новизны. По своему значению они маргинальны, а по образованию – автоматичны. Ни одно не представляет движения мысли, какого-то нового образа или понятия... Русский язык наводняется английскими словами, которые предпочтительно писать и читать на латыни, где их корень и смысл прозрачны. “Шоу”, “менеджмент” и т.п. по-русски звучат и выглядят дико, мертво, как железобетонная конструкция в березовой роще. А исконно русские слова, например, “зрелище”, “ощущение”, естественно, выглядят гораздо лучше на кириллице; передача латинскими буквами убивает их корни, заливают асфальтом... Русскому языку нужно расти из своих собственных корней» [Эпштейн // НГ-Ex libris. 9.10.2003].

Такой императив – в русле закона взаимосвязи между глубиной корней и размахом кроны. Сегодня консолидация Западной и Центральной Европы в Европейском Союзе и проблематичный характер его взаимоотношений с Россией, их острое соперничество за влияние (в том числе и культурное) в постсоветском пространстве, приводят к тому, что ареал русского Слова сокращается, подобно шагреновой коже.

IV. Русское Слово и суверенизация

Былое русского Слова неизбежно порождает думы о его *инволюции* в традиционном культурном ареале, в том числе и в чуждой русификаторству сфере культурного взаимодействия России со своими соседями. «Нет более прекрасного для поэзии языка, чем язык русский, – писал польский публицист Чеслав Янковский, – ...что это за лестница несравнимых, едва заметных дыханий тончайших чувств от недостижимо нежных до самых мужественных звучаний благородного пафоса» [Dusza... 2003, с. 165]. «Так, – отмечал сенатор 2-й Речи Посполитой

В. Богданович, – оценивает русский язык поляк, высокая культурность которого помогла ему стать выше злободневных и исторических счетов “славян между собою”. Тем обиднее и больнее бывает, когда близкие в племенном и культурном отношении, более “свои”, это политиканствующие из наших украинцев и белорусов (реже), воюют против церковнославянского языка, да еще как “русифицирующего средства, забывая, что он лег в основу их собственной также”, как и культуры великорусской» [Там же, с. 168].

Однако в советско-коммунистической империи назначение русского языка понимали в столыпинском духе, хотя и в фарисейской форме. По существу ставший *государственным*, он не именовался таковым и определялся лишь как «язык межнационального общения». Эту картину несколько «портили» традиционные положения в Конституциях Армянской и Грузинской ССР, в которых соответственно армянский и грузинский определялись как государственные языки этих республик. Фактически же языковая политика в обеих республиках соответствовала общесоюзным стандартам, согласно которым все языки Союза провозглашались равноправными. Ничто не предвещало «лингвистической бури», первые порывы которой подули в первой половине 70-х гг., когда обновлялись конституции союзных республик.

В 1978г. обновленная статья 75 Конституции Грузинской ССР означала фактический отход от статуса грузинского языка как государственного. 10 тысяч студентов организовали шествие под лозунгом «Родной язык». Руководство республики восстановило государственный статус грузинского языка.

Спустя десять лет, в 1989г., был принят Закон Эстонской ССР «О языке республики», согласно которому эстонский язык становился единственно государственным. Одновременно появился указ Президиума ВС Литовской ССР «Об употреблении государственного языка Литовской ССР». Аналогичный сдвиг произошел в Латвии. В этом же году были приняты соответствующие законы в Украине, Молдавии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, на год позже – в Белоруссии и Туркменистане. Союзный «Закон о языках народов СССР»

фактически подытожил результаты «огосударствления» титульных языков союзных республик.

«Оценивая языковую реформу в СССР, затем в Российской Федерации, трудно отделаться от мысли, что некоторыми “реформами” руководила не одна забота о благоприятном функционировании и развитии национальных языков... порой “языковый вопрос” становился поводом для подготовки и постановки “национального вопроса” в целом... постановка вопроса о придании языку титульной нации статуса *государственного* сопровождалась появлением в законодательных документах (вплоть до конституций) понятия суверенитета» [Исаев, 2002, с. 116].

«Развод» бывших советских республик далеко не везде оказался цивилизованным. Даже в Республике Беларусь с традиционным русско-белорусским билингвизмом её населения русский язык подвергся нападкам. В 1992г. лидер Белорусского Народного Фронта З. Позняк в своём выступлении на съезде белорусов ближнего зарубежья положил начало новому, «лингвистическому» этапу русофобии. «Там, где возродился белорусский язык, – заявил он, – там мы видим добросовестность, порядочность, моральность, поворот к христианству, там нет жуликов. Жулики, как и номенклатура, не говорят по-белорусски» [Народная газета, Минск, 22.12.1992]. В заявлении Национально-демократической партии отмечалось, что «...пришло время ставить вопрос о значительном уменьшении объема изучения русского языка в учебных заведениях до полной отмены этого предмета вообще как сделано уже в Прибалтике и Молдове» [Народная газета, Минск, 16.01.1993]. Подтвержденный на республиканском референдуме русско-белорусский билингвизм – это остров в постсоветском океане откровенно политизированного остракизма русского языка.

Очевидна драма отчуждения от родного Слова примерно 26 млн. т.н. «*русскоязычного*» населения, оставшегося за пределами СССР. В новых независимых государствах проживает более 26 миллионов русских. Среди них в начале 90-х гг. доля русского населения составляла (в %) в Казахстане – 41, в Латвии – 33, Эстонии – 28, Киргизии – 26, в Украине – 21. Впервые они

испытывают шок осознания своей *русскости*, не просто вербальной, а ментальной русской самоидентификации ещё недавно «безнациональных» детей Чевенгура. «Язык метит все, в том числе духовное неблагополучие, в котором пребывает Россия. В семидесятые годы в советский русский язык стало проникать странное образование – “русскоязычный”. Этот уродливый гибрид, тем не менее, точно отметил завершение процесса денационализации русских, которые перестали быть русскими, но стали русскоязычными» [Dusza...2003, с. 153].

Это феномен шизофренического сознания и практики, или «синдром колюшки» – небольшой рыбы и излюбленного материала этологических экспериментов. Их фабула в том, что самцы колюшки строят для самок гнезда, где они откладывают икру. Затем самцы охраняют эти гнезда, пока из икринок не вылупятся мальки. Невидимая граница отделяет «свою территорию» от «чужой». В ходе эксперимента два самца колюшки в сезон нереста помещались в тесный резервуар. Запутавшиеся самцы, получая противоречивые и взаимоисключающие сигналы и потому неспособные предпочесть ни защиту своей территории, ни бегство с чужой, выбирали нечто среднее, приняв вертикальную позу и зарывшись головой в песок [См.: Бауман 2002, с. LVIII].

V. Культур-филологический кризис и ориентиры исхода

История повторяется, но на новом витке. Как в первые десятилетия XX века, «мы подошли к единственной мере вещей и людей в данный час века: отношению к России» [Цветаева Т.2, с. 376]. В самых драматических обстоятельствах творцы русской культуры свято хранили и приумножали её сокровище – русский язык. А. Ахматова вдохновенно писала: «Мы знаем, что ныне лежит на весах / и что совершается ныне. / Час мужества пробил на наших часах, / и мужество нас не покинет. / Не страшно под пулями мертвыми лечь, // не горько остаться без крова, / и мы сохраним тебя, русская речь, / великое русское слово. / Свободным и чистым тебя пронесем, // и внукам дадим, и от плена спасем / Навеки!» [1977, с. 326].

Вопреки обстоятельствам, в европейской культуре по-прежнему верят, что «...русские понимают, что такое литература, спасут литературу вообще. Ведь для русских гибель литературы всё равно что утрата Бога. Они без литературы – народ без лица, внеисторическая масса... она была истовой потребностью русского человека, чем-то, что неспособно ему дать ничто другое, она делала мир неисчерпаемым и многозначным, она, только она одна, давала большому количеству людей возможность сотворчества и спасала от упрощения и обеднения души во все времена, была сопротивлением хаосу, распаду, омертвлению, небытию. Запад без литературы, быть может, и проживет, но в России люди, утратив ее “цветущую сложность”, будут совершенно обездолены» [Вебер 2005].

Нет сомнений, что и Европа без русского Слова заметно умиротворит свою «цветущую сложность», и, прокладывая маршрут в единую европейскую семью, впору ставить вопрос о перспективе официального статуса русского языка среди других языков Европейского Союза. Но важнейшее условие – сохранение и умножение языка Пушкина и Достоевского в России, в том числе и на государственном уровне. Проект федерального Закона «О государственном языке Российской Федерации» вызывает озабоченность. Он не распространяется на сферу преподавания, не обеспечивает широкой пропаганды лингвистических знаний по радио и ТВ (что, кстати, было когда-то), не способствует повышению речевой культуры в средствах массовой информации, молчит об осквернении современной бытовой, публичной и художественной речи арготизмами лагерей и тюрем, а подчас и откровенным матом. По крылатому выражению Горация: «Parturiunt montes nascetur ridiculus mus» («Некий автор, творец горы хочет родить, а родится смешной мышонок») [см.: Сковрцов 2005].

Библейский Иов говорил: «Взывай, если есть отвечающий тебе». Ответ на вопрос о судьбе русского Слова будет дан только в процессе его возрождения в новых великих творениях. «А быть или нет / стихам на Руси – / потоки спроси, / потомков спроси» [Цветаева Т.1, с. 291].

Минск, Белоруссия

Елена Логиновская
ХРИСТИАНСТВО – КОНСТАНТА РУССКОЙ
КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(Первая половина XIX века. Поэзия)

1

Сегодня мы уже отошли на достаточное расстояние от тех печальной памяти времён, когда идея, вынесенная в заглавие этой статьи, рождала негодование и требовала отрицания. Теперь она может показаться скорее прописной истиной. Что тоже плохо: ведь и сегодня главное для науки – в том числе и для «науки» литературной – в том, чтобы, не впадая в противоположную крайность, не утверждать слепо то, что отрицалось вчера. А размышлять и анализировать. Это относится и к заявленной нами теме. Если вопрос о соотношении русской литературы – и шире: культуры – с христианством подвергался в советский период табу, в исследованиях последнего десятилетия наблюдается широкий возврат к постановке всех связанных с этой темой вопросов. В работах, рассматривающих творчество отдельных русских поэтов, прозаиков, философов, а то и целые литературные эпохи в интересующем нас аспекте, мы находим не только возврат к некоторым ценным открытиям прошлого, но и немало заново поставленных вопросов, ряд ценных находок¹. Но вместе с тем – и перегибов, преувеличений, натяжек. Новая конъюнктура отметила интересующую нас тему своей черной метой. Отсюда необходимость всё вновь и вновь поднимать вопросы, связанные с особым, специфическим местом христианства в русской литературе, с видами и формами его бытования в этом литературном пространстве, с его этапами – с его особым путем. Ответ на некоторые из этих вопросов намечен в этой работе.

Момент, от которого должно с неизбежностью отталкиваться любое исследование на поставленную нами тему, – это констатация того факта, что русская литература, как и культура в целом, возникла, практически, одновременно с русским христианством, принятие православия невиданно стимулировало, потенцировало развитие всей русской культуры, а, значит, и литературы.

Широко переводимые произведения западных – и византийских – религиозных авторов, в большой мере определяющие лицо древнерусской литературы, вносят в неё и вобранные ими черты Античности и Возрождения. Вместе с тем христианская по своей тематике, образности и строю, литература развивается и расцветает здесь на стволе язычества, запечатлённого в менталитете народа и в его устном творчестве. Лишь вместе все эти факторы определяют как тематику, так и проблематику, как форму, так и содержание каждого из её крупнейших произведений, начиная со «Слова о полку Игореве» или «Моления Даниила Заточника».

Как и у основания древне-русской литературы, у истоков новой русской литературы стоит христианство – прежде всего, как вероисповедание. Восхваление силы Творца и красоты творения, прославление «божия величества» и осуждение того, кто не живёт по евангельским заветам, звучит в произведениях первых крупных светских поэтов XVIII века – в гимнах Ломоносова, в одах и псалмах Державина. Отсюда грандиозные картины Творения и Вселенной, с детства запоминающиеся всякому русскому человеку: *Там огненны валы стремятся / И не находят берегов, / Там вихри пламенны крутятся, / Борющиеся множество веков /.../ Сия ужасная громада / Как искра пред тобой одна. / О, коль пресветлая лампада / Тобою, Боже, возжжена (Утреннее размышление о Божием Величестве Ломоносова)* и решительное утверждение идеи человека как божьего творения: *Твое создание я, Создатель, / Твоей премудрости я тварь! (Бог Державина)*.

В творчестве представителей нового этапа развития русской поэзии – сентиментализма и раннего романтизма первых десятилетий XIX века – религиозные мотивы звучат все более нюансированно, все теснее связываясь с внутренним миром человеческой души. Вера как порыв к иному, горнему миру, как служение Божией Красоте, Истине и Добру, одушевляет собой произведения В.А. Жуковского. Христианские настроения и евангельские мотивы буквально пронизывают поэзию И.И. Козлова, А.И. Подолинского, Ф.Н. Глинки. В стихотворении последнего, так и озаглавленном *Искание Бога*, описано стремление лирического Я к божеству – безрезультатное в бурях земной суеты: *Возвал я Бога гласом громким, / Но Бога в бурях не видал!* и увенчивающееся успехом в сосредоточенном уединении поэта-мудреца: *И я вдали, как в дивном сне, / Услышал Бога –*

в тишине! Глинке вторит А.И. Тургенев, воспевая в своем лучшем стихотворении – *Элегия – Спокойствие в земле, а счастье в небесах!*

Контаминация христианских настроений с исканиями и порывами немецких романтиков определяют и тональность лирики русских шеллингианцев, поэтов-любомудров во главе с талантливым, но рано умершим Веневитиновым, и творчество «поэтов мысли», Хомякова (*К детям, Видение*) и Шевырева, отчасти Языкова. Но прямолинейное утверждение идеала – как и попытки воплотить невоплотимое – мало плодотворны в литературе, так же точно, как и его прямолинейное отрицание. Богатые поэтические плоды даёт, как правило, не достижение пути, а его поиски, не осуществление идеала, а стремление к нему. Поэтому здесь же, в рамках раннего – и особенно зрелого – романтизма возникает другая, на первый взгляд противоположная первой тенденция. Вытекающая из главной цели литературы – изображение человека во всём многообразии его внешнего и внутреннего мира – и сопутствующая ей, начиная с Библии (вспомним единоборство Иакова с ангелом, образ Иова и др.), эта тенденция исходит из утверждения величия человеческого духа, которое зиждется не только на прославлении божия величия, но и на самоутверждении мыслящего, ищущего и сомневающегося человеческого существа.

Эта тенденция также всеобща – и традиционна – в русской литературе, как и первая: она идёт волнами, от апокрифической литературы к Просвещению и романтизму, устремляется, через классический реализм, к литературе серебряного века, чтобы потом, не иссякнув даже в поэзии эпохи засилья «социалистического реализма» (Ахматова, Пастернак или – в другом географическом, но не литературном – измерении – Цветаева), вновь возродиться в литературе нашего времени. В общеевропейском плане она определяется особыми путями развития философии и искусства и составляет одну из особенностей культуры XIX века – века секуляризации, обмирщения, модернизации христианства, «преобразования религиозной энергии» (В. Страда). В классической русской литературе обе эти тенденции утверждены – как и всё, что живо в русской литературе и культуре до наших дней, – в творчестве Александра Пушкина.

* * *

«Ровесник века», Пушкин выходит на литературную арену в конце 10-х годов XIX века и необыкновенно быстро движется в своем творчестве к вершинам мастерства, впитывая весь опыт европейской литературы и намечая основные этапы литературы русской. Как у питомца французского Просвещения, у юного поэта важное место занимает сатира на уродливые стороны действительности, в том числе осмеяние церковных обычаев и религиозных догм в юношеских эпиграммах, в сочинениях кишиневского (*Христос воскрес, моя Ребекка, Раззевавшись от обедни*, пародический пересказ евангельской легенды о благовещении, поэма *Гавриилада*) и посткишиневского периода (Ср. в *Начале 1 песни Девственницы: Я не рожден святыню славославить...* или в послании К** [*Ты богородица, нет сомненья*]: *...ты мать амура, Ты богородица моя*). Все это соседствует, однако, уже в самых ранних его произведениях, с серьезным, вдумчивым отношением к важнейшим аспектам религии и веры. Так, ключевым моментом написанного в 1817 году стихотворения *Безверие* оказывается отчаяние, рождаемое у лирического Я самой возможностью утери традиционных устоев и его страстное – хотя и тщетное – стремление к преодолению сомнений: *Ум ищет божества, а сердце не находит*. Намеченный здесь путь поисков ведёт к медитативной лирике начала 20-х годов, в которой мотивы байронического разочарования в мире и обществе (*Демон, Мое беспечное незнанье*) соседствуют с сомнениями в религиозных догмах. В стихотворениях 1823 года *Люблю ваш сумрак неизвестный* и *Надеждой сладостной младенчески дыша* утопическая вера... *в страну свободы, наслаждений, / Страну, где смерти нет, где нет предрассуждений, / Где мысль одна плывет в небесной чистоте...* отрицается холодными доводами рассудка: *Но тщетно предаюсь обманчивой мечте; / Мой ум упорствует, надежду презирает... / Ничтожество меня за гробом ожидает...*, и предположение о безвозвратной гибели человеческой мысли, памяти, мечты «в пучинах» загробного мира, рождает ощущение ужаса: *Как! ничего? – Ни мысль, ни первая любовь! / Мне страшно!...*, напряженностью и силой художественного выражения предвещающее самого Достоевского.

Обуревающее Я поэта, сомнение в существовании посмертной жизни и божественной справедливости сочетаются с фантастическими картинками и образами иного мира, потустороннего бытия, нарисованными здесь в ключе античном – в соответствии с античными источниками вдохновения поэта. Но параллельно Пушкин ищет путей выхода из своего отчаяния в обращении к народной традиции, к фольклору и русской истории – как источнику не только подлинной поэзии, но и народного мирозерцания. Лирику 1822 года открывают *Песнь о вещем Олеге* и *Вадим*, за которыми следуют набросок *На тихих берегах Москвы* – с пейзажем, овеянным памятью о русской старине (церквей *венчанные крестами*, / *Сияют ветхие главы / Над монастырскими садами*), о её православных корнях и о «почивающих» в них святых мощах Угодника. Не осуществлённый замысел брошен, его сменяет новый сатирический выпад *против Богомольной важной дуры / Или чопорной цензуры* в стихотворении *Царь Никита*. Но в 1823 году, вслед за эскизом, написанным в античном духе *Внемли, о Гелиос, серебряным луком звенящий...*, Пушкин набрасывает незаконченный текст, начинающийся строкой *Вечерня отошла давно*. Перед нами, несомненно, замысел более крупного лироэпического или драматического произведения, свидетельствующий о новых поисках поэта в сфере христианской тематики и образности.

Настроения сомнения и отрицания питаются в ранней лирике Пушкина мотивом разочарования – сначала в свете (*Погасло дневное светило*, В.Ф. Раевскому), затем в обществе и государственном устройстве (*Свободы сеятель пустынный*) и, наконец, в самом творении. В стихотворении *Демон*, как и в созданной в том же 1823 году медитации *Моё беспечное незнание*, лирическое Я поэта непосредственно и декларативно – в духе и стиле автора *Евгения Онегина* – связывается с поданным лишь внешне отстраненно образом «злобного гения», печальные встречи с которым вливают в душу поэта «хладный яд»: *Неистоцимой клеветой / Он провиденье искушал, / Он звал прекрасное мечтою, / Он вдохновенье презирал, / Не верил он любви, свободе, / На жизнь насмешиливо глядел / И ничего во всей природе / Благословить он не хотел*. Навстречу – а иногда и наперерез – этим мотивам идут, однако, всё чаще к концу 20-х годов, иные настроения и мысли. Поэт создает новые

мифологемы или, вводя новые мотивы и образы демонической темы, дает прежним новое, иногда прямо противоположное по своему звучанию разрешение. Утверждение духовной красоты, воспевание любви и веры опираются на христианские мотивы и лексику в стихотворении 1827 года *Ангел: Прости, он рек, тебя я видел, / И ты недаром мне сиял, / Не всё я в небе ненавидел, / Не всё я в мире презирал*. Все новые отклики евангельских мотивов слышатся в написанных по случаю стихах, развивающих темы рождения и смерти в духе ортодоксальных религиозных представлений – от послания 1824 года *Младенцу* с многозначительным зачином: *Дитя, не смею над тобой Произносить благословенья* до четырех строк *Эпитафии младенцу* 1828 года с посвящением сыну декабриста С. Волконского: *В сиянии и в радостном покое, / У трона вечного отца / С улыбкой он глядит в изгнание земное, / Благословляет мать и молит за отца*. В сфере чистой лирики отзвуки религиозных мотивов и настроений звучат – всё настойчивее к концу 20-х годов – в миниатюре *Монастырь на Казбеке*, в любовном стихотворении той же поры *Для берегов отчизны дальней* с его суггестивным финалом, в великолепной балладе *Жил на свете рыцарь бедный*, где любование цельностью природы легендарного рыцаря католической веры подчеркнута мягкой иронией авторского Я, или в жемчужине «позднего» пушкинского творчества *Мадонна*, где развитие мотива, проскользнувшего ранее с нотой иронии в послании К** (*Ты мать амура, ты богородица моя!*) раскрывает перед читателем всё благородство и полноту подлинного, зрелого чувства.

Напряженные вопрошания о смысле – на этот раз прежде всего собственного – существования с новой силой воскресают в роковом для Пушкина 1828 году, вызывая целый цикл стихотворений и набросков (*Дар напрасный, дар случайный, Предчувствие*), чтобы вскоре смениться траурным мотивом смирения с законами бытия в стихотворении *Брожу ли я вдоль улиц шумных (И пусть у гробового входа / Младая будет жизнь играть / И равнодушная природа / Красою вечною сиять)* и прозвучать скорее жизнеутверждающе в стихотворении 1835 года *Вновь я посетил...* Пушкин выступает здесь наследником одной из благороднейших традиций древней мудрости (не случаен его настойчивый интерес к

Марку Аврелию!), утверждая стоическое отношение к жизни – *amor fati*, опирающееся на сознание вечности человеческого духа, торжества красоты и искусства над небытием. Поддержанное мотивом поступательного хода времени и бессмертия в памяти поколений, стоическое восприятие условий человеческого существования придает медитациям этой эпохи не только исключительную проникновенность мысли, но и особую поэтическую интонацию – суровую, мужественную и правдивую. В стихотворении 1830 года *Два чувства дивно близки нам* читатель как бы присутствует при чуде становления, формирования нового мироощущения поэта – залога новой художественной манеры. В основе этого нового мирозерцания – *любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам*; в центре – восходящее к ощущению, к осознанию своих корней *самостоянье человека – залог величия его*. При этом суровость и полнота тона, заданная обращением к древним языческим корням, столь ощутимым в образности, лексике, мотивике этого стихотворения, восполняется здесь обращением к новым – христианским – мотивам и настроениям: самостоянье человека заложено – *по воле Бога одного!* С удивительной полнотой и художественностью это новое мироощущение раскрывается в замечательной *Элегии* 1830 года (*Безумных лет угасшее веселье*), где возрожденные во всем своём скорбном величии элегические настроения разочарования, усталости, приближающегося конца побеждаются волей к жизни: *Но не хочу, о други, умирать* и утверждением её подлинных ценностей – красоты, творчества и любви: *и ведаю, мне будут наслажденья...* Верный картезианским заветам европейского Просвещения, поэт провозглашает идею нераздельности, идентичности жизни и мысли, но нюансирует её введением евангельского – прямо православного – мотива страдания: *Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать*. Стихотворение утверждает трезвый – и чуткий – взгляд на жизнь современного Пушкину человека, замещая декартовское *cogito ergo sum* собственным кредо поэта *doleo ergo sum* – предвещающим, предсказывающим не только Достоевского, но и всю русскую литературу XIX века. Это одно из завещаний Пушкина, во многом определившее мирозерцание целого ряда последующих поколений, в том числе – несмотря на беспрецедентные ужасы

жизни XX века и его воинствующий атеизм – и нашего поколения.

Поэтому не надо спешить с выводами о прямом пути Пушкина от неверия к вере, как это делают сегодня некоторые скороспелые «специалисты». Тем более что пушкинская лирика последних лет поражает всё тем же многообразием мотивов, регистров и источников вдохновения. Богатству тематики и источников вдохновения, целой гамме оттенков в сфере жанров, образности, стиля соответствует полифония созвучий, доносящих отголоски самых различных верований, обычаев, религий. Это католическое – написанное размером дантовских терцин и в стиле дантовского *Ада – В начале жизни школу помню я*, и иронически-сниженное описание церковных обычаев в наброске *Свят Иван, как пить мы станем...*, включающее, однако, чудесные, невольно напоминающие Эминеску строки: *...приговорки, прибаутки, / Небылицы, былины / Православной старины...* И опять раздумье, сомнение – в отрывке, открывающем наследие 1834 года: *Я возмужал, среди печальных бурь / И дней моих поток, так долго мутный, / Теперь утих дремотою минутной / И отразил небесную лазурь. / / Надолго ли?* Но теперь всё, что выходит из-под пушкинского пера, оваяно – иногда даже вопреки тематике или образности – этим широким взглядом, включающим новое, светлое, подлинно христианское отношение к жизни и смерти, брэнному и вечному, человеку и божеству. Поэтому в стихотворении того же года *Пора мой друг, пора*, при кажущейся заземлённости его сюжетного зерна – обращении поэта к супруге с просьбой бежать из светского мира в мир сельской жизни – мы не можем не различить в ключевой синтагме *обитель дальняя трудов и чистых нег* отдаленный, еле уловимый – но несомненный! – отзвук евангельского мотива покоя, столь тесно связывающий Пушкина с писателями XX века – Блоком, Булгаковым, Цветаевой, Пастернаком.

И не стоит смущаться тем, что, например, в 1835 году Пушкин редко обращается к евангельским мотивам. Здесь по-прежнему много стихов в антологическом роде, и очерк из еврейской истории, и опыты в русском народном стиле, и новые перепевы мотивов западноевропейского романтизма. Но здесь и поэма *Странник* с волнующим образом Книги, и лирический набросок *Еще в*

ребячестве младенчески-лукавом – своеобразная попытка самоосознания, вызванная видением *старика с плешивой головой, / С очами быстрыми, зеркалом мысли зыбкой, / С устами, сжатыми наморщенной улыбкой* – как бы предтеча в русской литературе образа Зосимы. Всё это как бы подготавливает последний в жизни поэта, 1836 год, когда Пушкин создает сразу несколько стихотворений на библейские сюжеты – зеркальное отражение кишиневского периода – периода отрицания и сатиры. Евангельские сюжеты развиваются в «подражаниях италийскому» – *Как с древа сорвался предатель ученик* или *Напрасно я бегу к сионским высотам*, в стихотворении *Мирская власть* с мотивами великого торжества распятия, наконец, в проникновенном стихотворении *Отцы пустынники и жены непорочны* – переложении молитвы Сирина. И не случайно в подлинном завещании – предсмертном *Памятнике*, написанном в классическом, античном стиле, как подлинно евангельские читаются не только синтагмы *бога глас* и *велење божие*, но и стоящее рядом с *прославил я свободу* – казалось бы, такое конкретное, отсылающее к попыткам поэта облегчить судьбу своих братьев-декабристов – *милость к падшим призывал*.

Поставленная в один ряд со *свободой, милость к падшим* – это завет Пушкина не только русскому человеку, но и всей русской литературе, завет, услышанный и блистательно исполненный в XIX веке её крупнейшими представителями.

2

Анализ демонического мотива в русской поэзии 30-х годов² показывает всеобщность сомнений, насущность вопрошаний, прозвучавших, иногда с замечательной силой, в творчестве большинства поэтов пушкинской и послепушкинской эпохи. Они звучат в лирике уже упомянутых нами Шевырева и Хомякова, Теплякова и Туманского, варьируются у поэтов кружка Станкевича Ключникова и Красова и развиваются – с исключительной последовательностью и силой – в творчестве рано ушедшего из жизни, вытесненного из неё грубым вмешательством «самодержавной» руки, Александра Полежаева. В произведениях этого поэта и особенно в поэме *Сашика* (1825) мы находим не просто

сомнение в существовании – или, точнее, сущности – Бога, но и решительное отрицание его благодати, не только поиски истины, но и страстный протест. Но Полежаев прожил трагически короткую жизнь и умер, не завершив начатого. Прямым наследником Пушкина оказался Михаил Лермонтов.

В ещё более коротком, чем у Пушкина, но не менее насыщенном и напряженном творческом пути Лермонтова нетрудно проследить точки соприкосновения с исканиями его великого предшественника. Как и у Пушкина, мы найдем здесь богатейшую гамму библейских мотивов и евангельских настроений: достаточно вспомнить раннего *Ангела (По небу полуночи ангел летел)*, «позднюю» *Ветку Палестины* или весь цикл «молитв» – от написанной в юности *Не обвиняй меня, Всесильный* до поздней *В минуту жизни трудную*. Но в историю русской литературы – как и в память русского читателя – Лермонтов вошел другой стороной своего творчества. Это поэзия бунта и отчаяния.

В отличие от вольнодумца Пушкина, именующего Великого Неизвестного то судьбой, то Роком, Лермонтов изначально обращается к традиционному библейскому наименованию Верховного Владыки человеческих судеб: *Зачем Я создан был Творцом?*; *К чему Творец меня готовил, / Зачем так горько прекословил надеждам юности моей?* Интересно, однако, что наряду с этим наименованием – и образом (Творец наделен здесь чертами «грозного» божества Ветхого завета), в том же черновом наброске поэт вводит и его явно языческий вариант: *Зачем не позже иль не ране / Меня природа создала?* И, наконец, в поздней обработке всё того же стихотворения *Гляжу на будущность с боязнью*, меняя самое звучание строки и решительно снимая вариант «природа», он заменяет ветхозаветного творца – Богом: *Придет ли вестник избавленья / Открыть мне жизни назначенье, / Цель упований и страстей, / Поведать, что мне Бог готовил, / Зачем так горько прекословил / Надеждам юности моей?*

Акценты лермонтовского богоборчества не исключают – а включают, таким образом, – изначальную веру в бытие Божие (ср. также замечательное стихотворение 1831 года *Когда б в покорности незнанья* и множество других, подобных). Уже в этом угадываются основные мотивы его будущего шедевра – поэмы

Демон. И недаром одновременно с упомянутыми лирическими набросками он – откликаясь и в этом на пушкинскую лирику, на этот раз начала 20-х годов, – создает два варианта посвященного этой могучей и мрачной фигуре стихотворения. Образ демона оказывается в них «ролью» или «маской», за которой поэт скрывает глубоко мучающие его вечные вопросы бытия. Вместе с тем он позволяет автору не только с огромной силой выразить свои сомнения в благодати Бога, но и показать протест, даже сшибку с ним своего героя – носителя идеи личности. Жанр лиро-эпической поэмы с сильной философской струей позволяет Лермонтову набросать образ такого героя, способный воплотить основные черты человека 40-х годов: не только бунт личности, но и её потребность в идеале – страстную, живую *жажду веры*. В этом и заключается новое слово, сказанное Лермонтовым в русской литературе, делающее его – наряду с Пушкиным – предтечей не только поэзии, но и прозы второй половины XIX века.

* * *

В своих исканиях – и находках – Лермонтов (рожденный лишь на 12 лет позднее Пушкина и проживший без него только 4 года) пересекается с целым рядом поэтов пушкинской плеяды и – еще теснее – со своими непосредственными современниками, людьми его поколения. Среди них, наряду с упомянутыми выше поэтами второго плана, – два крупнейших поэта-философа XIX века, Боратынский и Тютчев.

В ином регистре, чем Полежаев, более сдержанно и сосредоточенно, Боратынский ставит те же вопросы об устройстве вселенной, о смерти и бессмертии, об отношении человека к Боже-ству. В той же форме вопрошания он выражает те же сомнения в существовании иного света и загробной жизни (См. напр., *На смерть Гете: И ежели жизнью земною / Творец ограничил летучий наш век /.../ И если загробная жизнь нам дана...*) и пытается уловить связь между волей Всевышнего и условиями человеческого существования: *Безумец, не она, не вышняя ли воля / Дарует страсти нам, и не её ли глас / В их гласе слышим мы?* – чтобы трагически констатировать: *О, тягостна для нас / Жизнь, в сердце бьющая могучею струёю / И в грани узкие втеснённая*

судьбою. У друга и соратника Пушкина, Боратынского еще жива вера в вечность искусства и силу человеческого духа. В процитированном выше стихотворении утверждается величие человеческого гения, чей вклад в познание жизни (*Изведен, испытан им весь человек!*) оказывается достаточным аргументом величия творения: *И ежели жизнью земною / Творец ограничил летучий наш век, / И нас за могильной доскою, / За миром явлений, не ждёт ничего: / Творца оправдает могила его!* Трагическая тональность побеждает лишь в поздней книге стихов Боратынского, «Сумерки» (1848).

Сходные движения поэтической мысли и настроения можно уловить и в русской поэзии '40-х годов: с воцарением политической реакции в России и первыми раскатами кризиса европейской цивилизации, вызванного распадом «связи времен», вера в глубокую осмысленность бытия колеблется, *живая жизнь* становится скорее предметом стремления, и эту синтагму заменяет – как мы это видели уже у Лермонтова – *жажда жизни*. Параллельно всё ярче звучит второй лермонтовский лейтмотив – *жажда веры*.

С наибольшей силой всё это раскрыто в творчестве Фёдора Ивановича Тютчева. Поэт особой судьбы, он занимает особое место в истории русской литературы, до сих пор недостаточно понятое и мало оценённое историками литературы. Сложившееся почти в тот же период, что и пушкинское, мирозерцание Тютчева во многом с ним сближается. Так, в стихотворении 1850 года *Два голоса* – переводе-переработке Массонского гимна, созданного Гёте в 1816 году для вольных каменщиков, поэт варьирует гетевские мотивы моралистического оптимизма и пушкинской веры в человека с героическим пессимизмом собственного видения. Иные, более оптимистические аспекты тютчевского мироощущения слышатся в мажорной тональности стихотворения *Цицерон* или в размышлениях об открытии Колумба с их величественным финалом: *Так связан и сроднен от века / Союзом кровного родства / Разумный гений человека / С живою силой естества.*

Перекликающийся с Пушкиным в поэзии природы (хотя более сильная струя пантеизма ещё больше сближает его с Фетом), Тютчев нередко созвучен ему и в философской лирике. Однако

мотивы нового стоицизма звучат у него трагичнее (*Всё, что сбегать мне удалось; Не рассуждай, не хлопочи...*), возможности межчеловеческого общения и слияния с жизнью природы, как и способность слова выразить всё богатство внутреннего мира, подвергаются всё более глубокому сомнению (*Нам не дано предугадать; Когда сочувственно на наше слово... и др.*). Богатая гамма точно уловленных и тонко воспроизведенных движений души ведёт от грусти, как основной тональности большинства его лирических этюдов, к минорному звучанию знаменитого *Silentium!* и от взволнованных вопросов стихотворения *Певучесть есть в морских волнах* – к поистине вселенскому отчаянию *Бессонницы: Нам мнится, мир осиротелый / Неотразимый рок настиг / И мы, в борьбе, природой целой / Покинуты на нас самих.*

Поразительна и острота и дилематичность постановки вечных – «последних» – вопросов бытия. Вспоенный не только стихией русской речи и поэзии, но идеями немецкой идеалистической философии, и образами западно-европейской лирики (друг Шеллинга и Гейне, он, конечно, вел с ними не только разговоры на общежитейские темы, но и философские диспуты), Тютчев обладал поразительной способностью интуитивного прозрения в тёмный корень мирового бытия, в «ту таинственную основу всякой жизни /.../ на которой зиждется и смысл космического процесса, и судьба человеческой души, и вся история человечества»³. Ярко и справедливо характеризуя таким образом философскую основу творчества Тютчева, крупный историк литературы начала XX века А.Г. Горнфельд трактует вопрос о вере поэта слишком поверхностно и необидительно – в духе характерного для всей «Истории» Овсяннико-Куликовского крена к социологизму: по его мнению, религия «не побеждает у Тютчева “темного корня бытия”, а лишь борется с ним»; «К Божеству он обращался не раз, но вера не проникала его». Ясно, что дело обстоит в поэзии Тютчева далеко не так просто. С «корнем» Тютчев не боролся, а внимательно всматривался, вслушивался в него, вникал в его сокровенные тайны. Вера проникала его иногда с удивительной силой. Отсюда – в стихотворении *О вещая душа моя: Пускай страдальческую грудь / Волнуют страсти роковые, / Душа готова, как Мария, / К ногам Христа навек прильнуть.* Или в знаменитом *Эти бедные*

селеня: Удрученный ношей крестной, / Всю тебя, земля родная, / В рабском виде Царь Небесный / Исходил, благословляя. Это, конечно, не взгляд извне, это сохраненная традицией «народная» вера Толстого, Христос Достоевского и – всё вновь и вновь обрезаемый мыслью и чувством – «свой, отродясь» (как гораздо позднее скажет об этом Марина Цветаева) – Бог Тютчева.

В богатейшей по оттенкам лирике Тютчева библейские и евангельские образы и сюжеты возникают в самых различных ракурсах. Здесь и шутивное *Не дай мне духу празднословья: И так, от нынешнего дня / Ты в силу нашего условия / Молитв не требуй от меня,* и суровое, рожденное глубокими раздумьями о судьбах религии в современном мире *Я лютеран люблю богослуженье (... Собравшись в дорогу, / В последний раз нам вера предстоит. / Ещѐ она не перешла порогу, / Но дом её уж пуст и гол стоит // Но час настал, пробил... Молитесь Богу, / В последний раз вы молитесь теперь).* Здесь и трезвый взгляд на церковные обряды (ср. описание церковного звона в стихотворении *Бессонница*, надгробную речь «ученого пастора» в стихотворении *И гроб опущен уж в могилу*), и суровый приговор *отступническому Риму и лжезаместнику Христа* в стихотворении *Encyclica*. Проблема веры ставится философски, как проблема смысла жизни и человеческой природы, назначения человека на земле и его посмертной судьбы. Но и психологически – как проблема любви и смирения.

Это сказывается особенно, когда речь идет о человеческих отношениях – о смерти возлюбленной, о суровой жизненной судьбе дочери, наконец, о судьбе России и «русской идеи». Отсюда стихотворения автобиографического характера, в самих заглавиях несущие эти меты (*Накануне годовщины 4-го августа 1864г.; При посылке Нового Завета; Когда на то нет божьего согласия; Памяти Политковской, Не знаю я, коснется ль благодать или Все отнял у меня казнящий Бог*). Отсюда и стихотворения с социальным звучанием, строящиеся на противопоставлении провозглашаемого западными *оракулами наших дней* единства, спаянного железом лишь и кровью, – утопии единения славян силой любви – по Тютчеву, исключительной прерогативы православия (*Два единства*).

Здесь, как и во многом другом, Тютчев соприкасается прежде всего с Достоевским. Ещё важнее, что он близок к великому романисту в самой своей поэтике. Поэтика контрастов, *pro u contra*, вытекает из более острого, чем у его предшественника, ощущения кризиса религиозных настроений и трагизма смертельно раненного им человека. Столь характерная для литературы '40-х годов проблема распада человеческого сознания, отчуждения личности возникает у Тютчева как ощущение двойственности самой человеческой природы: *Лишь в нашей двойственной природе / разлад мы с нею сознаем...*, рождающей двойственное мирозерцание: *вещая душа поэта – жилища двух миров, и его сердце, полное тревоги* (синтагмы, не могущие не напомнить румыноязычному читателю поэзию Эминеску!) ставят его *на пороге как бы двойного бытия*. Отсюда не только великолепные картины «иных миров» – миров надзвездных и подземных или «подпольных», плана сознания и подсознания, дня и ночи, бдения и сна, жизни и смерти в стихотворениях *О чем ты воешь, ветр ночной? Душа хотела б быть звездой; Пробуждение; Душа моя, элизиум теней; Видение*, – но и бесконечные, всегда открытые, вопрошания о сущности творения. С особой силой они звучат в кратких афористических стихотворениях: *Probleme, Природа – сфинкс..., И чувства нет в твоих очах* (с завершением: *И нет в Творении творца, / И смысла нет в мольбе!*) и *Последний катаклизм: Когда пробьет последний час природы, / Состав частей разрушится земных: / Все зримое опять покроют воды / И Божий лик отобразится в них!*

Вот почему именно Тютчеву было дано слить и раскрыть в совершенной поэтической форме самую суть обеих указанных нами выше тенденций в раскрытии христианской темы. Речь идёт о великом стихотворении Тютчева *Наш век*, с его трагическим зачином: *Не плоть, а дух растлился в наши дни*, с удивительным описанием внутреннего мира современного человека: *...и человек отчаянно тоскует, / Он к свету рвётся из ночной тени, / Но свет обретши, роцет и бунтует* и центральной формулой: *Я верю, Боже мой, Приди на помощь моему безверью* – отклик на евангельское «Верую, Господи! Помоги моему неверию» (От Марка, 9:23).

Важно, что стихотворение это написано в 1851 году – дата, многозначительно совпадающая с эпохой утверждения на арене русской литературы прозы и как бы символически отмечающая момент её пересечения, скрещения с поэзией, у которой она перенимает и эстафету богоборчества, и устремлённость к идеалу, перерастающую здесь в богоискательство и богостроительство.

Ливия Которча
НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ И
ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ
(Непрерывность в срыве)

В начале XX века Гоголь привлёк особое внимание поколений, которые оспаривали в России первенство в искусстве и культуре с невиданной доселе агрессивностью. Внимание к Гоголю приобретает различные оттенки, но в одном мнении об авторе «Мёртвых душ» сходятся: это убеждение, что Гоголь провозвестил и даже создал новую парадигму, которой будет следовать XX век. Лик этой парадигмы будут искать и комментировать, как символисты, так и множество представителей других направлений, составлявших столь необычную картину русского авангарда. Так, Мережковский, в религиозном мышлении, но и в некоторых гоголевских образах, выявит новую мистику начала XX века, которая выразилась в экзистенциалистской философии, в антологии хаоса, так же как в неозотеризме, который тоже был представлен в России. Другой символист, Александр Блок, раскрыл в жизненной и творческой биографии Гоголя основы для построения теории творчества и медитации творца, окрашенные демоничностью и находящиеся как бы вне времени. Обращаясь к отзывам художников и теоретиков авангарда о Гоголе, обнаруживаем, что они тоже были захвачены аспектами гоголевского видения, преимущественно проникнутыми «абсурдностью». Однако у футуристов акцент явно смещается на технику поэзии – проблему, в которой футуристы сталкивались с формалистами.

Можно лишь удивляться, что во всех манифестах и декларациях русского авангарда Гоголя никто не относит к писателям, которых надо сбросить с «парохода современности». Представители

авангарда были убеждены, что Николай Васильевич представлял особое значение для молодых художников, агрессивно строящих новую парадигму для своего искусства и вообще искусства XX века.

Философ Иванов-Разумник, не одобряющий стремление и способы авангарда взойти на художественную сцену, в своей статье «Маяковский. “Мистерия” или “Буфф”», опубликованной в Берлине в 1922г., определил русский футуризм в гоголевских образах: «Это Хома Брут, на котором едет верхом ведьма – вещь». Определение Иванова-Разумника обнаруживает существенную связь русского авангарда с творчеством Гоголя. Остаётся лишь представить, полностью ли накладывается такое понимание на семантику видения футуризма в целом. Такое толкование связи Гоголя со срывом начала XX века кажется особенно уместным, если говорить о Велимире Хлебникове, авторе, который не только подчинился влиянию художника Гоголя, но и размышлял над судьбой его как человека и писателя.

Есть многие свидетельства, исходящие из среды авангарда, которые говорят, что на протяжении 1910-1912 годов члены первой кубофутуристической группировки «Гилея» постоянно обсуждали следующее гоголевское описание ночной картины Невского проспекта из одноименной повести, и считали её первым футуристическим сочинением в русской культуре: «Тротуар несся под ним, кареты с скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз и будка валилась к нему навстречу(…)».[1] В этой картине молодые художники открыли новую парадигму культуры, для которой характерным будет видение мира – как мира наизуоборот. В этом мире формативная энергия не расположена центрально, а распределена на несколько центров, выявляя, таким образом, свою предельную свободу, соседствующую с хаосом. Упомянутая гоголевская картина особенно напомнила молодым художникам об игровой сущности искусства, причём игра становится для них одновременно художественным мотивом и поэтическим приёмом. Этим приёмом реализуется деструктуризация, а потом – новая реструктуризация дискурсивных инстанций и текста во всех его плоскостях.

Но молодые преобразователи русского искусства нашли в гоголевском творчестве ещё один фрагмент, соответствующий двум моментам их теории поэтики, основанной на деконструкции предмета изображения и на его реконструкции путём сдвига и монтажа: «Будто какой-то демон искрошил весь мир в тысячи комков и потом без смысла и без толку снова смешивал эти частицы».[2] Собираание воедино разрозненных частей по принципу случайности должно было вывести предмет из своего культурного контекста и через отстранение придать ему самостоятельную энергию. Такой приём предусматривал выявление предельного опредмечивания мира, потерю человека в мире предметов, который как будто бунтует против него. «Стонет весь умирающий состав мой, – пишет Гоголь в Завещании 1845 года, – чуя исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не подозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся...»[3] Чуткие к этому экзистенциальному и метафизическому страху своего учителя, футуристы придадут игре, которую культивируют в разных её видах, трагическую сущность. Но трагическое будет у них маскироваться под неотразимым витализмом, выражением которого можно считать хотя бы даже некоторые заглавия, например: «Игра в аду» или «Победа над солнцем», принадлежащие произведениям Велимира Хлебникова и Алексея Кручёных.

Чтобы выявить органическую связь авангарда с Гоголем по линии видения мира и поэтики, обратимся к одному из представителей этого движения – Велимиру Хлебникову. Особый интерес представляет то, что, начиная с 1910г., а, может быть, и раньше, Хлебников бывал на Украине, в частности, в огромном имении Чернянка, управителем которого был отец трёх братьев-футуристов, членов группировки «Гилея» – Давида, Николая и Владимира Бурлюк.

Выходец тоже с «периферий» империи – из Астрахани – Хлебников жадно впитывал всё своеобразие украинского фольклора, убеждённый, как и Гоголь, что в нём сохраняются глубоко вросшие причудливые отблески мышления и постижения мира, отличающегося от координат рационального мышления и от ощущения реальности всего окружающего.

Болезнь того, в своих «Автобиографических заметках» Хлебников объявляет себя потомком запорожцев, так поэтически изображенных Гоголем в «Тарасе Бульбе»: «В моих жилах есть армянская кровь (Алябовы) и кровь запорожцев (Вербички), особая порода, которая сказала в том, что Пржевальский, Миклухо-Маклай и другие искатели земель были потомками птенцов Сечи».[4]

Но диалог Хлебникова с Гоголем начался ещё до посещения поэтом Чернянки, и это запечатлевает навсегда формативную функцию, которую обретает гоголевский текст и жизнь самого Гоголя в становлении мышления и поэтики великого футуриста. Так, ещё в 1907-1908 гг. Хлебников пишет произведение «Юноша я – мир», где прибегает к игре – «анаграмме» заглавия гоголевской украинской повести «Миргород». Русское «мир» в инверсии читается как «Рим», откуда получается новый топоним «Римгород». Такой же инверсией, в хлебниковском заглавии, получаем «Юноша я – Рим», анаграмма, что объясняется в приведённой ниже цитате: «Старый Рим, как муж, наклонился над смутной тёмной женственностью Севера и кинул свои семена в молодое женственное тело. Разве я виноват, что во мне костяк римлянина? Побеждать, завоевать, владеть и подчиняться – вот завет моей старой крови».[5] Как видно, хлебниковское «Я» отождествляется с «миром» и с «Римом», аллюзией на «Миргород» и на самого Гоголя, судьбу которого Хлебников желает «пересоздать» на других координатах, но на такой же основе и почве архетипа. В 1911 г. модель «расшифрована» в подзаглавии «Подражание Гоголю» к произведению «Великдень» («Великий день», Пасхальное Воскресение) с украинским сюжетом. Можно сказать, что этот сюжет трактуется здесь «программатично», поскольку то, что интересует молодого писателя – это смысл истоков, их начала.

К такой же гоголевской модели исподволь обращает нас псевдоним, который поэт выбирает себе через год – Вели-мир. Это имя связывается с таким же гоголевским Мир-городом, которое, инверсией, помимо смысла мир-город (души), внушает и высветляет ещё одно значение слова «мир»: царственность поэтического акта и его функция «основывать», «повелевать», «вести за собой» в силу своей сакральности, предугадывания. Подобно

Гоголю, с самого начала своего творческого пути, Хлебников видит себя пророком и медиумом, через которого мир может снова обрести свой первоначальный образ, а первозданный человек появляется из-под «жесткой коры земности».

Так, с помощью Гоголя, но и через воспоминания детства, связанные с Волынью, Карпатами, Галицией, как и с Приднепровьем, проблематика «Украина и украинцы» становится знаковой для мышления и творчества Хлебникова. Эта знаковость читается в восприятии образа Украины, с одной стороны, как принципа абсолютного добра, как «праотчества», где мир освобождается от пут времени и пространства, а также от бытового гнёта, с другой стороны, – позволяет языку высказываний показать «царственную свободу» по отношению к миру, к самому себе, но и относительно почитаемой традиции, сохранившей без изъяна народность культуры смеха: «Украина! / Где дети бесчисленные звёзд, / В полях головки белокурые, у сельской хаты / Те же белые цветы».[6]

Когда же, в 1911 году, Хлебников побуждал своих соратников прислушаться к «голосу родины отцов», он и думал об этой традиции народной культуры, особенно о праздничном смехе «Вечеров», в котором улавливал возможность возвращения к истокам, разрушая видимое «приличие» реальности и языка. Таким образом, поэт-футурист определял для себя не только видение мира, но и весь режим стиля и формы, в котором будет развиваться всё его творчество. Об этом свидетельствует хлебниковский «Пролог» к пьесе А. Крученых «Победа над солнцем» 1913 года, который можно считать восхищённым ответом на «Предисловие» Гоголя к «Вечерам».

Указанный «Пролог» воспроизводит тональность гоголевских смешливых «предисловий», обращённых к читателю-зрителю, который приглашается поучаствовать в праздничных сатурналиях, где царит полная свобода поведения и речи. В «Прологе», как и в пьесе «Игра в аду», написанных в том же году, к гоголевской технике гиперболизации мнимой кровавой битвы, – к пародической и бурлескной тональности, к употреблению «нелепых слов» и бестолковицы, Хлебников добавляет комическое «переодевание» слова, при помощи его разложения или создания новых словесных структур по чисто фонетическим принципам

или чисто народной этимологии. Само заглавие пьесы «Победа над солнцем», для которой был написан хлебниковский «Пролог», превращает смысл античной легенды о фригийском сатире Марсии, которого Аполлон победил и потом жестоко наказал за смелость соревноваться с ним, богом гармонии. В футуристической пьесе Аполлон-Солнце был побежден сатиrom, который воспроизводит не на классической, золотой лире, а на народной флейте, различные импровизации и придуманные им диссонансы. Это изменение мифического сюжета становится «поворотным» знаком, указывающим на возможность участия в новой жизни при помощи возвращения к живой народной речи, что явилось бы попыткой соприкоснуться с истоками в некоей идеальной прародине, на Украине.

Квинтэссенцией этой «прародины» является «курган», как воспоминание о сущности, «об основе башни времени» и «живой могиле». В нём скрыт клад потерянных в современности смыслов и форм (см. поэмы «Курган», «Выход из кургана умершего сына», «Дети Выдры» или «Полужелезная изба»).

Образ кургана, созданный Хлебниковым, содержит в себе семантику, связанную с запорожской Украиной – «лежит суровый запорожец / Часы столетий под курганом»[7] – и подобен образу «башни» (пирамиды), как выражению времени, а, следовательно, и мироздания. Построение такой башни требует жертвования времени, века, поскольку два алтаря определяют её назначение как жертвы-созидания: первый алтарь расположен в «подземелье храма»[8], второй – на вершине башни, как острие сабли, ожидающей жертвы: «Кто он, Воронихин столетий, / Воздвиг на столетье столетье? / (...) И нить их окончил иглой?»[9] Сущность верхнего и нижнего конца башни одинакова. Это дух, скрытый во тьме и симулирующий смерть, чтобы возвратиться к жизни в слове жреца, что появляется из глубин пирамиды и восходит на её вершину, приветствуя бога света – Солнце и его светлую сущность: «И тогда мы, хороненные в сфинксе жрецы, выходили на вершину черепа и пели хвалу Ра / И отодвигали на нитке времени новую четку дня».[10] В подземелье башни находится дух Земли, Вий: «В недрах пещеры, сквозя, толстеет “вещество”»...[11] Это материя, которую надо подвести к духу с помощью мысли, в новом

толковании слов жреца: «Хлам прежних дней – он храм / Для тех, кто перечел (...) / Вершина башни – это мысль»[12]

Грозного духа материи, который победил философа Хому Брута в гоголевской повести «Вий», говорит нам Хлебников, можно умилоствить жертвой духа, который должен смело снизойти в подземелье мира и вместе с добрым, созидательным, временем, возродить там слово, скрытое под веком Вия: «Но, может быть, не умертвил взор подарить свой Вий»[13]

Поэтому художник, особенно поэт (Шевченко), отождествляется с «бойцом, хороненным в кургане», который из могилы смотрит на мир, исчисляя / выстраивая время – башню в «гамме будетлянина» или в «книге судеб»: «А меч коротко-голубой / Боролся с чертом и судьбой»[14] Отождествление поэта с борцом (казак – будь то Байда, Паливода, Бульба или Разин) позволило Хлебникову построить, по гоголевской модели, парадигму героического как прообраза в историческом деянии, но и реализовать собственный вариант для «мистического тела» или воображаемой исторической реальности, «сплавливая» протоисторические, античные, гилейские и русско-украинские элементы.

Образное выражение подобной парадигмы – это «степной идол» – «каменная баба», тело из камня, которое взирает из бесконечности на человека, действующего во времени. Такие идола, «вырезанные из времён секирой», являются знаками предрационального и будущее нашептывает им «сверхчеловеческие сны». Этим своим свойством «степная баба» ассоциируется с «черепом вселенной» или с «черепом Хлебникова» (см. «Ка»[15], «Жены смерти», «Каменная баба», «Малиновая шашка», «Кто он, Воронихин столетий» или стихотворение, заглавие которого прямо напоминает Гоголя: «В руке забытое письмо коснело»). При помощи всех этих семантических компонентов (башня – степной идол – череп) создаётся новый образ: чаша, из которой можно вкушать как вино жизни, так и вино смерти, причём она служит мистическому культу познания высшей свободы и воли, что строится через совершенный «порядок мерных слов». Но этот образ становится и знаком «дерзкого веселья», с которым черепу-голове можно надавать пощёчин. Игровое настроение, внутренняя

свобода бросают вызов времени, подобно тому, как запорожцы со смехом бросали вызов смерти в известной картине Репина.

Между двумя алтарями – подземным и небесным – находится мир пространства, мир людей, подвластный духам потребительства. Хлебников называет это пространство «чревом мира», потому что его основное назначение – подрывать башню времени, внедрять язык «купли-продажи»: «Ты мне – я тебе». В отличие от тишины и «мерности» подземелья и вышины, которые рождают и сохраняют гармонию, – суматоха у подножья башни-горы порождает хаос и зло. Это зло представляется как внешняя кора, маскирующая механизм вечного повтора причины и следствия. Чтобы изобразить это зло, Хлебников прибегает к образам украинского и гуцульского фольклора, среди которых: русалка, вурдалак, навь, оборотень.

Семантические доминанты этих образов – жестокость, демоническая амбивалентная сила, привлекательная и уничтожающая. По такому пространству и отправился Чичиков покупать мёртвые души, доказывая своими действиями относительность и двойственность всего сущего, равно и неизбежную победу материи над духом.

Вдохновленный фольклорным творчеством Украинских Карпат, ещё в первые годы своей писательской деятельности, Гоголь нашёл удивительно точный образ для представления этого двойственного состояния мира. Это образ русалки в повести «Майская ночь», где в прозрачности девичьего тела проглядывала черная точка, почти невидимая, но достаточная, чтобы через неё на мир людей взирал бы иной мир, который, со всеми своими злыми силами, в любую минуту может вторгнуться в реальность. Обычно носителем этой злой силы является «взор» – «взор ни живого, ни воскресшего человека», как говорит Гоголь в своей повести «Страшная месть». Это взор владычицы мёртвой материи, с которой весело воюет Хлебников в поисках «уравнения вселенной», в своих стихотворениях, поэмах и прозе.

Так, в 1913 году, в разгар поисков «иррационального языка», поэт пишет стихотворение «Перевертень» (некое подобие вурдалака, оборотня, мавки). Оно свидетельствует о мастерстве Хлебникова, пытающегося разминуться с «серьёзным» языком и текстуально воспроизвести «двойной поток речи», используя основные

термины «уравнения вселенной». Сам Хлебников признаётся, что он написал «Перевертень» в состоянии «неразумья». И действительно, стихотворение звучит как заклятие Мавой-Мавкой, украинской ведьмой, сродни «живым мертвецам» в карпатском фольклоре:

*И к вам и трем с
Смерти Мавки.*

Читая стихи слева направо и справа налево, получается такой же смысл: Мавка = Смерть, т.е. Мавка – дух смерти и слепой цикличности. Корень «тр» с вариантами «три», «тре», оборачиваясь, даёт «рт» – составляющую слова «смерть». Можно сказать, что в «Перевертне» зашифрован механизм «универсальной диалектики», механизм, выражаемый семантическим полем, составленным из трех элементов: *Мавка*, *Смерть* и *Три*.

*И к вам и трем с
Смерти Мавки.*

Это три «глаза», которые смотрят и видят всё, а сами являются невидимыми, как дьявол в драматической поэме «Чёртик»: «Мы – мрак и волны тумана для тех, что снаружи. Но мы видим всё». В этом случае «невидимость» – это атрибут фальшивой реальности, передаваемой и другими образами духа зла: отсутствие сердцевины, голая кора, пустота, покрытая маской, именованная словами «личина» или «лицо»: «За личинами всяких смертей и человеческих тризн / Вы не заметите старое три».[16] Внутренняя пустота населена «потрохами», т.е. материей, которая проявляется в движении мнимого деяния. Мнимого, потому что вслед за шедшей Мавой рождаются улицы, мостовые, каменные здания, покрывающие своей мертвой тяжестью живую жизнь: «(...) а сзади была мостовой / С концами ярости вчерашней / Ступала ты на пальцы башни».[17] При отсутствии сердцевины переднее и заднее совпадают совершенно, как это случается в танце дракона-змеи, слово, которым Хлебников пользуется не раз, чтобы именовать

Маву. «Дракон» и «змея» (иногда «гадюка») – рядом со словом «девять», троичная ипостась проклятого слова «три», выражение злой бесконечности и традиционный знак для змеи. «Три» имеет и варианты: «тройка», «троица» или «триада», а также «треугольник», и – именно он ясно отождествляется с гоголевскими «пятном», «темнотой» или «мраком», символом небытия: «Пред ним навсегда треугольник / Высоким и темным пятном». «Потроха», материя, видны в прозрачном теле Мавы-дракона как признаки крови (Мава – это и дух войны), но и как детали «часов человечества» (тавтология времени, измеренного только войнами): «Уеду в Галицию! Там нявки есть; спереди белогрудые женщины, как простые смертные, а сзади кожи нет и все потроха видны, красное мясо. Точно часы без крышки. Страшно: русалка, и тоже брови подведены»[18], или: «А Мава-война мировая; / На ней стеклянная крышка, / Прозрачный хребет – законы времени / Часы человечества».[19]

От поэмы 1913 года «Ночь в Галиции» до последних сверхпоэм «Что делать вам» и «Двадцать тридцать вёрст, пространство немалое» (1922г. – последний год жизни поэта) можно заметить, как образ Мавы-русалки видоизменяется и превращается из «волшебницы», «искусительницы», – с которой, как у Гоголя, так и у Хлебникова, можно совершить магические полёты, – в Маву, вдохновительницу сатанинской игры, когда «вещь ездит на мире». Это тонкая и скрытая реплика на слова Заратустры, что «я оседлал вещь», то есть «побеждаю пространство, созидая время, убежище для духа».

Этот перенос значений можно исследовать в «Уравнении души Гоголя», – тексте, начатом в 1914 году и завершённом в 1922-м, как синтез понимания Хлебниковым человека и писателя Гоголя. Поэт-футурист воспринимает гоголевскую судьбу через «веру» в автора «Шинели» и даже через отождествление с ним. Потому, может быть, Гоголь как создатель поэтического творчества, но и как человек исключительной судьбы, становится «душой» и «судьбой», которые можно проверить хлебниковской аксиоматикой или выразить историософической формулой «уравнение души Гоголя». Термины этого уравнения – рождение, мистический кризис

после 1845 года и смерть – истолковываются в духе самого гоголевского творчества, которое проповедовало приход будущего, нового, «хлебниковского», творчества. Таким образом, рождение автора «Ревизора» в 1809 году вписывается в уравнение мира как победа воли к жизни, как украинский принцип, «выраженный в “вечерах, полных радости” и в “лепете русалочьей речи”». 1845 год: возвращение к «Святому и суровому Господу» прибавляет к уравнению смысл «воли к смерти», отклонения от рождения «Я» к всемирному мраку за пределами этого «Я»: «Господь суровый и святой заменил в его душе грешную русалку, когда тройка в уравнении времени заменила двойку».[20]

Но, поскольку Мава могла означать не только смерть, но и возможность циклического возрождения мира, мистика Гоголя, «чёрная тройка» является не только знаком вхождения в смерть, но и в героический подвиг, возвращения к пренатальному миру, источнику всех жизней «Я». Одна из таких жизней – это само рождение Хлебникова, новой ипостаси гоголевского духа или актуализации «двойного течения речи»: с рождения к смерти и со смерти к рождению. В основании этого процесса стоит жертва – сожжение Гоголем своих рукописей в феврале 1852 года, когда сын-творчество, как третий термин уравнения, должен был символически исчезнуть для того, чтобы на свет появился другой «сын»: «И кто я, сын какой я Бульбы? / Тот своенравный или старший? (...) / И тот и другой».[21]

Единство двоих проявляется не только в принципе Бульба – Гоголь, когда отец говорит: «я тебя породил, я тебя и убью», но и в отношениях Гоголь – его двойник Велимир Хлебников. Так, творческая манера «двойника» может отрицать поэтику Гоголя. Автор сознаёт свою близость к модели «в непрерывности», но, тем не менее, утверждает собственное «Я» в её «срыве».

Итак, Хлебников попробовал соединить архаические приёмы видения и воссоздания мира с новым познанием относительности всего сущего в сущностной идентичности времени и пространства. Воспринимая гоголевскую идею, что «всё обман», что всё «врёт во всякое время» («ничто не есть тем, чем кажется»), поэт-футурист развивал ее в образах сверхчеловеческой объективности, в образах, диктуемых отношением, совершенно отличным от

болезненной чувствительности и участия Гоголя к миру, который он изображает. Это отношение характерно для начала XX века, когда уже отмечается «обесчеловечивание» искусства. В действительности, это обесчеловечивание – трудное и рискованное усилие возродить первичный жизненный импульс, подавленный столькими социальными и культурными табу! Опасность предчувствовали и великие художники той поры, которые предвидели, что надвигается война и революция, тогда как человечество, в целом, было охвачено суетой и «прожиганием жизни» накануне мирового взрыва.

Приобщаясь к этому импульсу авангарда, Хлебников убедительно предсказывает появление нового гуманизма, основанного не на сентиментальности и антропоцентризме, а на резкой трезвости художника, казалось бы, глядящего на мир без пафоса художников былых времён, взиравших на человека, как на центр вселенной. Хлебников, похоже, считает, что этот мир больше не способен обманывать его своей видимой личиной, что мир надо завоевать без иллюзий и рыцарства, однако оставаясь абсолютно честным относительно себя и мира, того мира, который больше не может обольщать «русалочьим лепетом» и песнями сирен. Так Хлебников оповестил других художников начала нового века: чтобы овладеть собой, человек должен учиться сопротивляться «песням сирен» внутри и вне себя, – но свободно. Может, рискуя даже сойти с ума, – не привязывая себя к мачте корабля как Улисс, чтобы сопротивляться искушениям.

Что касается Хлебникова, он совершает свое опасное путешествие по всем островам и землям мира вместе с Гоголем: «Дать очи да тройку Гоголя / И замахнуться бичом сумасшествия».

Автор «Мёртвых душ» научил Хлебникова, своего «двойника» XX века, что смотреть и исследовать объективный мир нужно именно для того, чтобы превзойти его предметность и превратить «вещь в себе» в субъективную форму духовного опыта. Но Гоголь говорит, что такое чудо возможно осуществить, не отринув очарования и покоя материи, вдыхающих в неё особый вид духовности, приближающих её к абсолюту.

Богдан Улму¹
СКУКА ПОД УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫМ
СТЕКЛОМ

Жениться очень легко, но не так уж
 легко быть женатым

М. де Унамуну



1833 год не был одним из самых значительных в истории научных открытий. И всё же – появляется закон Ленца; изобретается паровой тормоз для железнодорожных вагонов; Фарадей вырабатывает количественные законы электролиза; Нёренберг создаёт аппарат для изучения поляризации света; Робике открывает и получает кодеин из опиума; Лобштейн вводит термин артериосклероз; Нашмит патентует обратимый прокатный стан; Эрикссон строит первую «калорическую машину», приводимую в движение согретым воздухом; появляются первые печатные прессы, печатающие на обеих сторонах бумаги; рождается великий Нобель, открывающий динамит; наконец, терпит крах малоприметный Подколёсин, вдруг убоявшийся женитьбы...

Если о большинстве упомянутых лиц имеется множество точной информации, об Иване Кузьмиче Подколёсине мы не можем сказать почти ничего. Знаем лишь, что он чиновник седьмой степени, и что когда его одолевает одиночество, он «тешится» мыслью о женитьбе. Но, несмотря на самозабвенные усилия его друга Кочкарёва, уговаривающего холостяка осуществить это подспудное желание, наш герой так и не преодолевает свою робость и выпрыгивает в окно в день свадьбы, чтоб спастись от женитьбы. Необыкновенный, необъяснимый и таинственный поступок! Чиновник Гоголя вдруг задаёт читателю загадки и именно в день, когда всё, казалось бы, прояснилось и, как говорят русские, – «праздник на его улице»...

И почему-то напрашивается сравнение: мысль, что Подколёсина можно ввести в удивительное сообщество «абсурдных» людей. Он – наследник несмелого Шпоньки из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» – тот умирает за окном, которое расположено так высоко, что ему грозит только смерть – и это тоже оттого, что он боится быть счастливым. Акакий Акакиевич уходит из жизни,

потому что кто-то украл у него шинель. Чеховский герой из повести «Смерть чиновника» умирает от «конфуза» – на спектакле в опере чихнул на лысину своего начальника. Знаменитый герой Гончарова, Обломов, умирает от чрезмерного мягкосердия и несостоятельности. Другой чеховский персонаж, Иванов, кончает жизнь самоубийством, также в день свадьбы, убоявшись ожидающего его будущего (подобно Подколёсину, он не дерзает расстаться со своей прежней жизнью). Треплев, герой «Чайки», стреляет себе в висок именно в день, когда все признали его состоявшимся писателем. Сравнения можно продолжить...

Но введя нашего холостяка Подколёсина в число «абсурдных» людей, мы считаем, что следует постигнуть его глубже, чтобы понять смысл его странного поступка (нет такого писателя-публициста, который не ожидал бы своего читателя-детектива).

Вряд ли можно объяснить бегство Подколёсина только жёноненавистничеством, как это делает румынский критик Раду Попеску в рецензии на спектакль «Женитьба» Бухарестского Национального Театра («Romania libera», 4 mai, 1976).

Как видно из самой пьесы, Иван Кузьмич никак не презирает женщин, а совсем наоборот: «– Какая прекрасная ручка! Отчего это у вас, сударыня, такая прекрасная ручка?» – спрашивает он Агафью Тихоновну. Или: «Только теперь видишь, как глупы все, которые не женятся. (...) Если бы я был где-нибудь государь, я бы дал повеление жениться всем, решительно всем (...)». И, наконец: «А ведь в самом деле – женщина, если захочет, каких слов не наскажет. Век бы не выдумал: мордашечка, таракашечка, чернушка!».

Можно ли согласиться с идеей несостоятельности, которую так убедительно выдвинул Лучиан Райку в своей книге, посвященной русскому классику? (Lucian Raicu, *Gogol sau fantastical banalitatii*, ed. «Cartea Romaneasca», Bucuresti 1974, pp.335-336). В нашем случае эта мысль, хоть и остроумна, но не помогает разгадать тайну Подколёсина. Ну какая же несостоятельность – ведь у Ивана Кузьмича неплохое социальное положение (он – надворный чиновник) и внешность его вполне приемлема (в отличие от майора Ковалева из повести «Нос», или от прочих претендентов на руку Агафьи из «Женитьбы», у нашего героя и нос, и всё остальное, как говорится, – «при нём»; никто не иронизирует по поводу его

тоненьких ног – как в случае с Жевакиным, или в связи с его тучностью – как в случае Яичницы). Общеизвестно, правда, отвращение иных гоголевских героев к интеллигентам (к грамотным людям): получивший хоть и некоторое образование человек, по их мнению, на всё готов (см. «Ревизора» или в «Женитьбе» реплику Фёклы: «Свела с ума глупая грамота!»). Однако ничто не говорит, что Подколёсин был чрезмерно уж начитанным человеком.

Даже знаменитый психиатр Карл Леонард не мог объяснить поведение Подколёсина: «Совсем не ясно, почему такой человек, как он, так страшится женитьбы. Об его натуре мы знаем слишком мало. Правда, его поведение, о котором сказано выше, может быть характерным для разных людей; с психологической точки зрения, мы не можем считать, что оно свойственно какой-то особой личности, но он как бы окутан неким туманом, и ничего больше» (Karl Leonhard, *Personalitati accentuate in viata si in literatura*, Edit. Enciclopedica Romana, 1972, pp. 168-169).

Но, может, не всё поддаётся объяснению? «Всё может случиться с человеком!» – уже предостерегал нас Николай Васильевич в «Мёртвых душах». То есть, ничто не должно считаться абсурдным, непонятным, непостижимым. Так не рассматривать ли надворного чиновника как нормального человека, предрасположенного к... аномальным деяниям, как человека, которого собственное бессилие и невозможность решиться на выбор привели к злосчастному окну, к тому окну, в которое только ему, Подколёсину довелось заглянуть (и он поплатится за это), потому что оно окажется не столь уж обычным, прозаичным и предугаданным. Это окно широко открыто для гоголевских истин (затаённых в «адском мороке», как говорил Дж. Кэлинеску), которые никогда не разгадать до конца...

Подколёсина представляю себе небольшого роста, упитанным, наивным человеком, в меру подхалимом, и в то же время скромником, находящимся во власти постоянного страха, гиперболизирующего возможные последствия даже самого незначительного поступка. Это трагедия человека, лишённого свободы личности, энергии, раскованности. Без сомнения, он одолевает различными комплексами:

«ФЁКЛА: А тебе же худо! Ведь в голове седой волос уж глядит, скоро совсем не будешь годиться для супружеского дела.(...)»

ПОДКОЛЁСИН: Что за чепуху несёшь ты? Из чего вдруг угрозило тебя сказать, что у меня седой волос? Где седой волос? *(шупает свои волосы)*

ФЁКЛА: Как не быть седому волосу, на то живёт человек. Смотри ты!...

ПОДКОЛЁСИН: Да врешь. Я посмотрю в зеркало; где ты выдумала седой волос? Эй, Степан, принеси зеркало! Или нет, постой, я пойду сам. Вот ещё боже сохрани. Это хуже, чем оспа *(уходит в другую комнату)*».

Стало быть, – он боится старости?

И вот уж этот комплекс расплзается в омуте патологии: когда Кочкарев причёсывает его щёткой и разбивает зеркало, Иван Кузьмич – в отчаянии: другие зеркала покажут то же самое, они не лгут («Знаю я эти другие зеркала. Целым десятком кажет старше, и рожа выходит косяком»).

Правда, в конце концов, персонаж переживает несколько нетипичные моменты: он освобождается от своих комплексов («Именно наконец теперь только я узнал, что такое жизнь. Теперь предо мною открыт совершенно новый мир, теперь я вот вижу, что всё это движется, живёт, чувствует, эдак как-то испаряется, как-то эдак, не знаешь даже сам, что делается»).

Пережив радость физической близости – а всего-то поцеловав ручку Агафье, хотя, можно полагать, отважившись и на нечто большее, Подколёсина вдруг обуревают желание жениться. Он без ума от того, что «открыл» женщину, любовь, он не верит, что на него вдруг «свалилось» столько счастья (за которое он даже и не боролся!) «Да позволь же, сударыня, я хочу, чтобы сей час было венчанье, непременно сей же час».

Что же произошло? Как объяснить такой поворот в его поведении?

Мысленно перебрав возможные объяснения, одно показалось мне убедительным: Подколёсина мает постоянное предчувствие смерти. Мы все были свидетелями агоний, мгновенно обретающих невероятные облики: люди перед сожжением требовали изысканной еды, хохотали, или допускали иные удивительные поступки. То есть – это момент, когда человеческий организм собирает последние физические силы, последнюю энергию, и, таким образом, – парадоксально, – лишь ускоряет необратимый конец.

Наш персонаж плохо кончает, потому что просто не подготовлен для женитьбы по собственному убеждению. И только подталкиваемый двумя сватами, решается сделать попытку. Кочкарев, не оставляя ему выбора, говорит «Да!» вместо него.

Поступок Ивана Кузьмича может показаться бессмысленным, но, если проследить его историю шаг за шагом, он уже не кажется столь «абсурдным». Именно этим (и опять Дж. Кэлинеску обращает на то наше внимание) открытия Гоголя так удивляют...

Тем не менее, задержимся ещё на «территории абсурда». Как сказано выше, Подколёсин относится к необычному сообществу «абсурдных» людей; но ведь и свобода, о которой говорит Камю, тоже абсурдна, а чувство абсурда (полностью переживаемое героем Гоголя), в свою очередь, согласуется с определением А. Камю, который писал о несовпадении между человеком и его жизнью, между актёром и его окружающим. «Записки сумасшедшего», «Мёртвые души», «Шинель», «Невский проспект» – все эти произведения построены на достаточно абсурдных ситуациях. И комедия «Женитьба» – не исключение.

Бегство Ивана Кузьмича абсурдно. Но разве абсурдно только оно? Нельзя ли считать таким же абсурдом объяснение, которое сам Подколёсин приписывает своему страху: «Как же не странно: всё был неженатый, а теперь вдруг – женатый»? Или манера совсем уж необыкновенная, в которой сваха Фёкла представляет одного из претендентов: «Такой видный из себя: толстый, как закричит на меня: ”Ты не толкуй пустяков, что невеста такая и эдакая, ты скажи напрямик, сколько за ней движимого и недвижимого?” – “Столько-то, отец мой!” – “Ты врешь, собачья дочь!” Да ещё, мать моя, влепил такое словцо, что и неприлично тебе сказать. Я так и вмиг спознала: э, да это должен быть важный господин». Или поведение Жевакина, который сватается и в то же время говорит комплименты служанке в доме предполагаемой невесты, и вздыхает по «итальяночкам, бутончикам роз», каких ему довелось встречать в Сицилии? И разве удивляется кто-нибудь диалогу, в котором представлены гости:

«АРИНА ПАНТЕЛЕЙМОНОВНА: А как по фамилии?

ЯИЧНИЦА: Коллежский асессор Иван Павлович Яичница»

Прибавим ещё и рассуждения самого Яичницы: «Да, конечно, лучше, если бы она была умней, а, впрочем, и дура тоже хорошо».

А чего стоят впечатления невесты? «Какой превосходный человек!», – восклицает она после совершенно бессмысленного разговора с Подколёсиным, в котором – ничего, кроме банальностей, вроде: «Какой смелый русский народ!»

И поскольку философия считает абсурд ступенью к трагическому, можно обратиться к «теням» этой комедии, к иным её плоскостям, которыми не интересуются лишь поверхностные критики и «мастеровые» режиссёры...

«Не то на свете дивно устроено, – замечал Гоголь в “Мертвых душах”, – веселое мигом обратится в печальное, если только долго застоишься перед ним, и тогда бог знает, что взбредёт в голову».

И действительно, если глубже всмотреться в комедию «Женитьба», убеждаешься, что перед тобой – драма. Недаром знаменитый советский режиссёр Анатолий Эфрос, автор незабываемого спектакля по пьесе Гоголя, признавался: «Я предложил себе открывать в “Женитьбе” всю сложность гоголевской личности, одинокого и наклонного к мистицизму человека, человека с блудной и несчастной душой. Я хотел выявить его отношение к женщине, изображать и бессмыслие абсурдной жизни. Начать с шуткой и кончить в трагической ноте. (...) Почти во всех предыдущих постановках пьеса представлялась как сюита веселых, комических моментов, сосредоточенных вокруг сцены, в которой Агафья Тихоновна поставила на карту своих претендентов. Но кто-нибудь интересовался, что случится с этим существом, представленным дурочкой-куклой? Не надо превращать “Женитьбу” в водевиль. К ней надо относиться серьёзно, как и к “Шинели”...» (Elena Azernikova, De vorba cu Anatoli Efros, “Secolul 20”, nr.78/1976).

Как уже сказано, трагическое рождается, в первую очередь, из отсутствия всякого аксиологического чувства у героев (быть тучным, быть дураком – вот их неоспоримые «качества»). Итак, женитьба не является ни средством, ни целью, ни идеалом; даже невеста не существует как мыслящее и говорящее создание. Несколько восклицаний и бессвязных слов, вроде «Да!», «Нет!», «Не надо!», «Пошёл вон!» мог бы произнести и попугай. Яичница не разочарован, что его невеста – просто безжизненный манекен в красивых платьях, он желает только одного – чтобы ему представили полный «инвентарь»: «Каменный двухэтажный дом...»,

«Флигеля два: флигель на каменном фундаменте, флигель деревянный... Ну, деревянный плоховат», «Дрожки, сани парные с резьбой, под большой ковёр и под малый», «Конечно, для дома серебряные ложки».

И тут мы видим, кажется, явную диспропорцию между ожиданием и его предметом (см. два эссе, посвященные нами пьесе «Женитьба» в книге: *Sub semnul teatrului*, ed. Eminescu, 1980). Невеста, о которой, чтобы удалить других претендентов, Кочкарев говорит, что она – дура (хотя пока это ещё ничем не доказано), невеста, обладающая значительным приданным и привлекательной внешностью (она всем нравится, а Подколёсин, оставшись с нею наедине пять минут, объявляет, что он хочет немедленно жениться – «Да, сей же час!») – и такая невеста не находит даже посредственного жениха! Но вот появляется жених, который мечтает о семье, детях, женитьбе, но не осмеливается предпринять что-либо для осуществления своей мечты!

Поэтому, думается, эротическая эволюция Ивана Кузьмича происходит лишь в онирическом плане. Всё действие – проблески счастья, редкие моменты, когда наш герой проявляет свою личность, всё это не может существовать наяву, а лишь в мечтах: сидя на диване и дымя трубкой (ах, как выводит из себя Феклу эта трубка!), Подколёсин лишь в воображении несётся на тройке по бесконечным снегам: он видит себя в церкви под руку с Агафьей, со сватами в роли шаферов, с окончательно побежденными претендентами в качестве свидетелей, потом приходит Кочкарев и вдохновляет Подколёсина, который видит: «тут у тебя диван будет, собачонка, чижик какой-нибудь в клетке, рукоделье... И вообрази, ты сидишь на диване, а вдруг к тебе подойдёт бабёночка, хорошенькая, эдакая, и ручкой тебя... Куды тебе! Будто у них только ручки! У них, брат... Ну да, что и говорить! У них, брат, просто чёрт знает чего нет... А тут, вообрази, около тебя будут ребятишки, ведь не то что двое или трое, а, может быть, целых шестеро, и все в тебя как две капли воды». Потом, по подсказке того же приятеля, наш герой воображает себя во время двух «медовых» месяцев, пленённым нежными словами, ласковыми жестами, проявлением неотразимого любовного внимания: «Просто, брат, ну вот и таешь».

Спектакль, каким я себе представляю его, не ограничивается словесным описанием этих сцен; их надо «исполнять», чтобы буквально физически подействовать на нерешительного героя. Исключительно фонически слова не могут убедить Подколёсина, что быть женатым лучше, чем жить в одиночестве; но молниеносное переживание услад женатого человека, которые вот-вот грозят исчезнуть, может оказаться действенным.

Я представляю Кочкарёва как *maitre de jeu*, использующего самые разнообразные приёмы, чтобы убедить своего «клиента». По мановению его магической палочки вдруг появляются миленькие жёнушки, полненькие дети, эротические сцены; следующее движение той же палочки – и всё исчезает, к отчаянью приятеля. Это – идея глубоко гоголевская, так как и в «Мертвых душах» Николай Васильевич замечает: «Но зачем же среди недумающих, весёлых, беспечных минут сама собою вдруг пронесётся иная чудная струя: ещё смех не успел совершенно сбежать с лица, а уже стал другим среди тех людей, и уже другим светом осветилось лицо...».

Поэтому я не думаю, что претенденты должны быть стары, хмуры и антипатичны. Они должны быть молодыми, красивыми, уравновешенными людьми, которые уже испробовали сладости жизни вдвоём и теперь описывают её.

Что касается Фёклы, в тексте употребляется несколько раз слово «старая». Я понимаю это слово конотативно, – т.е. сваха опытна своим мастерством, а не стара по возрасту. Она должна как бы «подготавливать» Подколёсина, вводить его в «эротическое» настроение, чтобы он решился свататься к Агафье Тихоновне.

Контраст между классическим образом свахи (см. у Сервантеса, у Де Рохас, у Мольера, у Островского и т.д.) и образом, который я предлагаю, согласуется с другими драматическими антиномическими ситуациям в «Женитьбе». Само начало пьесы построено на идее антитезы: взволнованный Подколёсин переживает такое чувство, будто в центре внимания всего мира стоит его сватовство, тогда как Степана, его слугу, участвующего в подготовке события, таковое совсем не волнует, и поэтому он лишь вялыми репликами отвечает на волнующие хозяина вопросы:

«ПОДКОЛЁСИН: Не приходила сваха?»

СТЕПАН: Никак нет.

ПОДКОЛЁСИН: А у портного был?

СТЕПАН: Был.

ПОДКОЛЁСИН: И что ж он, шьёт фрак?

СТЕПАН: Шьёт.

ПОДКОЛЁСИН: И много уже нашили?

СТЕПАН: Да, уж довольно. Начал уж петли метать».

В следующей сцене надворный чиновник снисходит до того, что даже спрашивает слугу, не выспрашивали ли все продавцы насчёт будущей женитьбы!

Эффект комического контраста (как говорит К.Ф. Флэгель) тем сильнее, чем дальше стоят друг от друга понятия: высокое – мерзкое, высокопарный язык – арго и т.д. С таким эффектом мы встречаемся в сцене 17 первого действия, когда, совсем нестати – что их не красит – претенденты на руку Агафьи Тихоновны ссорятся... по поводу скважины в двери её комнаты, за которой, как они узнали, невеста одевается, и куда можно заглянуть. А, оставаясь наедине со своей будущей невестой, «жених» не может найти более подходящих слов для разговора, как: «вы, сударыня, любите кататься?», «Вы, сударыня, какой цветок больше любите?», «В которой церкви вы были прошлое воскресенье?», «Вот скоро будет екатерингофское гулянье» и т.д.

Но, может быть, мы несправедливы к Ивану Кузьмичу? Может быть, есть другие причины, по которым его женитьба не состоялась? А именно: его сват – Кочкарёв – совершенный дилетант (если бы этой аферой занимался бы профессионал вроде Фёклы, может быть, всё обошлось бы иначе). К тому же, никто не решается так быстро совершить такой шаг (ведь между моментом представления «женихов» и моментом сватовства прошло всего несколько часов! Кто осмелился бы идти вслепую по столь неожиданному и загадочному пути?!) И если уж мы так «безжалостно» показали несчастного претендента, почему бы не рассмотреть и невесту более пристально?!...

Оказывается ли она более решительной, чем наш герой? Ничуть – если мы вспомним сцену, когда она кинула жребий, чтобы решиться, кто будет её женихом: «Право, такое затруднение – выбор! Если бы ещё один, два человека, а то четыре. Как хочешь, так

и выбирай!... Я думаю, лучше всего кинуть жребий. Положиться во всём на волю божию: кто выкинется, тот и муж. Напишу их всех на бумажках, сверну в трубочки, да и пусть будет, что будет!»

И, возможно, не настаивал бы так, не хитрил бы, не осуждал бы других претендентов демонический Кочкарёв, героиня не решилась бы так легко выйти замуж за Подколёсина...

Стоит остановиться и на «физическом» облике невесты. Об Агафье Тихоновне никак не скажешь, что она – фея. «Мне понравилась она, потому что полная женщина», – характеризует её Жевакин. Она уж и не так молода (молодая невеста легче находит себе спутника жизни и более разборчива в своём выборе). И, к слову, по мнению Ивана Кузьмича, у неё «И нос длинный, и по-французски не знает». К тому же – нет и «тонких манер», раз она, ни с того ни с сего, кричит своим «обожателям»: «Пошёл вон!»

Но ожидание, как таковое (как состояние, а не как факт), то обманутое ожидание, о котором говорит Г. Лётце и которое должно вызывать слёзы, а не смех, стирает вину героини. Потому что ничто так не терзает душу, как «ожидание Годо» (каким бы глупым оно не являлось), предчувствуя, что в конце его не наступит ничего...

В финале Агафья Тихоновна остаётся одинокой, отринутой как ненужный предмет, со свадебным букетом в руке и с безнадежным взором, направленным к пугающей, дразнящей и неосуществленной мечте о замужестве...

Настал момент «неотразимых откровений», когда уже нельзя не сказать: каким бы вдохновенным и очаровательным ни был Подколёсин, какой бы притягательной и прекрасной ни была Агафья, эта пара родилась со знаком «непринадлежности друг другу», это – «невозможная» пара, поскольку с самого начала она определена как *гоголевская* пара!

Если внимательно рассмотреть всё гоголевское творчество, мы заметим, – невозможно найти ни одной пары, которая была бы совершенной, бессмертной, нерасторжимой. Самое краткое и точное объяснение приводит тот же Лучиан Райку: «Красота женщины – это слишком притягательное испытание, чтобы думать, что она вообще может принадлежать кому-то. Неосуществимо даже предположение, что красота смогла бы стать предметом реальной и неотложной посессии» (Op.cit., p. 329).

Романтическая, прекрасная и утешительная преграда! Для героев пьесы и для её толкователей: не воссоединившаяся пара, по вине того или иного персонажа, – это, так или иначе, объяснимо. Но пара «обречённая», по умыслу или по ревности писателя, который играет роль Пигмалиона, – вот это кажется... непозволительным! Хотя именно из этого должен бы исходить психоаналитик, занимающийся изучением «гоголевской пары».

Конечно, я подразумеваю пару: Николай Васильевич Гоголь и Агафья Тихоновна...

Перевод с румынского Ливии Которча

Мирослава Метляева¹ **ОРИЕНТАЛИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТОВ** **И ГРАФИКОВ БЕССАРАБИИ**

Ориентализм в европейском искусстве имеет давние традиции. Интерес к Востоку сказался ещё в XVII столетии у Карпаччо и Рембрандта, которые копировали восточные миниатюры.

Необходимо, однако, разграничить в этом явлении, с одной стороны, тягу к экзотике, с другой – поиски созвучий в европейском и восточном искусстве.

Только со второй половины XIX века художники-импрессионисты стали пытаться применять восточные живописные приемы как нечто органичное, соединять их с европейскими принципами живописи.

До этого времени художники искали в восточном искусстве что-то непохожее и далёкое своему искусству и приносили восточные элементы для освежающего обновления надоевшей традиционной манеры.

Импрессионисты же искали в восточном искусстве ответы на важнейшие вопросы своего творчества, они претворили принципы восточного искусства в свои собственные. И хотя в их картинах, отмеченных видением Востока, нечасто встретишь восточные мотивы, это видение сказывается в самом творческом методе этих мастеров.

Если в XVIII – первой половине XIX века европейцев пленяла игра причудливого орнамента и красочность китайской и японской

живописи, то для импрессионистов большой интерес стало представлять другое искусство, доселе неведомое Западу: лаконичное, но предельно острое по рисунку, монохромное искусство школы чань (дзэн).

С еще большей силой этот новый подход к искусству Востока сказался в XX веке в творческих исканиях и творчестве постимпрессионистов и других художественных школ.

В искусстве восточно-европейского региона, в частности, в Молдове (Бессарабии) как и во всей Европе, центральными проблемами были и остаются: а) границы достоверности живописного образа и соотношение завершенности и незавершенности художественного произведения; б) секрет действенности картины на зрителя и общественная, психологическая функция искусства; в) декоративность живописи и границы жанров и видов искусства. Чаньский поэт и художник Су Ши писал: «Когда рисуешь дерево, нужно чувствовать, как оно растёт».

Очень любопытно в этом отношении творчество молдавского художника – Алексея Колыбняка, особо проявившееся в книжной графике. Не случайно его работы были отмечены персональными выставками в Китае и Японии. Причем японских и китайских искусствоведов привлекло, прежде всего, созвучие их графических произведений с принципами искусства «чань», которое опосредованно оказало воздействие на творческую манеру этих мастеров кисти и их эстетические концепции.

Свободная импровизация, частое использование чёрного и белого как остродиссонансных цветов, их повышенная звонкость, раскрытие объекта не как изолированного объёмного тела, а как одной из фигур, включённой в общую структуру мира, который подчинён всеобщему ритму, тщательность рисунка, где каждый штрих как бы обнажен – эти свойства графики художника сближают его творчество с эстетикой «чань».

Творчество Хакусая, Утамаро, Хиросисигэ не проходит бесследно для тех, кто находится в поисках своего пути в искусстве.

«Белое поле страницы привлекает внимание читателя не меньше, чем сам текст», – так считает художник, и его лучшие работы соответствуют принципу старинных чаньских мастеров,

считавших живопись страстным молчанием. Напомним, что Леонардо да Винчи писал следующее: «...глаз меньше ошибается, чем разум».

Если говорить о графическом творчестве Алексея Колыбняка, то, прежде всего, следует обратить внимание на соотношение изображения и каллиграфического текста.

Процесс заимствования, влияния и стилизации в духе «чань», получивший достаточно широкое распространение в дизайне Европы и Америки, представляют несомненный интерес и как социальное, и как художественное явление. Но нам хотелось бы обратить внимание на:

1) наличие собственных, условно говоря, «чаньских» традиций в европейской культуре;

2) органичную глубинную общность принципов дизайна (в данном случае дизайна книги) и эстетики «чань».

«Соотношение изображения и слова, вещи и текста, девальвация словесных истин и обращение человеческих надежд к овеществлённой, а не отчуждённой, выговоренной жизни всё более проникает в современную эстетику», – писала в своем исследовании, посвященном эстетическим проблемам живописи Китая, исследователь Е.В. Завадская.

У Колыбняка изображение часто содержит каллиграфический текст, превращаясь в каллиграмму.

Удивительное состоит в том, что если мы обратимся к XIX веку, к творчеству гения Пушкина, то его рукописные страницы (написанные, кстати, в Бессарабии) отмечены, условно говоря, качеством «чань».

Черновики поэта – это смоделированное поэтическое и художественное вдохновение. Здесь всё в глубокой внутренней взаимосвязи.

В отдельных графических работах Колыбняка вкус и графическое чутьё ведут художника, оставляя пространство на листе, которое подобно вздоху или паузе в поэтических строчках.

Любопытные примеры влияния искусства Японии и Китая прослеживаются и в поэзии Молдовы (Бессарабии). Особый интерес вызывала и вызывает средневековая японская поэзия, имеющая продолжение и в новое время. Эти короткие стихи – всего в

три строчки – хайку (хокку) сродни маленькой волшебной картинке. Можно, к примеру, написать маслом на холсте огромный осенний пейзаж, тщательно прорисовывая все до мельчайших деталей, а можно картину наступающей осени передать по-другому: несколькими штрихами набросать дерево, согнувшееся под дождём и ветром. Вот так и японский поэт. Он рисует, намечая немногими словами то, что читатель сам продолжает домысливать, дорисовывать в своём воображении. Эти с виду очень простые и бесхитростные стихи-картинки являются таковыми только на первый взгляд. За ними огромное пространство, которое даёт увидеть в привычном – неожиданное, в простом – сложное, в частицах – целое. Вглядываясь в малое, вы постигаете великое.

Четыре имени, известных всему миру, выделяются на сложном фоне поэзии хокку – это Мацус Басе (1644-1684), Ёса Бусон (1716-1783); Кобаяси Исса (1769-1807) и Масаока Сики (1867-1902).

Одна из причин обращения поэтов к восточной эстетике связана с тем, что красивые слова так часто оборачивались фальшью и предавали человека, что в поэтическом диалоге людей решающую роль стал играть глубинный подтекст, ради которого и произносятся слова.

Эстетический принцип намёка и недосказанности, где объект поэзии не рассказан, не иллюстрирован словами, а только создает настрой, служит той разделительной чертой, которая отбрасывает однозначность и предпочитает иную структуру образа – многослойность. Каждый выбирает и постигает доступное ему, но эти векторы сводятся к одной равнодействующей – человеку.

В поэзии Молдовы (Бессарабии) любопытны несколько имён, которые независимо друг от друга вышли на образную систему японского стихосложения.

Прекрасный русский прозаик Вадим Чирков, ныне проживающий в США, мало известный современному читателю, но, думается, придёт время его второго открытия (что нередко случается в истории искусства), в 80-90-ые годы уже прошлого, XX столетия, обратил свой взор к японской поэтической системе. Мне, автору представленного сообщения, выпала счастливая случайность стать его ученицей. И то, что он сделал для меня, дало толчок появлению собственного взгляда на поэзию и выработке индивидуального стиля письма. Приведу пример, который оказал на мое творчество

решающее влияние. Когда-то я написала стихотворение, посвященное друзьям: «Друзья мои, мой остров для души / Средь океана пошлости и грязи / Какое счастье – вы не торгаши / И не чиновники с сетями нужных связей. / Под утро разбредёте кто куда: / У каждого свои пути-дороги... / Но нас объединяет мысль одна: / Чтоб снова всем столкнуться на пороге».

Мой учитель на эти строки никак не среагировал и вручил мне маленький сборник – классические японские трёхстишия хайку «Одинокий сверчок», где на титульном листе его рукой было написано:

*Пеплом угли подернуты,
На стене колышется тень
Моего собеседника.*

Басё.

Это было подобно озарению. И когда в одном из моих стихотворений «Лилит» мой учитель-гуру прочитал строчки: «Но день спешит, / Звенит хрустальным утром, / Как ложечкой разбуженный стакан», – он сказал мне: «Моя миссия окончена, дальше иди сама».

Вадим Чирков в своём творчестве, прежде всего, замечательный прозаик. В поэзии он, на мой взгляд, интересный экспериментатор. Его трёхстишия являются прекрасной стилизацией, попыткой внедрения в собственную поэтическую систему принципов японского стихосложения, стремлением к органичному и естественному отображению мира и человека в лаконичной и сжатой форме «хокку».

*Устали за лето листья, –
Так и рвутся к земле.
Ветер осенний*

*Остался один под дождем,
С верхушки дерева
Каркает ворон сердито.*

*Клён, не сошёл ты с ума?
Запускаешь по-детски
Желтых птиц...*

*Кончился праздник листвы –
Все короче полет.
Дождь осенний.*

Журнал «Кодры»
(«Молдова литературная»,
№1, 1991)



Георгий Барбаров, поэт, пишущий на болгарском языке, в своей подборке поэзии «Трёхперстье строк» также обратился к трёхстрочным стихотворениям. Здесь мы видим непритязательный и самый существенный знак общения – служение человеку. Преодоление элитарной замкнутости есть один из принципов эстетики «чань», и в этом смысле некоторые трёхстишия поэта действительно являются примером органичного соединения формы и содержания.

 Земля и небо
 поменялись местами
 на то и весна!

 Я вновь с тобой,
 хотя вместо тебя
 пришла осень.

 День, дитя беспризорное,
 трясет деревья в саду,
 вселяя в яблоки ветер.

 Когда забываешь,
 что ты птица,
 начинаешь лелеять камень в руке.

Перевод с болгарского
 на русский
 Валерия Майорова
 Ж. «Кодры», №5-6, 1998

Русский поэт Валентина Костишар в своём сборнике «Аритмия» нашла в трёхстрочиях выражение и отражение собственного «я», где уже стилистическая связь с японскими трёхстишиями чисто условная и где форма очень тесно и органично привязана к современному содержанию, т.е. структура личности включена в контекст стихотворного дизайна, давая простор творчеству поэта, но не давая возможности произволу (если можно так выразиться).

Это знак автора, который не исчерпан структурой своего письма, а он «в» и «вне» страниц своих произведений.



Нежно и больно
 предчувствием сердце заныло, –
 что-то увидело раньше меня.

О снег, – я узнала тебя
 по шапочке с белым бамбоном –
 ты был моей юностью.

Не говори ничего –
 руку свою протяни,
 я почувствую душу твою.

Кому, кому ты, серая ворона;
 который раз рассказываешь хрипло,
 что кто-то разорил твоё гнездо?

Сборник «Аритмия», 2002

Хочется отметить эстетический феномен воздействия живописи и поэзии Китая и Японии, смысл которого скрывается во многих семантических структурах: философских, логико-понятийных, мифопоэтических, нормативно-описательных. Условность пространства и времени, пребывающих в произведениях живописи и поэзии по отношению к бытовому восприятию этих двух параметров, можно уподобить условности языка.

Охват явления в пространстве есть одновременно и его временное выражение. И можно сказать, что самая характерная особенность восприятия времени и пространства в нашу эпоху заключается в утверждении относительного характера мгновения и вечности, маленького уголка земли и бесконечности. Мгновение и мельчайшее на земле – это самые яркие знаки безмерности времени и пространства. И этим можно объяснить то воздействие, которое оказывает искусство Японии и Китая на культуру разных стран, в том числе и на творчество поэтов и художников Молдовы (Бессарабии).

Луиза Думитру
МИФ О ПОЛИФЕМЕ
*Игра манипуляций и
 взаимного неведения*



то сообщение – лишь малая часть более широкого исследования способов взаимодействия человека со Священностью в эллино-римском мире, а также в румынском фольклоре.

Ниже предлагается анализ конкретного выражения так называемого **перелома почтения, роли взаимоотношений манипуляций и неведения случайностей** (термины принадлежат Р. Жирару, *Жестокость и Священность* [*La Violence et le Sacre*, Paris, 1972] пер. на рум. Моны Антохи, Бухарест, Немира, 1995) как способов взаимодействия со Священностями через ухищрения в эллинском мире. С этой целью мы выбрали хорошо известный **архаический миф про циклопа Полифема**, подробно описанный Гомером в *Одиссее*, песнь 9, ст. 105-566.

Так, после того, как Одиссей со своими спутниками очутились в стране забвения, принадлежащей лотофагам (людям, которые питались цветами лотоса, – символ забвения и небытия), им удалось освободиться и уйти оттуда, после чего они попадают в «Страну Циклопов». О племени Циклопов сказано, как о существах «надменных и беззаконных»: «Κυκλον d'eis gaian hyperphialon athemiston/hikometh[a]» (Homer, *Od.*, IX, vv. 106-107): «(мы прибыли) в страну Циклопов **высокомерных и бесчинных**».

Думается, что Циклопы описаны примерно как люди периода серебряного века, которых Гесиод (в «Трудах и днях» [*Erga kai hemeraï*], ст. 134) представляет как подвластных «безумной безмерности» (**hybrin atasthalon**) как в отношениях друг к другу, так и по отношению к богам. Циклопы похожи также на развращённых Титанов, это настоящие божества Чрезмерности, которых Уранос обвиняет в «безумном тщеславии» (**atasthalie**), а Гесиод (в *Theogonia*, ст. 209 и 719, и в *Erga kai hemeraï*, ст. 134) называет «слишком преисполненными гордыней» (**hyperthymoi**). Ещё

более жестокий, чем все они, Циклоп Полифем объявил, что племя Циклопов не подвластно Зевсу и другим богам, поскольку они намного сильнее последних: «ou gar Kyklopes Dios aigiokhou alegousin/ oude theon makaron, epei e poly pherteri eimen» (Homer, *Od.*, IX, vv. 275-276): «Потому что Циклопам нет дела до Зевса, властителя, ни до счастливых богов, ибо мы намного сильнее».

Эта **adikia**, это беззаконие, при котором отрицается всемогущество Зевса, переступает через **Dike**, через справедливость и через норму, встречается и у людей периода серебряного века, излишества которых посягали и на область религии. Такими же чертами наделены Циклопы и особенно Полифем, – как некие особи, олицетворяющие **перелом почтения, состояние абсолютного непочтения**, это специфика и внутренней природы чистой Священности. Ибо Священность проявляется в излишестве как в позитивном, так и негативном – **hyperphialos** («излишество, сверх меры») – ей неизвестны нормы, правила, то есть разница, продиктованная **nomos**, характерным человеческим установкам, эквивалент чего в универсальном понимании, является **themis**. Сюда вписывается и мир олимпийцев как чисто искусственный вымысел греков, построенный как подражание их человеческим установкам, но по своей сути лишённый понятия Священности. Циклопы (а, стало быть, и Полифем) олицетворяют хаотическую, ничем не ограниченную Священность, чудовищность жестокой и ужасающей Священности, которую человек ощущает и должен избежать любой ценой встречи с ней путём **игры, манипуляций и неведения случайности**. Как и люди золотого века, или как Титаны, Циклопы олицетворяют первобытные тёмные силы универсума, вне всяких теологических и религиозных ограничений. Полифем олицетворяет саму сущность природы, то, что не связано ни с каким социумом, изолировано и жестоко в своей чудовищности: «aner [...] pelorios hos rha ta mela/ oios poimainesken aprosthen / [...] all'apaneuthen eon athemistia ede» (Homer, *Od.*, IX, vv. 187-189): «**Человек свирепый**, который пасёт свои стада на расстоянии от любого другого [...] и, находясь далеко, замышляет **беззакония**».

Но Одиссей и его спутники относятся довольно неосторожно к этому распоясавшемуся жестокому Священству (Полифему); они

непрощено проникают в его священную зону и беспечно угощаются его сырами, не предприняв никакого предварительного взаимодействия со Священством: «karpalimos d'eis antron aphikometh', oude min endon / heuromen, all' enomeue nomon kata pionia mela» (Homer, *Od.* IX, vv. 216-217): «Мы быстро проникли в пещеру, но никак его не нашли, потому что он ушёл пасти стада»; «entha de pug keantes ethysamen ede kai autoi / tyron ainumenoī phagomen[...]» (Homer, *Od.*, IX, v. 231): «Разожгли огонь, принесли жертву богам и принялись угощаться сырами». Тот факт, что были принесены жертвы богам известным (**ethysamen**), поскольку **Полифем** был для Одиссея и его спутников **великий и устрашающий неизвестный**, не означает, что произошло некое взаимодействие со Священством, направленное на то, чтобы получить защиту от жестоких действий последнего; все они всего лишь остаются в области почитаемых форм, в уже привычной культурной традиции, пестуя эти формы, этот искусственный созданный ими пантеон, не подозревая об истинном облике Священства, о его чудовищной сущности, не имеющей ничего общего с почитанием гуманности, чего человек должен опасаться и к чему должен приближаться с особой осторожностью, при помощи какой-нибудь **жертвы**. Это есть причина, по которой Одиссей и его спутники дорого заплатят за *hybris*, совершенное по **неведению**, то есть за то, что попробовали неподобающим образом приблизиться к этому устрашающему чудовищу, не войдя предварительно в соответствующую «игру». Угроза звучит в словах самого Полифема: «oud'an ego Dios ekhthos aleuamēnos pephidoimen / Oute seu outh'hetaron, ei me thymos me keleuoi» (Homer, *Od.*, IX, vv.277-278): «Только я мог бы не бояться гнева Зевса, изничтожив тебя или твоих спутников, но душа моя не подталкивает меня к тому».

Значит, Священство не может быть принуждено к действию на пользу человеку, но может быть настроено к установлению отношений с ним, однако только если человек понимает, что нужно прибегнуть к игре манипуляций, и взаимного неведения, к чему Священство его и провоцирует. Именно это и происходит в следующее мгновение, когда Полифем пытается подставить Одиссею ловушку, но он, поняв намёк, вступает в игру обманов, и в свою очередь обманывает Циклопа: «hos phato peirazon [...] / alla min

aportton prosephen doliois epeesin» (Homer, *Od.*, IX, vv. 281-282): «Так он сказал, пытаюсь меня **обмануть** [...] / и я ответил **лицемерными словами**».

Манипуляция Священства развивается постепенно, сперва с помощью *опьяняющего напитка*: «peri phrenas elythen oinos» (Homer, *Od.*, IX, v. 362): «Вино ударило ему в голову», потом происходит *подмена Одиссея Outis (Никто)*, подмена смешная, которая ведёт к полному отрицанию личности, к отрицанию формы и индивидуальных отличий, и кончается *ослеплением Священства*: «Outis emoi g'onoma [...]»; «hoi men mokhlon helontes elainon, oхун ep'akro, / ophthalmō enereisan» (Homer, *Od.*, IX, vv. 366, 382-383): «Никто моё имя [...]»; «И эти, подняв кол из масличного дерева, с заострённым концом, вонзили его ему в глаз».

Интересно, каким образом Одиссею удалось окончательно обмануть Циклопа, отвлекая его внимание от реальных жертв. Он придумывает имя, которое никто из смертных никогда не слышал, значение которого является абсолютным отрицанием: «Никто». Думается, что это имя действует вроде **маски**, выражающей **состояние неотличимости, потери всяких признаков** личности и всякой формы. Одиссей хочет, чтобы Циклоп поверил, что он уже смирился с этим состоянием абсолютной растерянности, и чтобы чудовище не потребовало то, что ему принадлежит по праву. Только когда Одиссей раскрывает своё настоящее имя, уже находясь далеко от острова Циклопа, кончается эта игра взаимных манипуляций, основанная на неведении обеих сторон. Лишь сейчас герой как бы вновь ощущает себя во времени и приходит в себя. А Полифем таким образом убедится, что исполнилось пророчество Телемоса о том, кто его ослепит, и что зовут того Одиссеем, а Полифем в свою очередь проклянёт злодея.

Посредником между Одиссеем и Полифемом (Священством) является **животное-жертва**. Так, чтобы Циклоп, стоящий на страже у выхода пещеры, – дабы могли выйти только его овцы, – его не заметил, Одиссей решает вместе со своими спутниками накрепко привязать себя к баранам, и таким образом избежать гибели. Этот эпизод, по сути, олицетворяет жертвенный ритуал, при котором между жестокой сакральностью и человеком необходимо внедрить жертвенное животное.

Таким образом, в финале Одиссей прибегает к двум способам, чтобы суметь взаимодействовать со Священством: **игра взаимных манипуляций** и **животное-жертва**, причём оба способа основаны на неведении случая.

Можно придти к выводу, что чудовище-людоед Полифем является орудием Священства, которое позволяет *hybris*. Одиссей и его спутники виновны в том, что они неожиданно пытаются проникнуть в зону Священства. Орудие (Полифем) пытается соединиться с высшей точкой Священства, когда объявляет, что не считает олимпийцев верховными силами; кроме того, его пещера соседствует с подземным адским миром, а его жестокие повадки, выходящие за пределы всякого порядка, выказывают неограниченность самого Священства. Эпизод с Полифемом говорит, однако, не только о допущении некоей *hybris*, о нарушении принятых границ, но и об уроке «инициации» в то, что является фактически жертвенным актом: взаимная манипуляция и неведение случайностей по типу того, что мы назвали бы **транзакционной схемой**.

Примечательным архетипом здесь является **мастер посвящения** (наказывающий или мстящий), коему соответствует схема типа взаимодействия, в которой **орудие** Священства (Полифем, в качестве мастера посвящения) сливается с пиковым мгновением, или с **«отправителем»** (неотличимым Священством) и с **предлагающим** (действующим лицом, которое предпринимает взаимодействие, чаще всего, однако, путём провокаций или какого-либо предложения); **жертву** представляют в одинаковой степени нечестные моряки и тот же Полифем; **бенефициант** в этом взаимодействии, до какого-то момента, это Полифем, но как только Одиссей осознаёт необходимость участвовать в игре заманивания и неведения случайности, он сам превращается в бенефицианта. **Выгода** отношения взаимодействия состоит в том, что устанавливается равновесие со Священством и в том, что Одиссей предстаёт как *примерный герой*.

Сделаем вывод также, что человек не может непосредственно вступать во взаимодействие со Священством (Одиссей всякий раз обманывает Полифема). «Общность» манипулирует Священством, направляет его или обходит как препятствие. Но манипулирование,

всяческие маневры или обход всё равно представляют собой **взаимодействие, косвенную транзакцию со Священством**. Затаённая Священства, как партнёра во взаимодействии, – это главное, чтобы сохранить неведение обеими сторонами, которые осуществляют «обмен» (Священство и «общность»), или хотя бы сохранить неведение «общности». Это неведение может проявиться по-разному, от стадии растерянности, до схватки, перелома или стирания всяких отличий.

Таким образом, мы не можем согласиться с Р. Жираром (указ. соч., с. 13), что человек существует вне Священства, поскольку оно путём своей естественной амбивалентности воплощает как жестокость, так и милосердие. Можно только добавить, что особым необходимо манипулировать жестокостью Священства, умело отвлекая его внимание от реальных жертв к жертвам условным.

Бухарест, Румыния

Перевод с румынского Ж. Ребровой.

Ксения Тилло **«ПОИСКИ СОВЕРШЕНСТВА» В** **ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ** **МОЗАИКЕ ЛИВИИ КОТОРЧА**



«Поиски совершенства» – так называется сборник статей и очерков румынской славистки Ливии Которча (Издательство «OPERA MAGNA», Яссы, 2006). Название выбрано как нельзя более удачно.

На обложке – девять «окошек»-портретов выдающихся деятелей русской культуры XIX-XX вв. И все они, всю жизнь, каждый своим путём, стремились к высшему идеалу – духовному и творческому совершенству.

Мы буквально заглядываем в эти «окошки» блистательной русской литературы, и всё более втягиваемся в смелую, оригинальную, повествовательную ткань очерков автора, которая сближает, противопоставляет и сопоставляет лики, страны и времена, приближая многие «болочие» узелки российской общественной и литературной мысли к дню сегодняшнему.

Перед нами Чаадаев и Пушкин. Пылкая дружба-взаимовосхищение столь разных и столь схожих по своим масштабам фигур – вчерашнего лицеиста Пушкина и блистательного кавалергарда Чаадаева, который и помогает юному поэту в опасную минуту попасть не в сибирскую ссылку, а в Молдавию, так ярко запечатлевшуюся в его творчестве.

Завязывается переписка: суховатый, слегка менторский тон Чаадаева поначалу оправдан – учитель, философ говорит с учеником, ветренным, необузданным, непредсказуемым питомцем муз. Проходит время, поэтический гений Пушкина быстро находит всеобщее признание, но Чаадаев, который сам пишет, что неподвластен очарованию искусства, журит поэта за недостаточную социальность его творений. Поэт уже сверкает на небосклоне русской литературы, но Чаадаев единственный раз признаёт Пушкина истинно национальным, народным поэтом, притом за далеко не лучшие и весьма противоречивые его стихи «Клеветникам России» и «На покорение Варшавы». Сравнивая их с творением Жуковского на ту же тему, пишет Пушкину, что тот, наконец, нашёл своё истинное призвание.

Философ и поэт идут разными дорогами, хотя оба, по видимому, сожалеют о расхождении горизонтов и Чаадаев даже пишет поэту, что всё-таки не теряет веру в то, что им двоим надо идти рядом и общим путём.

Они могли бы шествовать рядом. Просто они слишком разные, и каждому довелось прожить свою судьбу очень по-своему: Чаадаев, даже будучи признан сумасшедшим, неуклонно следуя намеченному пути, Пушкин, по видимости вещей, – легко подпадая под обаяние светских отношений. Но приведенные Ливией Которча три поэтических послания (1818, 1821, 1824) свидетельствуют не только о великолепном понимании Пушкиным всей сложности личности друга, равно как и стихи, посвящённые портрету Чаадаева (1830), и многие письма о нём, написанные поэтом разным адресатам, но, в основном, самому близкому приятелю, тоже поэту, князю П.А. Вяземскому. Из приведенных автором материалов видно, что Пушкин очень рано понял смятение Чаадаева, в котором исто русский дух и дух европейской современности не уживались друг с другом. Мы видим, что он ищет

верного пути, но и Пушкин – в том же поиске. Поэт перевероршит русские архивы, пытаясь понять настоящее через былое, он напишет «Капитанскую дочку», «Историю Петра Великого», «Историю пугачёвского бунта». Но не перестанет быть Пушкиным – завсегдатаем салонов и поклонником дам. И тут Л. Которча приводит письмо, которое Чаадаев напишет Пушкину, причём адресат назовёт его несправедливым и жестоким. И оно было таким, это письмо, в котором философ-аскет утверждает, что нет ничего печальнее, чем видеть гения, не понимающего свой век и своё призвание.

Впрочем, не только Чаадаев не постигал психологической сложности Пушкина. Поэт прекрасно понимал свой век и того же Чаадаева. Недаром многие считали, да и Пушкин не отрицал, что Чаадаев послужил прототипом для «Евгения Онегина». Разве он не пародия? – написаны были и такие слова. Так что, вот уж и первые сомнения в непререкаемости авторитета философа. Но обмен письмами продолжается и Чаадаев всё ждёт от Пушкина тех строк, которых, как он считает, жаждет век.

В 1830 году женатый Пушкин полон планов и проектов. Ему не до Чаадаева. Их пути разошлись в полном непонимании друг друга. Вернее, в непонимании Чаадаевым того, что он напрасно ожидает от поэта строк, достойных современности, поскольку тот давно современность опередил и даже отважился заглянуть в будущее. В 1832 году он пишет своей жене в Москву, что видел Чаадаева всего один раз.

Ливия Которча предполагает, не произошло ли к этому времени между друзьями решительное объяснение, о котором пока ничего не известно? Факт то, что в 1836г. Чаадаев пишет своему неизменному адресату А.И. Тургеневу раздражённое письмо. Он сообщает, что Пушкин очень занят своим «Петром Великим», но его книга появится как раз в то время, когда всё, что создал Пётр, уже уничтожено, так что книга послужит как бы надгробной реchiefю над могилой Петра. И спрашивает Тургенева, известно ли тому, что Пушкин издаёт сейчас журнал «Современник», едко комментируя, «Современник» – но чего? XVI века? Чаадаев считает также, что у русских странное пристрастие: вписывать себя в Европу, хотя с Европой у России нет ничего общего, разве что

паровая машина. И тут Л. Которча удивляется: разве Чаадаев забыл, что Россию с Европой объединяет ещё и общее для всего этого континента христианство?

Отзыв Пушкина на чаадаевское Письмо I, опубликованное в журнале «Телескоп» в июньском номере за 1836 год, Чаадаев получить не успел.

Так прервалась переписка между столь выдающимися личностями своего века. И удивительно, что после смерти Пушкина Чаадаев высказался лишь единожды, в том смысле, что Пушкин – наш великий усопший.

Чем бы ни объяснялись причины такого молчания, но после смерти Пушкина ряд обстоятельств, – считает Ливия Которча, – лишь подтверждает предположение, что Чаадаев до конца жизни так и не перестал видеть в Пушкине «ученика», а себя считать – «ментором», причём был убеждён, что «ученик» очень многим ему обязан. Так, в 1847 году, когда М.П. Погодин попросил Чаадаева написать свои воспоминания о Пушкине, тот ответил отказом, причём весьма двусмысленным: что касается воспоминаний о поэте, он не знает, успеет ли закончить их вовремя, но прекрасно знает, что именно сказать о нём, однако как, де, быть с тем, чего рассказать нельзя?

А, тем не менее, многие подробности 1816-1820гг. в жизни Пушкина мог знать только Чаадаев. Но вот в 1854г. в «Московских ведомостях» появляется работа П. Бартенева. Это материалы к биографии Пушкина, и тут, как подчёркивает Ливия Которча, – Чаадаев просто «вспыхивает». Как, Бартенов даже не посчитал нужным цитировать их переписку, не вспомнил об их отношениях? Это притом, что Чаадаев спас Пушкина от гибели и именно он, Чаадаев, воспламенил в душе поэта любовь ко всему возвышенному?

На своё письмо обиженный философ получает от профессора С.П. Шевырёва достойный ответ в октябре того же года: именно Чаадаев обязан написать про Пушкина, так что биограф Пушкина не виноват, что Чаадаев ещё этого не сделал...

И тут мы читаем самый интересный момент очерка. Ливия Которча пытается разгадать смысл странных отношений между философом и поэтом, и прибегает к сравнению с Моцартом и

Сальери. Не может ли оказаться, – задаётся она вопросом, – что маленькая трагедия «Моцарт и Сальери» написана именно на «живом материале» отношений Пушкина с Чаадаевым? Это тем более вероятно, что остальные «Маленькие трагедии» тоже во многом написаны на биографической основе: например, конфликт с отцом отразился в «Скупом рыцаре», «Пир во время чумы» тем более легко читаем – в 1830 году чума обрушилась на Россию, а «Каменный гость» – не секрет, что в свой список любимых женщин Пушкин вписал, если не 130 имён, как Дон Жуан, то никак не только имя Натальи Гончаровой...

«Такова наша гипотеза, – заканчивает очерк Л. Которча, – и добавим, что на смертном одре Пушкин передаёт Чаадаеву чернильницу», о чём тот нигде и никак не упоминает. Но после смерти поэта «примечательно, – считает автор, – что Чаадаев начал писать “Апологию сумасшедшего”, которую не закончил». Одной из причин этого, как видит автор, является то, что по мере работы Чаадаев постиг: ведь он сам буквально перенимает контраргументы, приведённые Пушкиным в письме к нему от 1831г., а также в письмах от 1836г., написанных Жуковскому, «о которых Чаадаев знал и настоятельно их у Жуковского просил, но Жуковский просьбу Чаадаева не выполнил. Вероятно, хотел, чтобы те, кто прочтут об этих двух выдающихся личностях, представляющих культуру России начала XIX века, прониклись бы пониманием роли Пушкина в интеллектуальной жизни своего времени. Того времени, которое, как и Чаадаев, изумилось, а то и вовсе не предполагало такой истины, что поэт – *мыслит!*».

Заглянем же теперь в «окошко», из которого пронзительный взор устремляет на читателя Лев Николаевич Толстой, не яснополянский патриарх, а человек во цвете лет, мучимый сомнениями и борениями с самим собой.

«В наши дни, – считает автор, – отголоски смерти великого писателя на заброшенной станции Астапово, казалось бы, потеряли остроту, некогда вызывавшие споры о смысле жизни и о способе жизни христианина, то есть о самой сущности христианства для современного человека.

Смерть Толстого всколыхнула множество вопросов, касавшихся не только жизни и творчества писателя, но далеко выходящих за пределы человеческого существования, за грани литературы и искусства».

Всю жизнь, – считает автор, – Толстой искал формулировку для сомнений, что охватывали его из-за столкновения необыкновенной жизненной энергии и страстного стремления усовершенствовать самого себя.

Автор приводит строки из дневника Толстого, который уже в 19 лет мечтает о полном освобождении от всех естественных «завов» и сомневается, удастся ли когда-нибудь не зависеть ни от каких окружающих обстоятельств, и не является ли именно это способом достичь истинного совершенства. В тот период стремления к совершенству в дневнике постоянно встречаются навязчивые признания, что нечто неопределённое «выталкивает» юного Толстого из обычного мира, от чего он испытывает постоянный страх. Ливия Которча объясняет это так: в то время он ещё не понял, «что это таинственное нечто есть “взор смерти”, зовущий его к пропасти, а он считает, что от мира его отталкивает всего лишь стремление достичь совершенства».

Однако, в попытках достичь совершенства Толстой прозревает: от мира его отстраняет лишь гордыня и чувство внутренней силы, которые служат ему для борьбы не только с другими, но и с самим собой. И эта сверхъестественная внутренняя воля, ставшая программой жизни, перерастает в столь же сверхъестественную гордыню, которая не перестаёт перебарывать сама себя.

«Этот тяжкий “поход” против самого себя, – пишет Л. Которча, – начинается в 1850-м, когда Толстой решает, что для усовершенствования нужна лишь внутренняя воля. Он заявляет сам себе: “я заставлю себя, я ограничу себя”, что само по себе исключает постепенное христианское озарение».

Таким образом, считает автор, в самом начале пути создаётся парадоксальное сплетение: познание мира и самого себя, в котором главная роль отведена беспощадному и мстительному ветхозаветному Божеству, притом, что и сам Толстой, и «изучаемые» им персонажи, взывают к евангельскому идеалу непротивления злу насилием, и к любви ближнего, аки самого себя.

Автор приводит весьма иллюстративные мнения других русских писателей о душевных смятениях Толстого: «наблюдательный и кроткий Чехов этот парадокс заметил, прочитав роман “Воскресение”, и посчитал, что книга написана человеком, напуганным смертью, который обманывает себя и других, опираясь на цитаты из Священного Писания. Стефан Цвейг ещё категоричнее назвал русского писателя “искусственным” христианином, а Мережковский, опровергая многочисленные мнения, будто Толстой – человек “выпавший из христианства”, утверждает, что яснополянский старец вообще никогда не был христианином. Не потому, что этого не хотел, а потому что просто был лишён “мистического призвания”».

Тем не менее, считает Л. Которча, может быть именно потому, что Толстой всё это и сам понимал, он определил для себя христианство, как основной смысл жизни и творчества, но понимая и истолковывая его по-своему, без помощи церкви. Сперва подспудно, а потом осознанно, он возжелал создать особое учение – «христианство для жизни».

Автор подчёркивает, что на вопрос, как достичь святости в жизни, Толстой нашёл способ, к которому сам и прибегал: «Заставлять, ограничивать себя», но на вопрос, «что такое совершенство», он нашёл ответ двоякий. Первый – в период до перелома 1880 года – ещё допускает гармонию между человеком и мирской жизнью, восприятие красоты и чувства, горячее сочувствие к любому переживанию души и тела. Например, Пьер Безухов и Константин Левин в своей безграничной доброте исповедуют щедрую и милосердную открытость ко всему миру, что не мешает им считать, будто отсутствие «простоты» препятствует совершенному счастью.

«С 1880г. для Толстого, – пишет Л. Которча, – совершенство находится уже за гранью всего человеческого. Он всё более настоятельно стремится к цели, пренебрегает зовом плоти, отрицает святость брака и ведёт жестокий и тяжкий бой с красотой и всем телесным. Этот беспощадный бой, бесчеловечно истовый, проявляется не только в деятельности Толстого-писателя, но и моралиста, публициста и человека общественного».

Этот момент борьбы с собой и всем миром, сменившей внутреннюю гармонию, автор подчёркивает особо, как войну духовности против оков плоти. Толстой охвачен страхом перед греховностью, красотой и искусством, а отсюда – страх перед женщиной, причём «воин» не замечает, что «нарушает и многие христианские заповеди. Сакральные десять заповедей он подвергает собственному толкованию. “Крейцера соната” тому доказательство. Разве в этом произведении не читается глубокое убеждение, что плотская любовь и брак – служение самому себе, что мешает служить Господу и человечеству (удивительное совпадение с размышлениями Достоевского у смертного одра его первой жены М.Д. Исаевой, – К.Т.)? А потому брак – это грех, и с точки зрения христианства – падение, стало быть, христианство предлагает человеку идеал полного ограничения плотских стремлений».

Такая концепция сквозит в творениях последних лет жизни Толстого, например, в романе «Воскресение». В своём дневнике за 1879г. он утверждает: если говоришь, говори как можно яснее, без ухищрений, недомолвок и подтекстов, как пишут, де, его современники и как он сам когда-то писал.

Особое внимание Ливия Которча уделяет анализу «Отца Сергия». Здесь содержится наиболее иллюстративное для убеждений Толстого последних лет понимание христианства «не как мистического учения, а как нового понимания жизни».

Как и его герой, отец Сергей (бывший князь), потерпев поражение, в 82 года назвавшись Т. Николаевым, Толстой покидает семью, и желает «затеряться в мире».

Причина поражения отца Сергия в миру, когда он руководится лишь железной волей в своих метаниях по пути к совершенству, оборачивается кощунством – вместо того, чтобы привести князя-монаха к очищению и спасению души, эти метания воплощаются в агрессивных проявлениях воли-гордыни, пытавшейся одержать верх над человеческим естеством и его душой. И получается, что причина поражения в самом путнике, неверно выбравшем путь к совершенству. «Ведь в своём “величии” бывший князь, впоследствии ставший монахом, не опирался ни на любовь, ни на святость. Этой личности, постоянно

жаждущей превосходства над всеми, заказана простота, столь необходимая для спасения духа, – пишет Л. Которча, – потому что он убеждён, что призван нести факел, освещающий путь всем прочим. Гордыня бывшего князя заходит так далеко, что, в конце концов, он желает уподобиться Божеству и сравниться с Иисусом».

Примечательно, считает автор, что во всех случаях, когда спасение души для князя было возможно и близко, всякий раз побеждало его стремление доказать себе и другим такую веру, при которой главенствует не «я есмь, чтобы любить», а «я есмь, чтобы делать». «Его беда в том, – пишет автор, – что в своём “делании” он не несёт людям внутреннего света, он вне братства с людьми, его ладони открыты и протянуты, “чтобы видеть”, “чтобы знали”». И получается, что отшельник, который, не дрогнув, ударил себя топором по руке, дабы победить плоть, бессилен перед грехом гордыни. И, в конце концов, заявляет: «Бога нет» – логическое завершение ложного пути тщеславия.

Автор приводит строки из Дневника Толстого за 22 декабря 1893 года. Лев Николаевич писал, как ему тяжело, как противно! Он не может себя превозмочь. Он желал бы героических свершений, равно посвятить конец жизни служению Богу. Он считает, что Бог *не хочет его*. А в позднейшей записи от 10 июля 1910г. Толстой признаётся самому себе, что ему ничего не остаётся более, как бежать, и он серьёзно об этом думает. «Требование Толстого показать ему христианство сейчас же, теперь, – вновь озвучивает его нечеловеческое стремление утвердить своё “Я”, всю жизнь державшее Толстого в плену желания победить гордыню – гордыней».

«4 ноября 1910г. на станции Астапово, – пишет Л. Которча, – на смертном одре Толстой задаётся вопросом: а крестьяне, как они умирают? Очевидно, он так и не смирился со смертью, точно так, как при жизни был чужд гармонического слияния с настоящей христианской жизнью».

Заключая свой очерк, автор спрашивает: не является ли христианство призванием, а не стремлением стать христианином? Она считает, что, обращаясь, например, к судьбе Гоголя и Толстого, – такой вопрос вполне правомочен...

И ещё одно из самых волнующих «окошек» литературной и психологической мозаики Ливии Которча, искусно собранной в названном сборнике. Федор Михайлович Достоевский из своего далёка обращается к дню сегодняшнему «на равных» – он часть нашего сегодня, и его взгляды на «русскую идею», высказанные более ста лет назад, задают нам и сейчас немало загадок. Из «Дневника писателя» автора сборника интересовал именно этот аспект, причём применительно к пространству проживания румынского народа, и особенно в контексте мирового масштаба.

Чтобы обрисовать связь этого вопроса с современностью, автор обращается в первую очередь к соображениям Достоевского, затрагивающим этнопсихологию, в которой, конечно же, содержится и идея русского мессианства, и в первую очередь призывает обратить внимание на те главы, где выстраиваются политические и исторические идеи, в основном, на отношениях России с Европой, причём трактуются они через видение Достоевского «Восточной проблемы».

«Во время написания “Дневника”, – считает автор, – проблемы России на Востоке решены, Кавказ давно покорён, восточные границы беспрепятственно продвигаются к Тихому океану, стало быть, восточный вопрос касается сугубо Константинополя, как цитадели христианства, которую надлежит отвоевать и освободить от ислама. Особое внимание привлекают Балканы, где проживает, хотя и не русское, но тоже славянское население».

Автор сборника приводит парадоксальный вывод, к которому пришёл Достоевский, оценивая положение России после поражения в Крымской войне, особенно унижительное, учитывая недавние победы в наполеоновских войнах. Вывод звучит, в самом деле, удивительно: Россия пережила поражение, но победа над Европой оказалась для России слишком накладной и при всей мощи и жизненной силе Россия не могла бы её «переварить».

Здесь автор справедливо замечает, что провидец Достоевский, веривший в русское мессианство, представляет отношения России с Европой только в виде конфликта, где один побеждает, другой побеждён. Одновременно писатель сознаёт, что Россия вряд

ли могла пожать плоды своих побед, избежав самоуничтожения. Однако он с уверенностью утверждает, что будущее Европы принадлежит России.

«Возникает вопрос, – продолжает автор, – что станет делать Россия в Европе? Какая ей отводится роль? Россия свою роль определила после войны 1866-1877гг., и после последующих двух мировых войн. Поэтому должны и другие тоже узнать и понять, какой видит себя Россия в Европе и во всём мире. В этой связи Достоевский приоткрывает некую истину, действительную для тех времён, но и служащую предупреждением сегодня. Великий писатель считает, что русские хорошо знают Европу, тогда как европейцы Россию не знают, и всё ещё пребывают в заблуждении о “загаточной душе” и о том, что “русские не предсказуемы”, а также продолжают считать, что, “поскреби русского”, и под тонкой оболочкой цивилизации найдёшь варвара».

Такое предубеждение, пагубное для всех, было знакомо Эрнсту Юнгера, – к которому также обращается Л. Которча, – он знал русских “у себя дома”, и записал в дневнике 27 апреля 1943г.: «что касается русских, их также переоценивают сегодня, как недооценивали два года назад. В действительности же они сильнее, чем мы думаем; но очень возможно, что это вовсе не такая уж страшная сила».

Юнгера трудно обвинить в особой симпатии к русским, он отнюдь не был почитателем России и никак не восхищался её левым режимом. Просто он подчёркивал, как и Достоевский, что необходимо справедливо оценивать друг друга, чтобы точно знать, кто тебе союзник, а кто – враг. Он также считает, что одно дело относиться уважительно к особенностям другого, и вовсе иное – выпячивать эти особенности, чтобы другого унижить или подчеркнуть собственные преимущества.

«Мы могли бы, – считает Л. Которча, – заметить в словах Юнгера и такую идею – подобные игры с “особостью” являются ловушкой, которую партнёры не замечают, я имею ввиду – приписывать другим силы и свойства, которые им не присущи, или о которых они сами не подозревают».

Такое положение постоянно наблюдалось в связях России с Западом. Россия всё более утверждалась в своей идее мессианизма,

исходя из собственного ощущения изоляции, которое она испытывала и испытывает по отношению к Западу. «Именно исходя из этого ощущения, – подчёркивает автор, – Россия укрепилась в убеждении своей ведущей роли, как единственной носительницы настоящего православия. И это не просто идея, поскольку Россия многожды ввязывалась в разрешение таких кризисных моментов».

Во время движения Этерии, во время русско-турецкой войны, во время первой и второй мировых войн неизменно оказывалось, что Гордиев узел, который эта сильная держава не могла разрубить, обусловлен смешением сознания национального (что выражается в панславизме) с сознанием православия. Достоевский без колебаний подчёркивал важность такого сознательно-го смещения национального и православного сознания, и считал, что клич «за дело православия» – это исключительно важная политическая формула не только для исторической актуальности, но и для будущего.

А что такое дело православия? Оказывается, Достоевский объясняет это просто: братьям-славянам в беде надо помогать. Но понятие «братья» ограничивается только славянами. И тогда возникает разграничение, совсем не свойственное православию, да и вообще христианству. И выходит, что понятие «братской помощи» перерастает рамки православия и очерчивается явно политической стратегией, которую Россия и не скрывала, что, кстати, видно из «Дневника Писателя» Достоевского, и, как считает Л. Которча, «чему Россия следовала, с последовательностью, достойной лучшего применения. При случае, – продолжает она, – всех православных можно снять со счетов (например, румынов), или даже воевать с ними (например, с греками), и всё это называется завоеванием Константинополя».

«Задаёмся вопросом, – размышляет автор, – почему Константинополь должен быть именно чей-то, если история населила его пространство ещё одним народом, о котором Достоевский даже не упоминает. Если упорядочивать историю согласно сверхисторической и сверхнациональной идее, такой, как идея православия, это в самом деле приводит к “русской идее”, но пока что эта идея осуществилась в историческом устройстве, которое находится под знаком атеизма».

В «Бесах» Достоевский предугадал такое положение вещей, которого он, конечно, не пожелал бы, поскольку пишет о вытекающей отсюда потере гуманизма. Как именно может воспротивиться этому русская национальная идея, как идея универсальная, не может сказать и сам Достоевский, однако он сразу же осуждает «идею социализма», которую он считает олицетворением сверхэгоизма, сверхбесчеловечности, пределом хаоса и экономического беспорядка, а также торжеством клеветы человека на человека и пределом уничтожения всяческой человеческой свободы.

«Признаемся же, – пишет Л. Которча, – что всё произошло именно так, как предсказал Достоевский, – столь же трезво он определил специфику Балкан, где в фатальный клубок связаны народы, религии, и нити современной Европы. В этом котле как будто сплывались все болевые точки истории, построенной на праве более сильного и агрессивного, что заразило агрессией также и “братьев славян”, между которыми, – как, впрочем, констатировал ещё и Достоевский в XIX веке, – существуют неоспоримые и грозные противоречия».

Автор считает, что открытые Достоевским лики подобных противоречий сполна проявились в последней войне в Югославии, «коей мы все оказались более или менее бессильными свидетелями». Ливия Которча полагает, что из-за невозможности открытой схватки у балканских славян, как и предполагал Достоевский, будут происходить стычки, которые в первую очередь выразятся в религиозных беспорядках, что и произошло.

Достоевский, однако, не затрагивал другой аспект балканского конфликта, который перемешал религиозные мотивы с мотивами этнических чисток, хотя и говорил, что проблема Балкан отражается на всём европейском равновесии.

Заметим, тем не менее, что Достоевский задаёт вопрос: а что вообще означает европейское равновесие? И существовало ли вообще какое-либо равновесие в мире, или это лишь хитрая формула, придуманная хитрыми людьми, чтобы провести простаков?

«Может быть, это просто точка зрения русского, – справедливо отмечает Л. Которча, – остро и болезненно переживающего страх и неприязнь, которые вызывает его страна в Европе?».

Автор сборника считает: «Сегодня ясно, что панславизм – не выход, поскольку он декларирует приоритеты православия в первую очередь, причём в пространстве, в котором, как и в иных местах, сегодня бытует множество религий. Но и трудно мириться с тем, что подобные проблемы неразрешимы».

Простейший и вернейший способ сосуществования столь разных этносов видится в том, чтобы жители в подобных местах научились воспринимать друг друга терпимо, такими, какие они есть, со всеми их особенностями.

Ливия Которча пишет, что для подобного «умиротворения» необходимо время, которое можно бы сократить при должном воспитании и обучении. И, если уж говорить о русских, которые всегда питали особый интерес к Константинополю и Балканам (даже к Византии сразу же после крещения Руси), остаётся гадать, насколько непредсказуемыми останутся они для тех, кто попытается решить бескорыстно (то есть для жителей Балкан, а не себе на пользу) ту кризисную ситуацию, которая уже стала хронической.

Автор приводит одно письмо, написанное в самый разгар движения Этерии в первой четверти XIX века. Пушкин тогда находился в Кишиневе и в 1821 году пишет В.Л. Давидову, что очень озабочен важным вопросом: как именно поступит Россия – займёт ли Молдавию и Валахию под видом миротворчества, перейдёт ли Дунай под видом союзницы греков, или под видом врага их врагов?

Подобные сценарии повторялись в истории не раз, и Достоевский не мог их не учитывать в своём «Дневнике Писателя».

Поэтому, – утверждает автор сборника, – это произведение «кажется нам самым чутким сейсмографом русской национальной психологии, для которой главным стержнем является автономность, поддержанная значительной креативной энергией и непоколебимой верой в историческое предопределение. Это свойство русской национальной психологии – одновременно и сила, и слабость России. А, пожалуй, и основная причина ощущения изоляции, которое русские испытывали и испытывают с самого начала их европейской биографии».

*Кемерово,
февраль 2007г.*

Сибирь - Казахстан

